

К Станислову



Константин Михайлович Станюкович

Том 1. Рассказы, очерки, повести

(Собрание сочинений в десяти томах #1)

Константин Михайлович Станюкович — талантливый и умный, хорошо знающий жизнь и удивительно работоспособный писатель, создал множество произведений, среди которых романы, повести и пьесы, отличительные очерки и новеллы. Произведения его отличаются высоким гражданским чувством, прямо и остро решают вопросы морали, порядочности, честности, принципиальности.

В первый том вошли рассказы, очерки, повести: «Отмена телесных наказаний», «От Бреста до Мадеры», «Червонный валет», «Оригинальная пара», «Петербургские карьеры», «Ужасная болезнь», «Непонятый сигнал» и другие.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Л. Соболев. О Константине Михайловиче Станюковиче0005
Рассказы, очерки, повести0026
Отмена телесных наказаний *0026
От Бреста до Мадеры *0041
Червонный валет *0081
Оригинальная пара *0149
Петербургские карьеры *0228
Ужасная болезнь *0273
Непонятный сигнал *0290
На уроке *0310
Елка *0332
Из-за пустяков *0352
Беглец *0409
В далекие края *0461
Матросский линч0654
Комментарии0709

**Константин Михайлович
Станюкович
Собрание сочинений в
десяти томах
Том 1. Рассказы, очерки,
повести**

Л. Соболев. О Константине Михайловиче Станюковиче

Посмертные судьбы писателей, — вернее, судьбы книг, в которые вложены их думы и чувства, — складываются по-разному. Бесспорно, вечно живут в поколениях книги великанов литературы. Рядом с ярчайшими факелами разума и искусства существуют в веках книги не столь всеобъемлющие, но все же нашедшие общность человеческих мыслей и чувств. Однако есть еще громадное множество книг, которые в свое время привлекали к себе сочувствие современников и составляли передовую литературу своей эпохи, но так и не смогли переступить той таинственной грани, что отделяет забвение от бессмертия.

Можно очень талантливо продолжать начатое кем-то дело, можно очень точно идти по проложенному кем-то курсу и даже открывать в нем новые острова. Но по суровому закону отбора память столетий сохраняет имена главным образом тех, кто первым сказал

нечто новое, кто повернул корабль на неизведанный курс.

Сказанное весьма близко относится к русскому писателю конца XIX века Константину Михайловичу Станюковичу. Его рассказы о море и морях любимы читателями и сейчас, но мало кто знает, что из тринадцати томов собрания сочинений, вышедшего при жизни Станюковича, «морские» рассказы и повести составляют только три.

* * *

Этот талантливый и умный, хорошо знавший жизнь и удивительно работоспособный писатель, честный труженик-просветитель, страстный поборник передовых идей шестидесятых годов создал множество «неморских» произведений. Тут и романы, и повести, и пьесы, и рассказы, тут и публицистические статьи и обличительные очерки, написанные в щедринской манере. Произведения его отличаются высоким гражданским чувством, прямо и остро решают вопросы морали, порядочности, честности, принципиальности, смело выражают протест против реакционной политики царского правительства, ду-

шившего те освободительные стремления, которые возникли в русском обществе после «реформ» и отмены крепостного права. Некоторые из них, как «Тапочка», «Два брата», «Испорченный день», «Похождения одного благонамеренного молодого человека, рассказанные им самим», «Бесшабашный», по-своему ставят проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для кого жажда личного преуспеяния заслоняла прогрессивные цели, которым служили их отцы. Все симпатии Станюковича на стороне честных, добрых, немного наивных интеллигентов — тех, кто хотя и не способен, как это ясно и самому писателю, что-либо изменить в жизни, но кто пытается противостоять карьеризму, беспринципности, хищничеству сильных мира сего и кто стремится вопреки им бескорыстно служить народу (Чернопольский в «Испорченном дне»; Глеб Черемисов в «Без исхода»; Василий Вязников, Леночка, Лаврентьев в «Двух братьях»; Липецкий в «Дураке» и др.).

Эти качества писателя привлекали к нему лучшую часть читательской общественности его времени, в особенности передовую учащуюся молодежь.

Популярность Станюковича как писателя умножалась еще и необычностью его биографии. В самом деле, нужно было быть глубоко убежденным и очень принципиальным человеком, чтобы в возрасте двадцати одного года решительным образом поломать свою будущую жизнь во имя идеи. А так оно и было.

Сын влиятельною адмирала, властной его волей предназначенный с самого детства для карьеры флотского офицера и получивший в морском корпусе необходимые для того воспитание, и образование, и даже корабельный опыт (отец послал его в трехгодичное кругосветное плаванье, «чтобы выбить из головы дурь» — мысль об университете), — молодой Станюкович нашел в себе мужество выйти в отставку, что повлекло за собой полный разрыв с отцом и потерю наследства. Так вошел он в ту трудную, полную лишений и опасностей жизнь, на которую были обречены в России литераторы-демократы, посвятившие се-

бя служению народу, защите прав человека и борьбе за его лучшее будущее. Став на этот подвижнический путь, Станюкович до последнего дня остался верен своим принципам и долгу честного писателя.

Проработав первый год новой жизни сельским учителем в селе Чаадаеве Владимирской губернии («чтобы хорошо ознакомиться с народным бытом», как объяснял он сам в своей автобиографии), К.М.Станюкович поступил на службу сначала в Управление Курско-Харьковской железной дороги, потом в Петербурге в Общество взаимного поземельного кредита, затем в Ростове-на-Дону в Волжско-Донское общество.

Все эти годы Станюкович писал и печатался, став профессиональным литератором-журналистом, драматургом, автором повестей и романов, постоянным сотрудником журнала «Дело». Того самого «Дела», в котором печатались Глеб Успенский, Омулевский, Засодимский, соратник Чернышевского Н.В.Шелгунов, — журнала, которому Главное управление по делам печати дало в 1874 году вполне определенную характеристику: «Изда-

тель и самые сотрудники „Дела“ заведомо принадлежат к числу писателей самого неблагонадежного направления, не раз осужденного правительством. Они продолжают свою пропаганду, избегая лишь резкостей, которые бросаются в глаза и подлежащих прямо зачеркиванию цензором, но зато придают всему журналу вредный характер подбором, содержанием и направлением статей в известном духе и притом по всем разделам журнала».

Работе в «Деле», которую он начал в 1872 году, Станюкович отдавал все свои силы и материальные средства. В 1880 году после смерти редактора журнала Благосветлова он вместе с Шелгуновым и Бажиным стал соредактором журнала, а в декабре 1883 года взял на себя его издание.

Деятельность К.М.Станюковича давно уже привлекала внимание царского правительства. Еще с конца шестидесятых годов он был внесен в список неблагонадежных и фактически стал поднадзорным, а с весны 1883 года на него было заведено уже особое дело. Выезды его за границу для лечения обратили на

себя внимание полиции, следившей за встречами Константина Михайловича в Женеве и Париже с русскими эмигрантами-революционерами, которых он действительно привлекал к участию в журнале, поручив, например, С.М.Степняку-Кравчинскому, известному народнику-революционеру, перевод романа Джованьоли «Спартак» и опубликовав его в «Деле» в 1881 году. Департамент полиции характеризовал Станюковича как литератора, который «принадлежит к числу крайних радикалов и давно имеет связи с русской эмиграцией и революционными кружками внутри империи».

Весной 1884 года Станюкович поехал на юг Франции, в Ментону, за своей безнадежно больной дочерью Любой. Перед возвращением писателя в Россию эмигранты устроили ему прощальный обед. На границе Константин Михайлович был арестован и препровожден в Петропавловскую крепость. В обвинительном заключении говорилось, что Станюкович, во-первых, оказывал содействие к сокрытию от преследования полиции «государственного преступника» Леона Мирского по-

сле покушения на жизнь генерал-адъютанта Дрентельна, во-вторых, во время своих неоднократных поездок за границу находился в непосредственных отношениях с проживающими в Женеве и Париже русскими эмигрантами, а также с редакцией революционного журнала «Вестник народной воли» и, в-третьих, помещал в журнале «Дело» статьи вредного направления. Приговор был вынесен через год: весной 1885 года К.М.Станюкович был отправлен в трехгодичную ссылку в Томск.

Все случилось одновременно, разом: арест, год крепости, смерть дочери, ссылка, потеря любимого журнала, полное материальное разорение. Какие нужны были душевные силы, какая убежденность, какое мужество, чтобы выдержать этот удар, не опустить головы, не сдаться!

Но писатель-гражданин смог это сделать. В душной обстановке царской провинции XIX века, в темные годы торжества победоносцевской реакции Станюкович продолжал энергично работать. Он стал сотрудником томской «Сибирской газеты», печатал в ней свои очерки, критические статьи, даже сатириче-

ские стихи и роман на местном материале, также обличительного характера, «В места не столь отдаленные», — и не это ли участие Станюковича в газете помогло сложиться мнению о ней у начальника Томского жандармского управления как о газете «направления крайне вредного»?

Здесь, в Томске, в годы ссылки в судьбе писателя произошло событие огромной важности, определившее всю его дальнейшую литературную судьбу до самых ваших дней и надолго еще вперед: он написал небольшую повесть «Василий Иванович» и рассказ «Беглец».

Это были первые морские рассказы Станюковича, если не считать юношеских очерков, напечатанных в «Морском сборнике» в шестидесятых годах.

* * *

С какой изумляющей свободой и мощью хлынуло из прекрасной и любящей народ души писателя то безмерное богатство впечатлений, чувств и мыслей, которым еще при вступлении в жизнь так щедро одарил его русский флот — корабли и моряки! Поразите-

лен тот факт, что в литературном своем воплощении это богатство открылось через четверть века. Более того — самые ранние, детские впечатления о высоких духовных качествах русских моряков, героев Севастопольской обороны 1854–1855 годов, воскресли во всей своей вдохновенной непосредственности даже через сорок семь лет в искренней и трогательной повести «Севастопольский мальчик».

Едва лишь писатель, томясь в сибирской ссылке, припомнил корабли, океаны, матросов и офицеров русских кораблей, беспокойных и грозных адмиралов, робких первогодков-новобранцев и просоленных стариков-боцманов, в литературной его судьбе произошел поворот от популярности к славе, изумительный поворот, обусловивший бессмертие его имени.

Произошло некое чудо. Писатель, печатавшийся уже более двух десятков лет, вдруг получил как бы второе дыхание, вторую литературную молодость, притом более цветущую, чем первая. Забыв все, в какой-то великолепной одержимости, в том счастливом состоя-

нии, в каком образы, мысли и их оболочка — трудные и капризные слоя богатого русского языка — приходят в желательное соответствие, в состоянии, какое называется старомодным словом «вдохновение», Станюкович в короткое время словно выплеснул из себя впечатления недолгой своей флотской службы.

Ожили — да так и остались на десятки лет — прекрасные и трогательные образы русских матросов, готовых жертвовать собой ради товарища и ради корабля, образы молодых офицеров, чуввших свободный дух шестидесятых годов и пытавшихся чем-то облегчить жестокую каторгу, на которую обречен был русский крестьянин, забритый во флотский экипаж; фигуры страшных, но по-своему великолепных капитанов и адмиралов, для кого жизнь марсового стоила дешевле секунды опоздания уборки парусов, но кто не только в бою, но и в состязании на парусном ученье оберегал незапятнанную честь русского флага, никогда не склонявшегося ни перед врагом, ни перед соперником.

Давно сгнили доски палуб тех фрегатов,

клиперов, тех кораблей, о которых писал Станюкович. Но вот уже три четверти столетия живут созданные им образы русских флотских людей, плававших на этих кораблях. Происходит это потому, что писатель сумел поймать в жизни и воплотить в литературе самое важное: сущность людей, их мысли и чувства.

Первооткрывательство же Станюковича состоит в том, что он во всей жизненной правде показал то особое и удивительное человеческое существо, которое именуется русским моряком — будь это матрос или адмирал.

Были и до него в русской литературе книги о кораблях и о моряках. Но разве можно сравнить книжные мелодраматические персонажи моряков Бестужева-Марлинского с живыми, плотными на ощупь образами Станюковича? Разве литературные описания Марлинским бушующего моря идут в какое-либо сравнение с точным, строгим и мужественным рассказом Станюковича о шторме хотя бы в очерке «На камнях»? Очень мало можно было узнать о матросах и офице-

рах, о их жизни на военном корабле из академически спокойного и как бы постороннего труда Гончарова «Фрегат „Паллада“». Вряд ли нужно перечислять доказательства, которые можно взять из любого рассказа Станюковича. И без того несомненно, что новым своим циклом Станюкович перевернул всю свою литературную биографию. Как ни велики были его литературные заслуги, они померкли перед тем, что посчастливилось написать ему за эти короткие годы. И произошло это потому, что литературный корабль его сделал решительный поворот и — не разбившись о скалы — вышел в океан.

Причиной же тому было то взаимодействие таланта писателя и того удивительного мира, который называется флотом.

Что же такое этот удивительный и прекрасный мир, который не дает спать подростку, который мучает юношу, который радуется сложившемуся молодого человека, ставшего матросом или офицером? В чем тайна этого поразительного обаяния и почему вода реки или озера, даже вода внутреннего моря, вроде, скажем, Каспия или Байкала, не действует

на юную мужскую душу с той силой, с какой действуют на нее серо-зеленые волны Балтики или глубокая празелень Черного моря, не говоря уже о сводящем с ума голубом просторе океана? Что же тянет туда юношу, вступающего в жизнь?

Почему таким необыкновенным ореолом озарены подвиги матросов и офицеров на всех наших морях и океанах и в боях на берегу под Севастополем в обороне в 1854–1855 и в обороне 1941–1942 годов? Почему так волнуют, так привлекают сердца советских юношей подвиги кругосветных путешественников Крузенштерна, Лисянского, Биллинсгаузена или Невельского, кто открыл проход между Сахалином и материком, или Павла Степановича Нахимова, кто не только бил, но и добил турецкий флот, или адмиралов Лазарева и Ушакова?

Почему так привлекают к себе молодые сердца подвиги тысяч и десятков тысяч безвестных для нас матросов, чьей отвагой и боевыми трудами вошли в бессмертие эти флотоводцы и командиры?

В свое время отставной лейтенант русско-

го флота Станюкович в огромной мере ответил на эти вопросы. Писатель-реалист — он показал русских матросов и офицеров во всем их мужестве и бесстрашии, во всем чисто русском, неосознанном гуманизме, во всей чистоте прекрасной и честной души, во всей их самоотреченности и беззаветной любви к родному кораблю и к русскому флоту — в любви, рождающей крепчайшее морское товарищество, штормовое и боевое.

В темное и жестокое свое современье Станюкович осмелился сказать, что матрос — это человек. Все те прекрасные человеколюбивые передовые идеи, которыми жила душа этого скромного русского писателя и которые он пытался выразить в своих романах и повестях, приобрели звучание стократ более сильное, едва лишь его литературный талант обратился к флоту. Именно здесь писатель смог выразить все то прогрессивное, движущее вперед, что жило в нем долгие годы и определяло всю его деятельность.

Взаимодействие духовного направления писателя и великолепно известного им материала жизни совершилось именно тут.

Вот почему морские рассказы Станюковича жили и живут до сих пор среди самого широкого читательского круга. Дело совсем не в том, что, как считалось, писатель «нашел свою тему, обрел самого себя». Не «богатая жила», не случайный успех, а великая закономерность соответствия формы и содержания, сочетания идеи и опыта, соединения жизненных наблюдений и философских размышлений — вот что определяет долгую жизнь морских рассказов Станюковича.

* * *

В 1888 году закончился срок ссылки, и Станюкович получил возможность вернуться в столицу, к своим друзьям, к любимой работе в журнале. Ссылка не сломила его — он остался верен прежним идеалам, и не удивительно, что и в Москве и в Петербурге, где жил и работал писатель в девяностые годы, он сразу сблизился с передовой, демократической интеллигенцией. Он много пишет и печатает в лучших журналах — «Вестник Европы», «Русская мысль», «Северный вестник», «Русское богатство», а с 1892 года становится вторым редактором «Русского богатства», того самого

журнала, куда перешло большинство сотрудников закрытых правительством «Отечественных записок». В эти годы Станюкович создает лучшие морские рассказы и повести — «Нянька», «Побег», «Грозный адмирал», «Беспокойный адмирал», «Вокруг света на „Коршуне“» и многие другие и по-прежнему продолжает работать над «неморскими» произведениями. Это была счастливая полоса в жизни писателя — и как бы итогом ее явился справляемый литературной общественностью в декабре 1896 года юбилей Станюковича в связи с тридцатипятилетием его литературной деятельности.

Много писем и телеграмм получил писатель. Его поздравляли собратья по перу — Чехов, Гарин-Михайловский, Мачтет, Шеллер-Михайлов; редакции многих газет и журналов, студенты, гимназисты, друзья и совсем незнакомые люди — простые читатели. Ему писали из Москвы, Петербурга, Одессы, Самары, Херсона, Калуги; благодарили за морские рассказы, за «Письма знатного иностранца», за романы и повести, за то, что его «живое, одушевленное слово всегда будило обще-

ственную совесть, всегда призывало на борьбу за свободу совести и мысли», за то, что он, несмотря на преследования правительства, оставался «писателем-гражданином, служившим весь век образцом стойкости убеждений».

Станюковича радовала эта высокая оценка его литературной и общественной деятельности, но большая скромность и требовательность к себе заставили его написать письмо к устроителям юбилея: «Я не заблуждаюсь насчет своих литературных заслуг и не бывал в роли Нарцисса. Если я никогда и ни при каких обстоятельствах не служил пером тому, что считал вредным или безнравственным, то ведь это не достоинство, а примитивная обязанность всякого несколько уважающего себя литератора... Что же касается до моей деятельности как беллетриста, то она ничего выдающегося не представляет в исключительно художественном смысле, чтобы за нее чувствовать... Я же как писатель был и есть, выражаясь метафорически, одним из матросов, не боящихся бурь и штормов и не покидающих корабля в опасности, но ни капита-

ном, ни старшим офицером, ни даже рулевым литературным не был».

Так писал Станюкович. Но читатели думали иначе, и письма, полные благодарности, любви, самых лучших пожеланий, продолжали приходить и после юбилея.

А через год с небольшим писателя постигло страшное горе: умер его шестнадцатилетний сын — сын-друг, сын — надежда и радость. Станюкович тяжело переживал эту утрату. Он метался из города в город, с места на место, даже забросил литературную работу. Ослабленный организм не выдержал, и в 1900 году врачи отправили тяжело заболевшего писателя лечиться в Крым. Возвратившись, Станюкович продолжал много работать, но болезнь отпустила его ненадолго. Осенью 1902 года, сдав последние страницы «Севастопольского мальчика» в журнал «Юный читатель», писатель с сильным мозговым переутомлением и общим нервным расстройством уехал в Италию, сначала в Рим, потом в Неаполь. Но и там, борясь с болезнью и все усиливающейся слепотой, Станюкович продолжал писать. «Мне же работать необ-

ходимо. И не могу я не работать. Только проснусь утром — мозг требует упражнения, как желудок пищи в известные часы», — говорил он друзьям, уговаривавшим его поберечь себя.

В мае 1903 года он умер и был похоронен в Неаполе.

* * *

Станюкович любил образ корабля, легко несущийся по голубой глади океана под ровным, постоянным пассатным ветром, надувающим его многоярусные паруса.

Не так ли и литературный талант его, наполнив свои паруса вечным океанским ветром, верным спутником молодости, вышел на безмерные просторы времен, сам не заметив, где перешел он таинственную грань между забвением и бессмертием, подобно тому как идущий в дальнем плавании корабль не замечает меридианов, пересекаемых им?

Более полу столетия минуло с тех пор, когда выпало перо из рук писателя, а книги его все еще живут. И все еще идет полным ветром его корабль под белыми парусами, чистыми и незапятнанными, как чиста и неза-

пятнана была совесть этого примечательного русского писателя.

И счастливы будут те из нас, современных морских писателей, чьи книги угонятся в океане времен за этим белоснежным кораблем, несущим на палубе вечно живые образы русских матросов и офицеров.

Леонид Соболев

30 марта 1958 г.

Рассказы, очерки, повести

Отмена телесных наказаний*

I

То было на рейде Гонконга.

В жаркое солнечное воскресенье, перед обедней, команда корвета была выстроена во фронт. Капитан корвета в мундире и орденах, веселый и довольный, подошел к фронту и, поздоровавшись с матросами, торжественно-радостным голосом поздравил их с царской милостью — с отменой телесных наказаний. И вслед за тем он прочитал среди глубокой тишины только что полученный из России приказ.

Матросы прослушали чтение в напряженном внимании.

— Надеюсь, ребята, вы оправдаете доверие государя императора и будете такими же молодцами, как и были! — проговорил, окончив чтение, командир, который еще до официального уничтожения телесных наказаний запретил их у себя на корвете.

— Рады стараться, вашескобродие! — дружно гаркнули в ответ матросы, как один человек.

Команда спустилась вниз к обедне. После обедни был благодарственный молебен.

Несколько дней среди матросов шли оживленные толки. Нечего и говорить, что темой бесед был прочитанный капитаном приказ. Некоторые старики матросы относились к нему с недоверием. В самом деле, что-то уж очень диковинно было. Вдруг нельзя пороть!

— Ты, Василей, понял, что вчерась читали? — спрашивал на другой день после обеда старый баковый матрос Григорий Шип своего приятеля Василя Архипова.

— Не очень, чтобы понял... Быдто и невдомек... Болтают что-то пустое ребята.

— Спина-то матросская ноне застрахована, вот оно что, братец ты мой!

— Врешь! — отвечал Архипов и хотел было лечь отдохнуть.

— То-то не вру... Уши-то у меня есть. Небось слышал, как капитан бумагу читал, что из Расеи запрет на линьки вышел... Шабаш, мол, брат. Стоп-машина!

— Пустое! — опять возразил Архипов, старый пьяница матрос, прослуживший во флоте около двадцати лет и не допускавший даже мысли, что можно обойтись без линьков.

— Экий ты Фома неверный... Ну у господ спроси...

Архипов скептически улыбнулся и только рукой махнул.

Однако немного погодя подошел к проходившему молодому мичману и спросил:

— Правда, ваше благородие, что Гришка мелет, быдто нонече нельзя пороть?

Молодой офицер стал добросовестно объяснять приказ, и старый матрос слушал его в безмолвном изумлении, видимо пораженный и сбитый с толку, но когда мичман дошел до штрафных, для которых телесное наказание отменено не было, — красное загорелое лицо Архипова снова приняло свое обычное выражение какого-то простодушного скептицизма не без оттенка лукавства.

Он поблагодарил офицера и на вопрос того: «Понял ли?» — отвечал: «Вполне отлично понял, ваше благородие», — и, когда офицер отошел, заметил товарищу с тонкой усмеш-

кой:

— Не верь ты эфтому ничему, Гришка...
Право, не верь...

— Тебе, что ли, дураку, верить? — осердился Шип.

— Дурак-то выходишь ты, а не я...

— Это как же?

— А так же! Пущай бумага вышла, а будет нужно выдрать, выдерут! — тоном глубокого убеждения говорил Архипов. — Теперче ты марса-фала вовремя не отдал или, примерно, струбил... Ну как тебя не выдрать как Сидорову козу? Или опять же, рассуди сам, умная голова, что с тобой делать, ежели ты пьян напился и пропил казенную вещь? Ведь не в Сибирь же... Разденут, да и всыплют...

— Врешь... В «темную» посадят.

— Какие еще выдумал «темные»? — насмешливо кинул Архипов.

— Карцырь, значит, такой будет...

— Карцырь?! — переспросил Архипов.

— Да, брат... Вчерась старший офицер наказывал его ладить. И сказывал Плентий плотник: «Будет этто каморка в трюме темная и узенькая; не повернуться, говорит, в ей». Ты

пьян напился или в другом проштрафился — и сиди там один на хлебе и воде... Это заместо порки...

— Заместо порки?

— Да.

С усмешкой поглядел Архипов на товарища и с победоносным видом сказал:

— А ежели двадцать матросов наказать надо? Тогда как с карцырем?

Шип задумался.

«В самом деле, как тогда?»

— Говорю тебе, Гришка, не верь... Бумага бумагой, а выпороть надо — выпорют... Переведут в штрафные и исполосуют спину... Тогда ведь можно?..

— Штрафных можно...

— То-то оно и есть. А то еще карцыри выдумал. Нешто ребенки мы, што ли?.. Без линька, братец, никак невозможно.

— А у нас на «конверте»... Небось капитан не приказал.

— Не приказал! До первого случая...

— Ну, это ты, Василий, врешь... У нас никого еще не пороли, а уж плаваем мы год...

— Командир такой... чудной... Этакого я,

признаться, отродясь не выдывал... А другие... сам знаешь... Без этого во флоте нельзя! Однако давай, братец, отдыхать!.. Что зря болтать... Нам все равно недолго околачиваться... Вернемся в Расею, в чистую уйдем!.. — проговорил Архипов, видимо не желая продолжать пустяковый, по его мнению, разговор.

И оба они растянулись у орудия.

II

У шкафута собралась кучка молодых матросов «первогодков». Один из них, Макар Погорелов, бойкий малорослый блондин, смысленный, с живым лицом, тихим возбужденным голосом рассказывал:

— И станут теперь, братцы, на цепь сажать... в самый трюм, значит, в темную... И приказ такой вышел: звать, мол, ее, темную-то, «Камчаткой»...[1] И скуют этто цепями ноги и руки, и сиди... не повернись... Там, братцы, ходу нет — тесно. А окромя сухаря и воды, ничего есть не дадут!.. А уж зато линьком ни боже ни! Никто не смеет!

— И боцман не смеет? — спросил кто-то с сомнением в голосе.

— Сказывают тебе, не смеет! — решитель-

но отвечал Макар.

— А как смеет?

— Никак нельзя — потому бумага.

— А ежели хватит?

— Небось побоится...

Боцман Никитич услышал эти разговоры и пришел в негодование. Он подошел к разговаривающим и грозно сказал:

— Вы что разорались, черти? Ай дудки не слышали: «отдыхать»! Ну и дрыхни или молчи!

— Да никто не спит, Афанасий Микитич! — осторожно заметил бойкий матросик.

— Ты меня учить станешь, што ли? Ты у меня смотри... Этого нюхал?..

И с этими словами боцман достал из кармана линек и поднес его к лицу молодого матроса.

И Макар и остальные ребята струсили.

— Мы, Афанасий Микитич, ничего!.. — пробормотал Макар.

— То-то ничего... Ты не галди! Беспорядку делать не годится! — с меньшею суровостью замечает боцман, довольный испугом матросов.

— Не годится, Афанасий Микитич, не годится! — поддакивают молодые матросы.

Боцман ушел.

Матросы некоторое время молчали.

Наконец кто-то сказал:

— Вот-те и не смеет!

— Издохнуть — не смеет!.. Это он для стра-ху! — заговорил Макар.

— Для стра-а-а-ху? Он и взаправду огреет!

— Не может! Завтра, сказывали ребята, приказ от капитана выйдет, чтобы все линь-ки, сколько ни на есть, за борт покидать! Чтоб и духу его не было...

— А насчет того, чтобы драться, как будет, братцы? — спросил один из ребят. — Боцмана и унтера шибко лезут в морду. Как по бумаге выходит, Макарка?

Макар немного подумал и отвечал:

— Нет, братцы, и в морду нельзя... Потому телесное... Слыхал я вчера, дохтур в кают-компании говорил: «Тронуть, мол, пальцем никто не может».

— Ну?

— Ныне, говорит, все по закону будет, по правде и совести...

— Ишь ты...

— Как волю крестьянам царь дал, так и все прочее должно быть... чтобы честно!.. — вос- торженно продолжал матрос. — У нас на «конверте», сами, братцы, знаете, какой ко- мандир... добрый да правильный... И везде та- кие пойдут. Все по-новому будет... Россий- ским людям жить станет легче... Это я вам верно говорю, братцы... А что Микитич кура- жится, так это он так... Бумага-то ему поперек горла. Да ничего не поделаешь!.. Шалишь, брат... Руки коротки!

III

На баке ораторствовал Жаворонков, мат- рос лет тридцати пяти, из учебного экипажа, бывший кантонист*, шустрый, ловкий, наг- лый, не особенно нравственный продукт ка- зарменного воспитания. Готовился он в писа- ря — это звание было предметом его горячих желаний, — но за пьянство и вообще за дур- ное поведение Жаворонков в писаря не попал и служил матросом, считая себя несколько выше матросской среды и гордясь своим об- разованием в школе кантонистов. Матрос он был неважный: лодырь порядочный и к тому

же не из смелых, что не мешало ему, разумеется, быть большим хвастуном и бахвалом.

— Теперь всем даны права! — говорил он, ухарски подбоченясь и, видимо, чувствуя себя вполне довольным в роли оратора, которого слушала изрядная кучка матросов. — И на все положенье — закон! Поняли?

— На все?

— Беспременно на все, по статутам...

На многих лицах недоумение.

— Это какие ж статуты?

— Законы, значит... Ты ежели свиноватил — судиться будешь... Пьян напился — судись... Промотал казенную вещь — судись... Своровал — опять же судись... А присудился, тебя в штрафованные, а уж тогда, в случае чего, можно и без суда выдрать...

— А как судить будут?

— По всей форме и строгости законов... Вроде как у англичан судят... Вы вот спросите у Артюшки, как его третьего дня у англичан судили... Небось как следует, при всем парате... Так, что ли, Артюшка?

Неказистый на вид матрос усмехнулся и проговорил:

— Чудно было...

— Чудно! — передразнил Жаворонков. — А по-моему, очень даже правильно... Да ты расскажи...

— Да что рассказывать?.. Поставили это меня в загородку. Ихнее писание целовать велели. Опосля гличанин, которого я, значит, в пьяном виде, ударил, стал на меня доказывать. Все слушали. Судья ихний, в вольной одеже, посреди сидел... повыше этак, и тоже слушал. Как гличанин кончил, мне велели на него доказывать. Опять слушали, как наш офицер на ихнем языке мой доказ говорил... Ну и взяли штраф... за бой, значит.

Этого Артюшку притянули к суду за оскорбление полисмена в Гонконге. Он был на берегу и в пьяном виде буянил. Когда полисмен что-то сказал ему, матрос ударил его. Англичане, бывшие свидетелями этого пассажа, только ахнули от удивления.

— Ловко попал! — заметил один рыжий джентльмен. — Прямо под глаз!

Полисмен побагровел от злости и свистнул. Пришло еще трое полисменов и матроса отвели в Police station[2].

Об этом тотчас же дали знать на корвет и просили прислать переводчика к мировому судье, у которого на следующий же день назначено было разбирательство дела.

Переводчиком был один из корветских офицеров.

Начал свою жалобу полисмен. обстоятельно объяснил он, как встретил пьяного русского матроса, который грозил кулаком на проходящих, и как вообще непристойно вел себя...

— Но вообразите мое удивление, господин судья, — прибавил полисмен, — когда на мое замечание русский матрос ударил меня.

Довольно долго говорил полисмен и изрядно-таки позорил русского матроса за проступок, недостойный «честного гражданина», и в конце концов требовал вознаграждения за обиду.

Обратились к нашему матросу. Он поднялся с места и стоял в довольно-таки непривлекательном виде: грязный и оборванный после вчерашнего пьянства. Стоял и молчал.

— Рассказывай, Никитин, как было дело! — обратился к нему наш офицер.

— Да что говорить, ваше благородие?

— Говори что-нибудь!

— Шел этто я, ваше благородие, по Гонконту из кабака... Признаться, хмелен был... Подвернулся мне под руку вот этот самый гличанин (и матрос указал грязным корявым пальцем на сидевшего напротив чистоплотного полисмена)... я и полез драться...

Весь этот короткий спич матрос произнес самым добродушным тоном.

Офицер объяснил судье, что матрос сознает свою вину, и дело кончилось тем, что за него заплатили штраф.

Об этом судьбище и рассказывал Артюшка.

— Вот оно как судят! — проговорил Жаворонков. — Так и у нас будут... по всей форме и строгости... Права даны! Теперича ежели боцман в ухо, и я его в ухо!

— Попробуй-ка!

— А думаешь, не попробую!.. — хвастал Жаворонков. — Нонче закон-положенье... Статуты!

— И здоров тоже ты врать, как я погляжу, братец, — заметил, отходя, какой-то старый матрос.

IV

Боцмана, писаря, баталер, фельдшер и унтер-офицеры собрались в палубе и тоже рассуждали об отмене телесных наказаний.

Особенно горячился боцман Никитич, невоздержанный и на руку и на язык.

— Справься теперь с ними... Что ты ему сделаешь? Выходит, ничего ты ему сделать не можешь... Линек бросить, сказано!

— Сказано? — переспросил другой боцман, Алексеев.

— То-то и есть!

— А как насчет, значит, науки?.. Ежели смазать? — задал вопрос один унтер-офицер.

— Тоже не велено... Вчера старший офицер призвал и говорит: «Всем унтерам накажи, чтобы в рожи больше не лезли... А то, говорит, смотри!..»

— Однако и порядки пошли! — протянул Алексеев.

— Удивительное дело! — вставил баталер.

— Про то я и говорю! — горячился Никитич. — Справься теперь с ними. Не станешь изо всякого пустяка с лепортом... А ведь с нас же потребуют... Зачем зверствовать?.. Дал в

зубы раз-другой и довольно... И матросу стерпится... И понимает он, что ты боцман...

— Известно, надо, чтобы понимал... Без этого к чему и боцмана! — подтвердил другой боцман.

— Опять-таки позвольте, господа, сказать, — вмешался писарь.

— Насчет чего?

— Насчет того, что нынче другая на все мода... Чтобы все по благородству чувств... Посудите сами: ведь и матрос свою физиономию имеет... Зачем же бесчестить ее?.. Виноват, ударьте его по спине, положим... Все же спина, а не физиономия...

— Нешто почувствует он по спине?.. Он, окромя носа, никакого чувства не имеет...

— Ударьте так, чтобы почувствовал...

— Что уж тут говорить!.. Никакого толку не будет!

— Уж и зазнались, дьяволы! — говорил боцман Алексеев. — Утром сегодня на вахте... Кирька брамсельный ушел вниз и сгинул, шельма... А уж вахтенный горло дерет: зовет подлеца. Прибежал. «Где, говорю, был?» — «В палубе, говорит, был!» — да и смотрит себе,

быдто и офицер какой. Я его линьком хотел огреть, а он, как бы ты думал? «Не замайте, говорит... Нонче не те права!»

— Я б ему показал правов! Искровянил бы ему хайло... — гневно заметил Никитич.

Долго еще беседовали унтера. Однако в конце концов решили на совещании, что хоть бумага там и вышла, а все же следует «учить» по-прежнему... Только, разумеется, с опаской и с рассудком.

От Бреста до Мадеры*

Птицею райскою засвистал в дудку боцман Никитич. Ревмя заревел он: «пошел все наверх на якорь становиться!» — мимоходом стеганул раза два легонько линьком закопавшегося молодого матроса Гаврилку и полетел реи править.

Повыскакали матросы смотреть, в какой это такой город входит корвет. Рады они были всякому городу. Пора стояла дождливая, осенняя; окачиваться холодно, а тело расчесалось — бани требует. Ну и опять же, верно, порт и не без кабаков, и не без тех кралей, что пленяют так матроса за границей и которой

несет он, — если уж краля очень вальяжна, — всю свою наличную денежную заслугу.

«На ж тебе, мол, басурманская ты душа... Знай ты русского матроса и ндраву его не препятствуй».

И какая-нибудь Жюли или Матильда нраву матросскому не препятствует, исправно обирает его разгулявшегося и ведет с ним беседу деликатную, и так ведет (на то она и француженка), что и матрос беседу ее понимать может.

— Обходительна очень, — говорит после молодой матрос Гаврила у себя на корвете, — и бестья ж эта, я вам, братцы, скажу, французинька... Так вот тебе и чешет по-нашему, так и чешет... «Рус, говорит, люблю; рус, говорит, бон». Ну и опять же: ласкова, шельма, знает, как тебя ублажить.

Слушают ребята эти лясы и одобрительно ухмыляются.

— Гличанки — те варварки, горды, — замечает пожилой марсовой Андреев, — морду от нашего брата воротят.

— Чистоту, Кирилыч, любят. Ономясь, я вам скажу, Фокина по роже съездила одна

гличанка-то... «Зачем, говорит, нетверезое ты экое рыло, целоваться, мол, лезешь!» То-то, ребята сказывали, смеху было.

Разбрелись матросы по палубе и глядят да поглядывают на скалы, между которых тихим ходом идет корвет.

Невесело что-то подходили мы к рейду. Стоял пасмурный осенний день. Мелкий назойливый дождь мочил немилосердно, словом, погода вполне подходила к неприветливым серым скалам с рассеянными на них батареями, где мерно шагали по эспланадам* закутанные в серые плащи часовые.

Корвет входил в Брест.

— Чтой-то за город будет, братцы? — спрашивают друг у друга матросы, — гличанский или хранцузский?

— Кто его знает, братцы, какой он такой.

— Это Брест-город, — говорит кто-то, — хранцузского королевства порт. Веселый, ребята, порт. Я был там, как на «Баяне» ходили, кабаков-те... Кабаков-те сколько...

— А скажи, брат, бани там есть? — спрашивает Гаврила.

— Бани-то? Бань нету.

— Штоб им пусто было! И видно нехристей. Нигде этто бань нету. В Киле* не было... И опять в Бревзене* не было, и теперче нету. И што ты станешь делать? С Кронштата не мымшишь. Поди, так и насекомая заведется.

— Звестно она в грязи живет, — замечают матросы.

— Так как же быть, братцы?

— Ванные есть в Бресте, помыться можно.

— Што с нее толку! В ванной не пропреешь. Одна слава — мытье... Ребята ходили в эти ванне, сказывали, что дрянно.

— Ну, Гаврилка, теперича ты бань нигде не увидишь, все пойдут ванне.

— Ишь ты!..

— А то станет жар, и такой, братец ты мой, жар, што ты места не найдешь, ровно пекло пойдет, а в воде кит-рыба и акулье плавает, дай только подальше зайтить. И хоша окачаться станешь, все без толку, потом) вода там горяча, в тропиках-то, — объясняет Кирылыч.

— Это город значит такой, Тропики?

— Это страна такая... ну и зовется по-ихнему тропиками...

Разговаривающие замолкли... Мимо проходил офицер...

— Так в Бресте бань нету? — немного погодя снова начал Гаврила.

— Ишь пристал... Сказывают — ванные...

— Ну тебя с богом, с ванными!

— Гляди, братцы, кораблей-то сколько!..

— А и так... вона и город!..

— На контра-брас на правую! — рывкнул в это время Никитич и кстати обозвался.

Разговоры на баке прекратились. Матросы молча трекали снасть...

Рейд начал открываться. Корвет прибавил ходу, на нем выправили реи, чтобы в чужие люди показаться, как следует военному судну, и, пройдя между французскими кораблями, кинул якорь.

Город виднелся вдали... Как матросы были рады городу, так и офицеры были ему рады... И если матросы так настойчиво допрашивали: «есть ли в Бресте бани», — то этот вопрос мог, по совести, считаться более важным (ибо решен вопрос чистоплотности), чем те, которыми офицеры осыпали товарища, бывшего прежде в Бресте...

- Что, какая лучшая в Бресте гостиница?
- Бильярды с лузами есть?..
- А насчет дам, каково оно?..

Таковыми вопросами закидывали лейтенанта Ивана Ивановича, который поспешил дать самые точные и удовлетворительные ответы...

Все пошли собираться в город и облачаться в статские костюмы... И уж на каких же чуел многие были похожи в статском платье! Известно, военный человек в нем на первый раз неловок, не в своем виде. Привык он и признаков белья не показывать из-за галстука, а тут надо жако* разные выставлять... Ну, конечно, с непривычки трудно!

Пока одевались, в кают-компании собрались прачки — всегдашние первые гости — и уж шумели там препорядочно. Все хлынули из кают посмотреть на прачек. Многим желательно было увидеть молодых, чистеньких гризеток, но все сильно ошиблись, увидев вместо молодости и красоты — старость и неблагообразие крикливых бретонок, которые и говорили таким ломаным французским языком, что понять было трудно.

Старые тетки эти словно на лицах господ офицеров прочли, что многие не таких прачек ожидали... Одна из них мигом выбежала наверх и скоро привела молодую, не совсем некрасивую девушку, очень мило одетую, которая и не замедлила, лукаво улыбаясь, упрашивать отдать белье своей патронше... Но другие старухи тем временем не дремали и многозначительно совали в руки удостоверения от господ русских офицеров, прежде посещавших Брест. Некоторые удостоверения, писанные по-русски, не лишены были категоричности.

«Такая-то моет хорошо, но в срок не привозит белья... Не отдавайте ей мыть, господа... Она, вдобавок, морда!»

Был и такой сертификат*:

«К старой карге можно обращаться по разным делам, в коих россиянину в чужом городе может встретиться надобность. Берет за мытье дорого, но у нее прачки молоденькие».

Одна рекомендация гласила:

«Господа, madame Girnaux хоть моет белье отвратительно, но советуем отдавать ей мыть, ибо в награду за дурно вымытое белье

вы познакомитесь с ее племянницей, хорошенькой Мери (19 лет), брюнеткой, с голубыми глазами, но без рекомендации своей тетушки ни с кем не знакомится».

Надо признаться, что на последний сертификат изловилось большинство публики, и надо было видеть, с каким злорадством другие прачки смотрели на госпожу Girnaux, веселую, довольную, уносившую один за другим большие узлы с грязным бельем.

И хотя мамзель Клара — живой сертификат — и строила милые гримаски, но все же не могла набрать столько белья, сколько набрала тетка Girnaux.

— Разве отдать Кларе белье? — говорит один офицер другому.

— Бросьте... Точно не видите?.. Чисто кош-ка.

И сомневающийся мичман решительно приказывает вестовому отдать белье Girnaux, а та приглашает к себе и объясняет, что ее племянница...

— О, это чудное создание... ее знают все ваши офицеры.

Вот и портные приехали; суют в руки свои

карточки, друг перед другом выхваляют свою умелость и берутся все шить, что ни потребуется, и скоро, и дешево, и хорошо...

Толкотня в кают-компании страшная. Шум невыносимый... В одном углу Антон Антоныч все допытывает у Клары, сколько ей лет... Клара говорит, что семнадцать, но Антон Антоныч утверждает (и совершенно справедливо), что она врет, но Клара уверяет, что она не врет, что она не стара... молода...

Тут кто-то с портным торгуется, и торгующийся входит в азарт; а у каюты вестовой Ворсунька ругает m-me Girnaux за то, что она по-русски считать не умеет.

— Ведьма французская... Ну, считай!.. Одна рубаха, две... три... четыре... пять...

И бретонка, ровно попугай, повторяет: «одна рубак... две... тьри... читьрь»... но потом сбивается, продолжает: «cinq, six...»[3].

— Опять загалдела по-собачьи... Ишь бормочет... и не понять... Уж вы, ваше благородие, — обращается Ворсунька к своему барину, — с меня не извольте опосля спрашивать... Я по-ихнему считать не умею... Може, белья не достанет... я не ответчик...

И у матросов на палубе тоже возня... И там прачки суетятся. У кого из ребят завелся лиш- ний франк, который он прогулять не рассчи- тывает, — тот отдает мыть свое бельишко.

И тут есть — и помоложе и попригожей других — прачка Жюли, с которой ребята уже свели знакомство и которую по-дружески зо- вут Жюлькой.

— Ты теперича, Жюлька, — говорит марсо- вой Григорьев, хватая шершавой, смолистой пятерней узенькую талию быстроглазой, востроносой Жюли, — белье-то вымой хоро- шо... Да портки чище... Ишь пропрели-то как, — сует он Жюли в руки свои потемнев- шие от грязи портки... — Смотри, Жюлька, чтобы было бон!..

— O monsieur... soyez sur... Un franc la douzaine...[4]

— Да уж я знаю, был у вас... Один франок дюжина... Валяй!.. Славная, братец, энта Жюлька, — обращается Григорьев к подошед- шему матросу...

— Шельма! одно слово...

— Ты заштопай, тетка... Мыть берешься и заштопай... понимаешь?.. и рубаху почини...

И штаны тоже заштопай... потому деньги не дарма платить...

Так в другом углу втолковывал старой бретонке один матрос.

Прачка ничего не понимала и только говорила:

— Oui, Oui!..[5]

— Не понимаешь опять?.. Говорю, зачини-от белье... Иглой значит...

И Макаров взял свои просмоленные штаны и, ткнув пальцем в дыру, показывает, что эту дыру зачинить надо.

Бретонка начинает понимать и говорит: *encore un demi franc*...[6]

— Значит, полфранка еще, — переводит проходивший мимо фельдшер.

— Бога ты не боишься... Пол-франока!.. Ступай, тетя, отколева пришла... другой отдам...

И Макаров хочет взять белье назад.

Бретонка наконец соглашается.

— Ишь аспидка этакая!.. подавай ей полфранока, как же, — ворчит, уходя, матрос.

— Иван Абрамыч... подите-ка сюда, — зовет фельдшера боцман Никитич... — Что это она говорит, будто бы и невдомек?..

Фельдшер подходит и кое-как объясняется с прачкой.

А ребята дивуются, на него глядя, как это он так по-ихнему хорошо знает...

— Одно слово жид... жид всякой язык знает, — говорят про него.

У рундука стоит матрос, по прозвищу «Левка-разбойник», получивший эту кличку за буйства, которые он производит во хмелю...

Оригинален был Левка. Он и с виду на разбойника походил... Рыжий, с изрытым от оспы, вечно суровым, задумчивым лицом, на котором, по выражению остряков-матросов, «черти в свайку играли», — он далеко не казист, но его глаза, — славные, большие черные глаза, угрюмо глядящие исподлобья, иногда поражавшие своим блеском, когда он вдруг на кого-нибудь их вскидывал, — выкупали неблагоприятие его лица и придавали ему какое-то мрачно-красивое выражение.

Леонтий Рябкин стоял в раздумье перед несколькими штуками грязного белья, держа в руках четыре серебряные монеты.

— Один франок, — угрюмо рассуждал он,

взяв монету из одной руки в другую, — пропью... Другой франок... тоже пропью... Третий... не... (тут Леонтий ухмыльнулся)... Рази белье помыть на четвертый?.. — Леонтий на белье взглянул... — Ну его... белье... сам вымою... И четвертый пропью! — вдруг решил Рябкин, собрал белье в кучу, сунул его в рундук и опустил свои четыре франка в карман штанов.

Скоро все отправились на катере в город... Приехали, конечно, и офицеры прямо в ресторан...

— Обедать!

— Рюмку водки!

— Пива!

— Омаров!

— Господа, давайте лучше сообща... платить легче...

— Давайте!

Гарсоны едва успевают подавать и, верно, глядя на нас, полагают, что мы суток трое не ели, ибо с такою алчностью мы уписывали все, что ни попадалось.

На том столе, где мы обедали, через полчаса явился пепел... пятна от пролитого пива и

вина... Болтали и шумели мы так, что из соседней комнаты с удивлением выглянули на нас два французика, но, увидев нас, сейчас же скрылись.

— Господа! — вскрикнул кто-то, — господа... Нас обозвали эти французы...

— Полноте! — вмешиваются все разом. — Никак они нас не обзывали...

— А все бы их надо разнести!..

— Тише... господа... тише...

— Что ж омаров не дают? — кричат с одного конца, — омаров!!!

— Monsieur? — подлетает гарсон...

— Омаров!

Несут и омары...

В это время являются какие-то два французские поручика и любезно раскланиваются. Один из них заявляет, что они, узнав, что русские офицеры — эти храбрые русские — здесь, возгорели желанием познакомиться — «тем более, — продолжает оратор, — что Франция и Россия... о!.. эти две великие нации чувствуют друг к другу симпатию... В Крыму мы были враги по необходимости, но друзья по принципу».

Они наговорили много комплиментов, кто-то из нас начал отвечать, крикнув перед этим шампанского.

И пошла попойка, и пошли речи!

Чего уж тут ни говорилось, каких тостов ни предлагалось...

— Куда ж, господа, после обеда? — спрашиваем друг у друга, когда кофе с достаточным количеством рюмок коньяка было выпито.

— В театр пойдем...

Шумной большой ватагой все отправились в театр и вернулись на корвет с рассветом.

Дня через два после прихода корвета в Брест отпустили и команду на берег... «Первая вахта на берег!» — скомандовал после обеда боцман Никитич...

Довольные, что наконец вернутся с судна на землю, пошли одеваться матросы. Скоро они вышли наверх в чистых щегольских рубашках, причесанные, с несколько отмытыми смолистыми руками.

— Смотри, ребята... держись одной кучки, — говорил кто-то человекам пяти матросам, — чтобы вместе везде... И в кабаке вме-

сте... и гулять вместе.

— Афанасей... сколько у тебя франков? — спрашивает Макаров Афанасия.

— Два... брат...

— Дай пол-франока...

— Зачем?

— Дай, говорю...

— Да зачем?..

— Пропить...

— Пропить?

— Говорят, пропить... нешто не слышишь?

— А я-то что? Нешто уж и я не человек?

— С тебя хватит.

— Не дам, Макаров, я тебе пол-франока...

Лучше вместе пойдем... угощу.

— Смотри, Афанасей, угости...

— Сказано, пойдем... Погуляем... Только держись, — и Афанасий даже языком прищелкнул от будущего удовольствия.

— Вы, ребята, наперво куды?.. — спрашивает один матрос товарищей.

— Мы, братцы, в лавки...

— Что покупать?..

— Надоть рубаху... Вот Федор тоже штаны хочет торговать!..

- Купи, братец, мне нож!
- А вы-то что сами?..
- Мы в кабак... Гуляй, значит, душа...
- Так тебе нож купить?..
- Купи, ребята, кто-нибудь...
- А деньги?..
- Да ведь вы в лавки?..
- Ну...
- Пить не станете?..
- По шкалику рази...
- А я, значит, гуляю... все пропью...
- А нож?
- Купи на свои... Опосля отдам, потому те-
перь я гуляю... А вы, значит, в лавки...

Боцман Никитич надел тонкую рубаху с батистовым передом, щегольски повязал черный шелковый галстук с длинными концами; на грудь повесил свою дудку на серебряной цепи, шапку лихо надел немного на затылок и вышел наверх, держа в руках носовой платок, который между прочим он взял более для форсу, ибо и при платке он по привычке сморкался классически, т. е. с помощью двух пальцев.

— Гляди, ребята... боцман-то... раскуражил-

ся...

— Форсит... неча сказать...

— А ведь упьется?..

— Звестно упьется. Кажинный раз в лежку привозят...

Никитич беседовал с «чиновниками», с фельдшером, писарем и другими унтерами, с которыми вместе собирался ехать на берег...

Франт наш фельдшер все упрашивал сперва по улицам гулять.

— Или, Степан Никитич, — вмешался писарь Мухин, — в сад пойдёмте гулять... Верно, в городе сад есть. Нельзя без саду...

— Да што в саду-то? — говорит Никитич.

— Все же благородное развлечение.

— По мне в трактир сперва...

— В трактир после сада...

Однако Никитич не соглашался... И другие унтера не соглашались.

— Иван Васильич, — обратился фельдшер к Мухину, когда боцман и унтера куда-то пошли, — пойдёмте гулять одни. Что с ними гулять!..

— Конечно, Иван Абрамыч...

— Они никаких чувств не имеют... Только

бы им напиться. Известно, матрос!..

— И еще пристыдят нас.

— А мы, Иван Васильевич, благородно погуляем, зайдем в лавки, а после в театр... мы ведь не они...

— А в сад?..

— И в саду погуляем...

Писарь и фельдшер решили отделиться от Никитича и время провести более благородно, чем проведет его Никитич с компанией.

«Левка-разбойник» был мрачнее обыкновенного. Он всегда был мрачен перед тем, что напивался. В раздумье ходил он взад и вперед по баку и изредка щупал свои четыре франка, спрятанные в кармане. На его лице явилась самая презрительная улыбка, когда он услышал разговор писаря с фельдшером. Он быстро вскинул на них глаза и потом так же быстро опустил их и только сказал: «сволочь».

Леонтий резко отделялся от прочих... Постоянно молчаливый, угрюмый, особняком сидел он за какой-нибудь работой, и хорошо, легко как-то спорилась работа в его могучих, крепких руках... Говорил он с другими мало, да и вообще с ним, зная его суровый нрав,

редко кто и заговаривал... Относились же все к нему с уважением, а боцман даже с некоторым заискиванием, потому что Леонтий был золото-матрос из баковых... Бывало, крепит парус в свежий ветер, так любо глядеть на него, бесстрашного, вечно спокойного, не суетящегося, разумно и толково делающего дело...

— Угрюмый человек! — говорили про него матросы.

— Чудак, — говорит боцман, но побаивается Леонтия, потому Леонтий шутить не любит, а коли обидят его понапрасну, то он обиды не стерпит.

На корвете Рябкин водки не пил. Он, кажется, мало ее пить не любил... Зато на берегу пил до беспамятства и сильно буйствовал. Почти всегда на корвет привозили его мертвецки пьяным и со шлюпки подымали на веревке.

Еще мрачнее, еще суровее на другое утро бывал Леонтий и, будто совестясь, не подымал глаз, если кто из начальства с ним заговаривал...

Офицеров, что с матросами заводили раз-

говоры от нечего делать, Леонтий не любил... Я это знал и, несмотря на все мое желание узнать кое-что о его прошлой жизни, самого его никогда не спрашивал, будучи уверен, что он и мне ответит так же, как ответил одному из корветских офицеров.

— Что ты, Рябкин, все скучаешь? — спросил его однажды один мичман.

Леонтий только вскинул глазами и продолжал строгать блочек...

— Что, скучно по Кронштадту, что ли?..

— А вам от этого легче станет, коли я скажу, ваше благородие?

— Я так... узнать хотел...

— Нечего и узнавать, ваше благородие, — угрюмо отвечал Леонтий, и мичман отошел прочь.

Леонтий был прямой человек и фальши в других терпеть не мог... Сам обид не переносил и других никогда не обижал. Напротив, молодых матросов из рекрут защищал всегда от нападок и глумлений старых.

Живо запечатлелась у меня следующая сцена.

Вошли мы в Немецкое море*. Ветер был из-

рядный, качка сильная... Некоторые из матросов, впервые попавшие в море и не успевшие еще привыкнуть ко всем суровостям морской службы, струхнули порядочно... Один из рекрутов, — молодой такой, славный матрос лет двадцати, с необыкновенно симпатичной физиономией, — сидел, прижавшись к баркасу, и, бледный, печальный, со страхом глядел на высокие волны, что, словно горы, подымались сбоку и будто залить хотели совсем корвет...

— Что, ватрушка олонецкая?.. Чай, теперь и маменьку с тетенькой вспомнил, — глумился над ним Куличков, матрос из кантонистов* . — Что, трусишь?

— Страшно... Волна вздымается-те как... И нуто мутит, — оправдывался новичок...

— Эх, баба ты!.. Вот я боцману скажу... он тебя на марс пошлет. Там те растрясет.

— Не трожьте, дядя!..

— Ну, дай чарку за тебя.

— Пейте, что теперь водка...

— Я те дам водки, шкура ты барабанная, учебная крыса... Что молодого обижаешь?.. Смотри, Куличков!..

И сказавший это Леонтий так взглянул на Куличкова, что тот только пробормотал:

— Я ведь шутю...

— Так впредь не шути!.. А ты чего спужался, матросик, аль страшно?.. Привыкнешь, паря, обтерпишься, — ласково вдруг заговорил Рябкин.

— Противно мне... море-то... дядя...

— Зови меня, матросик, Левонтьем. Какой я тебе дядя? А что противно, так оно всякому спервоначалу-то противно...

— Тяжело терпеть, Левонтий, — грустно сказал Василий.

— А что?

— Тоже жалко своих... мать-то... как, и опять Апроська... первой год женился.

Василий безнадежно махнул рукой, а Леонтий ласково глядел своими выразительными глазами на молодого рекрута и немного погодя сказал:

— Ты, Вася, коли что там с работой не справишься, у меня спроси... Да не робей, брат. А кто обижать захочет, спуску не давай... Что, аль опять мутит?..

— Мутит, Левонтий, — как смерть блед-

ный, отвечал первогодок-матрос...

— Пойдем, брат, сухаря съешь...

И он заботливо свел матроса на палубу.

Потом Леонтий так привязался к молодому матросу, что обида Василию была и ему обидой. Словно нянька ходил он за ним, и через два месяца из него вышел такой лихой матрос, что Леонтий, глядя, бывало, как Василий бесстрашно крепит брамсель в свежий ветер, улыбался, и лицо его светлело.

Леонтий мало говорил с своим любимцем на корвете. Он разговора не любил, но на деле показывал привязанность своей любящей натуры и ласково выслушивал нехитростные воспоминания молодого матроса, даже сочувственно улыбался, когда молодой матрос так порывисто, так горячо рассказывал о молодой Апроське.

Под пьяную руку Леонтий был словоохотливее.

На берегу он был всегда вместе со своим фаворитом, но пить его не приучал.

— Што толку-то в ней... в эфтой водке-то; не пей, Вася, никогда не пей... Гадость она!.. Не с добра ее пьют, — утрюмо говорил Леон-

тий и залпом выпивал стакан крепкого спирта.

Как попал Леонтий в рекруты, об этом в подробности не знал никто. Знали только, что он пошел из дворовых. Да еще молва по корвету ходила, будто любвишка какая-то скрутила Леонтия, что прежде он не такой был.

Случай привел меня узнать кое-что про его прошлое от него самого же в одном из брестских кабаков.

Знаете ли что, читатель! Много, очень много тяжелого и трагического подчас бывает в жизни матроса.

С виду, кажется, благоденствует матрос — и сыт, и одет, будто и весел, песни по вечерам поет, а взгляните поглубже, прислушайтесь иногда темной ночью, сидя на вахте, как какой-нибудь молодой матрос про свою деревню рассказывает, или как старик-матрос клянет идола экипажного командира, от которого он просился на три года в «дальнюю»... «безвестную»...

Не всякому русскому матросу радостно дальнейшее плавание. А он и туда даже сам иной

раз просится... Знать, уж больно солоно пришлось от чего-нибудь. Одного жена безжалостная погнала в «дальнюю»... «Скопи мне, мол, денег»... Другого, какого-нибудь безответного, били да пороли до того, что даже и терпеливый русский матрос не стерпел и пошел проситься в «кругосветку», надеясь, что в плавании легче будет...

И терпит все матрос. И бурю терпит, и ветер и дождь терпит... И работает он трудную работу, крепит, качаясь над океаном, паруса в свежую погоду; не досыпает ночей; вечно находится в опасности... И сносит все это он, и только вымещает накипевшую досаду на водке, да разве в песне у него из груди вырвется иногда такая надрывающая нотка, что насквозь проберет иного любителя русских песен.

Я был назначен в Бресте ехать с людьми на берег.

— Сажай-ка людей на шлюпку, — сказал я боцману.

— Ну, живо на шлюпку... Вались, кто на берег! — скомандовал Никитич.

Скоро полон-полнешенек баркас отвалил

от борта. Только что пристали к пристани, матросы бросились из шлюпки и пошли гулять.

Наполнились кабаки, оживились... В какой-нибудь французской бюветке* русский матросик закатывает, лихо упершись рукой в бок: «Вниз по матушке по Волге», а другие подтягивают и постукивают стаканчиками. Слушают французские солдаты русскую песню, спьяна восхищаются и лезут целоваться. Матрос не прочь целоваться (он уже сам пьян) и велит подать еще водки...

И пьют и галдят матросики...

— А я не спущу, не спущу ему, — вопит Макаров, на счет Афанасия угостившийся, — потому он не смеет драться. За что ж?.. Посуди ты сам, Афанасей... И рази он смеет?..

Афанасий не понимал, в чем дело, однако отвечал:

— Шиби... и ты — чертова голова — шиби!..

— Давай, Афанасей, шибить!..

И они расшибли два стаканчика.

— Есть в тебе... што ли, совесть? — допрашивал один матрос.

Француз только моргал глазами...

— Ну и пей, французская морда! Пей, не куражься!..

И матрос сует французу целый стакан голого спирта.

Тот в испуге таращит глаза.

В небольшой кофейной сидят за столом Леонтий и Василий.

Я вошел и сел в сторонке, друзья меня не заметили.

— И полюбил я тебя, Вася... Потому видел... душа в тебе... Без души человек што!.. И знаешь, што я тебе скажу?.. Так я и Сашку-варварку полюбил... Была в ей душа!..

Леонтий остановился.

— Повадился ходить к ей... Вижу, не противен... меня слушает, — я и решил... «Пойдешь, говорю, Сашка, за меня замуж?» Удивилась... посмотрела так на меня... «Не могу, говорит, Леонтий Иваныч. Хоша, говорит, я вас почитаю, но и приверженности настоящей нет, — я к другому имею приверженность!»

— Ишь ты! — воскликнул молодой матросик.

— Кто же этот злодеи, скажи ты мне, говорю, чтобы я ему скулы своротил!.. Такая это

меня злость взяла. — «Не скажу, говорит...», а сама так листом трясется, потому видит злость эту мою. — Скажи да скажи, — пристал я к ней, — ничего, мол, не сделаю!.. — «Лексеев, — отвечает, — фершал девятого экипажа! Вы, Леонтий Иваныч, бережите, говорит, слово, а то грех...» Что мне грех... коли все нутро ест! Ушел это я от нее, да в кабак... Оттель к фершалу и давай его бить... И бил я его... бил плюгавого фельдшеришку, поколь сердце не отошло. Замертво оставил... Выдрали меня и разжаловали... был я, брат, и унтером! — усмехнулся Леонтий. — И стало мне легче быдто, как я спакосничал Сашке-то... Опосля встретил этто я ее на улице... Она отвернулась и плюнула, а мне — словно бес радует какой. «Видели, говорю, вашего миленького?.. жив, что-ль, еще?..» Ничего не ответила, словно от чумы прочь пошла... Через год ушел я из Кронштадта. Опоскудела жисть-то.

Левка вдруг вытянул свою могучую руку и что есть силы хватил по столу. Зазвенели на полу стаканы... Подлетел гарсон... Леонтий достал франк и швырнул гарсону.

Скоро Рябкин был совсем пьян и ровно

сноп повалился на пол...

— Вяжи меня, Вася, вяжи... не то убью! — кричал он.

Подошли еще матросы с улицы. Леонтия связали, положили в шлюпку и на веревке подняли на корвет...

Кричал он целую ночь; грозился кому-то, говорил, что правды на свете нет и матрос безвинно терпит. Наконец он заснул. Наутро, проснувшись, он целый день ни с кем не говорил.

Впоследствии Рябкин спился совсем, и, когда корвет пришел в Николаевск-на-Амуре, его списали с корвета и перевели в Сибирский экипаж.

После этого я еще раз видал Леонтия. Сказывали мне матросы, что пьянствовал он шибко... И драли его шибко, да розги его не брали. Выпорют его, — он встанет и снова пьет; все пропивает...

А корвет уже готовился оставлять Брест... Первого декабря 1860 года он был совсем готов к уходу, и после полудня, отсалютовав крепости, выходил с рейда, чтоб идти далеко-далеко и долго не видеть Европы.

Первые дни океан не пугал. Погода стояла отличная. Одно худо: противный ветер заставлял лавировать и подвигаться миль по тридцати в сутки. Океанская качка уж и не беспокоила никого. Качка Немецкого моря приучила ко всем качкам.

Но вот 10-го декабря заревел ветер... И пошел аврал. Раздался свисток и вслед за ним зычный боцманский окрик:

— Пошел все наверх третий риф брать!

Ветер не шутит. Заревел он на просторе и застонал в снастях.

Океан словно рассердился, — вспенился. Забурлил и гонит высокие волны, седые гребешки которых бешено разбиваются в серебристую пыль о бока корвета.

Словно птица морская летит корвет... Нет ему препятствия... Грациозно, легко подымается он на волнистую гору и снова опускается, имея ее уже за кормой... Только дрожь какая-то идет по всему судну, да дух захватывает у непривычного, если за борт посмотреть... Одна пена, густая пена сердито клокочет сбоку.

Словно бешеные, бросаются матросы на-

верх... Рассыльный врывается в кают-компанию, «всех наверх», говорит, и сам летит наверх. Все бежит сломя голову... Для не моряка показалось бы, что судно ко дну идет... такая суматоха.

Андрей Федосеич, старый лейтенант, из породы таких, которые любят матроса и в то же время не прочь его побить, несется на бак, на лету надевает пальто и еще со шканец кричит, простирая руки к небесам: «на местах стоять!», не замечая в усердии к службе, что все на местах стоят...

Все идет хорошо... Обезьянами взбежали матросы по марсам и расползлись по реям. Работа у них кипит... Они делают свое трудное матросское дело и изредка промеж себя без всякой злобы переругиваются.

Офицеры стоят внизу, и от нетерпения многих словно трясучка берет. Они покрикивают, да подчас в припадке служебности и прошипят сквозь зубы: «Петров... ах ты...», но фразы не доканчивают, ибо недавно только что приказ капитанский вышел, запрещающий к службе не идущие окончания.

Крепят паруса и... о ужас! У фок-мачты од-

на веревочка, махонькая такая веревочка, нейдет... Уж Андрей Федосеич простер к небесам руки, но пока еще крепится. И только в безмолвии кажет изрядный кулак на марс... А веревка, чтобы ей пусто было, словно нарочно нейдет.

В этот-то злосчастный момент — момент, многим морякам знакомый, раздается крик:

— На баке! Что делают?.. Отчего снасть не идет?..

Андрей Федосеич напускается на Никитича.

— Ну, уж и боцман!.. Чего смотришь?.. Смотри, смотри же! — пустил Андрей Федосеич fortissimo.[7]

Наконец терпение Андрея Федосеича лопадется, и он шумно забывает недавний приказ об окончаниях, к службе не идущих.

Никитич только сплюнул на сторону и сам, по окончании выговора, стал ругаться направо и налево (больше для очистки совести), выделявая такие замысловатые и чисто артистические вариации на тему поминания родственников, которые, конечно, незнакомы сухопутному жителю и в которых моряки до-

шли до виртуозного совершенства.

Изругав родственников и ближайших знакомых и унтер-офицера Матвейча, что под руку подвернулся, ни в чем неповинного в веревочке, Никитич снова сплюнул и засвистал по-соловьиному в дудку.

Матвееву, в свою очередь, захотелось на ком-нибудь потешиться. «За что мне-то попало!» Он избежал на марс, дал незаметного стрекача молодому матросу Гаврилке, виновному, что не шла снасть, и, сорвав таким манером сердце, незаметно же сошел вниз.

Почесался Гаврилка... Нельзя было сорвать ему сердце на предмете одушевленном (а уж как хотелось!), и он сперва выругал на чем свет стоит бедную веревку и только тогда ее раздернул.

— А ты что драться лазил? — замечает Андрей Федосеич.

— Согрешил, ваше благородие, просто сами на грех наводят.

— Согрешил... Ах ты, подлая шкура, — сурово замечает стоящий сбоку Леонтий.

— Ты, смотри, не драться... А то просушу... Слышишь?

— Да помилуйте, ваше благородие. Я-то что же один терпеть буду? — жалобно говорил Матвеев, — меня ж обфилатели... а я уж и не смей... Они за все подводят.

— Нну... Терпи!

— Не стерпишь, — под нос себе ворчит унтер-офицер и уходит.

Но, увидев, что Андрей Федосеич ушел, он не мог удержаться (так велика привычка), чтобы не показать отошедшему Гаврилке хоть издали кулака; потом подошел к нему и сказал:

— А уж ты, швандырь окаянный!.. Смотри!.. Скажи, варвар ты этакой, за тебя я нешто ответы принимать должен? Погоди, голубчик... усахарю...

— Чего усахаришь-то?

— Ужо припомню, — шипит змеей унтер-офицер, — припомню, голубчик, припомню, лентяйка вологодская... припомню.

— Ну, чаво вы пристали-то... Матвеич?

— Не разговаривать! — крикнул офицер и обернулся.

Матвеев юркнул за мачту.

— Что, брат, — с участием тихо шепчут

Гавриле другие матросы, — отошло?

— Отошло, братцы, — говорит Гаврила, махнув рукой, и идет снасть тянуть.

— Андрей Федосеич!.. Андрей Федосеич!.. Посмотрите, ради бога, — кричит шканечный офицер, — контра-брас у вас не тянут!..

Голос и лицо этого офицера выражают такую искреннюю грусть и такое отчаяние, что не моряк подумал бы, что он о пособии просит, говоря, что, мол, малые дети с голоду умирают. Но моряк в душе, конечно, поймет все это отчаяние и грусть...

Рифы взялись благополучно... «Подвахтенные вниз!» — скомандовал старший офицер.

Матросы «невахтенные» тоже сошли на палубу.

— Уж как ты, Гаврилка, прозевал... просто не знаю... Трес я тебе, трес снасть-то... ровно ослеп ты, право.

— Какое ослеп... видать-то видал я, что надо ее раздернуть, да думаю... сама, подлая, раздернется... а она, каторжная, и не раздернулась... Под марсом, выходит, заело... Как не заметить-то! — поясняет Гаврилка. — А уж я Матюшке-подлецу не спущу... Съездил... хоша

и не больно, а съездил... Еще, говорит, припомню... Ишь, раскуражился!

— Ну его к богу, Гаврилка... Ишь толчки считать вздумал.

— Ужо съедем на берег... взмылю его... право, взмылю...

— Ну уж и взмылишь... врешь!

— А нешто не взмылю. Хайло ему начищу!

— Ты что тут раскричался! — замечает боцман, проходя мимо.

— Да как же, Никитич... за что Матвеев обидел понапрасну... Ныне и господа не дерутся, а тут всякой в рожу лезет, ровно в свою.

— Ну, говори!.. Что ж и не лезть!.. С вашим братом иначе нельзя. Надо когда и в рожу.

Тем и кончилось все дело.

Скоро забылись неприятности авральной работы, и по всем уголкам палубы пошли разговоры... лясы матросские...

Гаврила уже рассказывал, как он проводил в отпуску время... Около него составился порядочный кружок.

— Ты, Гаврилка, сказывай, как ублажали-то тебя... в деревне, когда на побывку ходил.

— Известно... ублажали... Потому рази матрос — солдат... Солдат что? Только и знает делов, что «на плечо», да «на караул», да «здравия желаем»... а ты теперь сумей брамсель крепить да лот кинуть... И нешто понимает он, что такое лот?.. Опять не понимает, потому солдат, и где ему это понять?.. Пришел я, братцы, в село накануне самого Миколина дня*... Прямо вошел в избу... Почали ахать да охать... Ох, Гаврилко, да какой ты, говорят, кучый да поджарый стал... ровно тебя не кормили, говорят, долго... Мать сдуру в слезы... Бабье и ну реветь... Не кормили да не кормили... Одначе что с ними делать станешь — известно, деревня! Сходил я, братцы, в баню — знатно выпарился, опосля наелся и лег спать... Наутро в церкву... Как есть в новом казакине, при медали... Ну, известно, почет... Девки на тебя глядят... ребятишки за тобой бегут: «кавалер да кавалер»... Опять наелся до отвалу и выпил... Стали спрашивать и дивиться... «Ты скажи да скажи, Гаврилка, как это там у вас на море?» — Известно, говорю, на море как... Теперче выдет, говорю, приказ собираться в кампанию... Возьмешь, говорю, свои потроха

и переберешься на корабль... Ну, известно, дивуются... «Как, говорят, на корабле-то?» — Ну, скажешь, как на корабле. Порядок, скажешь, и ежели ты какую снасть теперче не отдал, либо не раздернул — бьют, сказываю. — «Бьют нешто за веревку?» — спрашивают. За все бьют, и ежели, говорю, ты не выскочил, когда всех наверх засвистали... опять же бьют!.. И поднялся, братцы мои, мужицкий хохот!.. «Как, говорят, свищут?» — Ну, сказал им. Так, мол, и свищут... «А што, страшно, спрашивают, на окияне?» — Говорю, не был я на окияне, а што в море, говорю, страшно, опять потому, когда штурма бывает... Так, братцы, сперва просто мочи не давали... Все ты им скажи да расскажи... И какое-такое море, и как ветер в паруса дует, и часто ли тебя порют, и как офицеры живут... Ну, опосля перестали спрашивать... И пошла же мне, братцы, жисть... Потому лежи себе.

— А бабы?..

Тут Гаврилка только усмехнулся.

А в другом уголке старик рассказывал об одном матросе, который на линьки «был снослив».

— Драли его часто... Да не брало уж... Бывало, дадут ему с сотню, а он оденется да и спрашивает, и так это спрашивает, словно и не дран: «а что, братцы, скоро обедать-то?» Капитан узнал, значит, об эфтом, и бросили его драть.

— Заговор какой знал... — замечает молодежь.

— Небось, с чертом связался!.. Эх, дуралье!.. Просто шкура пообилась! — замечают старые.

И в таком роде шли беседы далеко на океане...

И хотя ветер не стихал, и хоть корвет сильно качало, однако все это не мешало и в кают-компанин одному из товарищей наших играть на фортепиано, а другим преспокойно слушать, вовсе не думая ни о ветре, ни о качке. Конечно, кто был на вахте, тому было скверно... а кто внизу — что тому, кроме разве скуки?..

Дня через три стих ветер. Развели пары, и корвет взял курс на Мадеру.

Червонный валет*

I

Жорж рос здоровым, краснощеким мальчуганом, с прелестными белокурыми локонами и большими томными, черными глазами. Знакомые дамы находили Жоржа прелестным ребенком; часто щекотали маленькими пальцами его подбородок и звонко чмокали в его сочные, румяные губы, вызывая краску удовольствия и стыда на мягкие, круглые щеки тринадцатилетнего мальчика. Адъютанты и подчиненные его отца носили Жоржу конфеты и сладкие пирожки и нередко называли Жоржа при родителях умным мальчиком, так что Жорж очень рано привык считать себя прелестным и умным существом.

Мальчика одевали роскошно, хотя, случалось, забывали подолгу менять белье, кормили на убой, часто меняли гувернанток и нянек и затем не обращали на него никакого внимания. Да и некому было. Отец Жоржа, высокий, старый, суровый генерал достопамятной крымской эпохи*, снимавший казенной меркой ширину солдатских подметок, —

по утрам бывал занят службой, вечера проводил за картами и особенной нежностью к детям не отличался. Официальное: «доброе утро, папенька», с поцелуем руки утром, и такое же приветствие вечером — вот и все первоначальные сношения ребенка с отцом. К тому же ребенок боялся отца. Его суровый вид, его седые, торчащие тараканьи усы, мутный взгляд оловянных глаз, вспыльчивые окрики: «я тебя!» наводили на мальчика такой трепет, особенно в первые годы его детства, что после каждого прихода в темный, мрачный кабинет с пожеланиями доброго утра и доброго вечера мальчику переменяли панталончики*. Так страшна казалась ему высокая, сухая фигура генерала, заставлявшая трепетать не только ребенка, но и всех взрослых в этом доме. Впрочем, этот трепет понемногу проходил. Мальчик хотя и боялся, но менее трепетал отца, умея найти в нем слабые стороны, которые и эксплуатировал довольно ловко для ребенка своих лет.

Мать, полная, добродушная женщина лет за сорок, любила без памяти Жоржа, этого Вениамина семейства*, с рождением которого

отношения супругов приняли совершенно иной характер. После родов Жоржа генерал нашел, что жена не в меру полна, дрябла и стара, и прекратил посещения ее половины. Генеральша обезумела и стала чаще страдать приливами крови и необузданными припадками ревности. Первое время она с пеной у рта, в одной юбке врывалась в кабинет мужа и требовала объяснений. Тогда происходили ужасные сцены. Сперва муж сдерживал себя, молча выслушивая бестолковый лексикон ругательств, но, когда бешеная женщина теряла всякую меру, седые усы шевелились как-то скоро и страшно, лицо бледнело, скулы быстро двигались, и он глухо произносил: «уйди!» Она, разумеется, в ответ посылала проклятия, а он бешено заносил руку...

Из кабинета раздавались отчаянные истерические рыдания; мать металась по полу и наконец замирала в обмороке. Маленький Жорж не раз подглядывал эти сцены и жалел мать.

После таких сцен генеральша, казалось, еще более привязывалась к своему последышу. Засовывая ему в рот сласти и обливаясь

градом слез, она невольно изливала свои жалобы на отца перед сыном и как-то невзначай, сама не понимая, что делает, посвящала его в свои тайны. Мать баловала сына, потакала капризам, рядила в дорогие курточки, мотала вместе с ним деньги на сласти, иногда возилась с ним подолгу, забавлялась, как дитя игрушкой, иногда забывала, что не видала его по целым дням. Она выезжала, принимала гостей, читала французские романы и с каким-то наслаждением поруганного женского самолюбия занималась наблюдениями за любовными интригами мужа. И в этом занятии Жорж мало-помалу сделался ее хорошим помощником. Сперва мать под благовидными предлогами посылала Жоржа к отцу, с целью застать его врасплох, но мало-помалу посланки эти стали повторяться без всяких предлогов, и дело дошло наконец до того, что мать с сыном нередко совершенно серьезно обсуждали сообща какой-нибудь новый план засады, из которой Жоржу можно было бы хорошо рассмотреть, как отец целует и щиплет гувернантку.

Гувернантки у Жоржа менялись очень ча-

сто. То сами уходили от преследований генерала, то оставляли дом вследствие ревнивых придирок и дерзостей генеральши. Генерал не давал им спуска. Он как-то выписывал всегда хорошеньких гувернанток и был мастер немедленно становиться с ними на короткую ногу. Та же история бывала и с няньками.

Сангвиник по характеру, генеральша быстро отдавалась впечатлениям. Точно ребенок, она удивительно скоро переходила от гнева к ласке, от слез к смеху. Часто, слушая отчет Жорженьки о том, как папенька в коридоре «обнимал и щипал» новую «няню Дашу», мать хохотала до слез, заставляя Жорженьку повторять рассказ о похождениях «старого развратника», как она всегда за глаза называла своего мужа. Жорж повторял и подчас при-сочинял подробности, мелькавшие в его воображении... Благодаря этим беседам с матерью, инстинкты мальчика просыпались ранее времени, и Жорж уже подолгу льнул к губам знакомых дам, целовавших «прелестного малютку», и краска, являвшаяся при этом на его круглые щеки, не была краской стыда.

Отец нередко давал Жоржу пощечины, диграл за уши и, случалось, секал. Но причины наказаний были до того разнообразны, что разобраться в них и выискать какую бы то ни было руководящую идею было совершенно невозможно. Иногда мальчика наказывали за разорванный воротник рубашки, иногда проходил даром раскроенный лоб дворового мальчишки. Раз высекли за то, что он солгал, другой раз простили за то, что украл какую-то безделку у своей тетки. Генерал особенно не любил, когда разбивали или портили вещи, и за это всегда наказывал.

Жорж выл не столько от боли, сколько от стыда и злости, и искал случая поймать отца в его шаловливых похождениях. Он ласково упрашивал Каролину Карловну, свою молоденькую гувернантку, идти с ним после обеда, в шесть часов, гулять в большой сад сзади дома и, отпросившись в оранжерею, оставлял гувернантку одну на скамейке в тени аллеи за книгой и убегал назад следить за приходом отца. Скоро резкий, отрывистый кашель давал знать, что отец в саду — он всегда гулял в эти часы, — и Жорж, заметив отца, осторожно

обегал к тому месту, где сидела Каролина Карловна, забивался в кусты и, притаив дыхание, ждал с нетерпением интимных сцен.

Генерал, заметив блестящее под лучами заходящего солнца женское платье, шел на него, как мотылек на огонь. Пугливо озираясь, он садился около и начинал какой-то странный, обрывистый разговор. Мальчик напрягал свой острый слух, и до его ушей долетали отрывочные фразы с привычной резкостью казармы, несколько смягченной близостью женщины и процессом ухаживания.

Кровь стучала в виски маленького шпиона. Он ловил обрывки фраз и нетерпеливо ждал обычного перехода от слов к делу.

— Мальчик где? Бегает?

— В оранжерее...

Скверная, торжествующая улыбка скашивала лицо «прелестного мальчика» при этих словах. Он напряженней вытягивал шею.

Опять доносился резкий шепот, раздражавший возбужденные нервы Жоржа.

— Сегодня придете?

— Она... Следит... Мне... Не знаю...

— Милая... приходите!

— Оставьте... Как можно... Заметят...

Генерал обнимал Каролину Карловну и молча, как зверь, целовал ее. Она тихо вырывалась, шептала какие-то неясные слова... Он не слушал ее лепета и, не роняя слова, продолжал молча щекотать подбородок, целовать лицо, шею...

Среди тишины сада до мальчика долетали таинственно заманчивые звуки, усиленное дыхание, какая-то глухая возня. Он видел все и в то же время ничего не видал. Какой-то туман заволакивал глаза, кровь прилиwała к голове, и он, обливаясь потом от внутреннего волнения, снова напрягал зрение, пожирая глазами туманную картину. Он восхищался, трепетал и злился. Он готов был броситься к отцу и в то же время замирал от страха при мысли, что его заметят. Он на секунду закрывал глаза, чтобы, снова открыв их, полнее насладиться зрелищем. Так пьяница на время оставляет вино, чтобы найти в нем новую прелесть.

Осторожно, задерживая дыханье, как мышшь в близком соседстве кота, бережно раздвигая ветви кустов, он отполз назад, поднял-

ся, перевел дух, бегом обежал две аллеи и, с видом шаловливого, невинного мальчика, разлетелся по боковой тропинке со всех ног к скамейке и остановился, как вкопанный, будто испуганный присутствием отца.

Генерал быстро отдернул руку от талии гувернантки, как-то заискивающе, с видом только что высеченного школьника, взглянул на Жоржа и тотчас опустил глаза. Ловким движением руки поправив прическу, гувернантка искоса бросила ласково-боязливый взгляд на мальчика. Щеки ее горели, глаза точно убегали внутрь. Наступили те ужасные секунды невыносимого положения, когда каждый понимает, что другой видел и понял свершившееся, но в то же время каждый делает вид, что он ничего не видал и ничего не знает.

— Где бегал? — резко спросил отец.

— В оранжерее, папенька. Какие там ананасы! — воскликнул мальчик с деланным восторгом. — Федор говорит, что к воскресенью поспеют.

— Большие, Жорж? — спросила, в свою очередь, гувернантка, чтобы что-нибудь спро-

силь.

— Огромные... вот какие, Каролина Карловна! — оживленно рассказывал Жорж, радостно глядя на смущенное лицо Каролины Карловны.

— Напомни мне о них, Жорж... напомни! Да!.. — Тут генерал перевел дух, словно в горле поперхнулось. — Да... Ты все просился в цирк! Вот тебе, сходи в цирк, мальчик, сходи! — как-то скоро проговорил отец, вынимая из бисерного кошелька новенький серебряный рубль и брезгливо отдавая его Жоржу.

С этими словами генерал встал, пошел было по аллее, но, сделав несколько нерешительных шагов, вернулся, тронул Жоржа под локоть и сказал:

— В цирк завтра идти можно. Можно!.. Там лошади есть... лошади... Верхом на них ездят... хорошо...

Он выговорил эти слова неестественно, растерянно и, понизив вдруг голос, как бы мимоходом, не глядя на Жоржа, обронил глухим голосом, отходя от сына:

— Да не болтай... Матери вздору не болтай!..

И быстрыми, спорыми солдатскими шагами, звякая по песку подошвами, генерал удалился и скоро скрылся в боковой аллее.

Жорж любовно глядел на блестящий на ладони серебряный рублевик и смутно чувствовал какую-то гадость на душе. Конечно, он завтра пойдет в цирк — в цирке очень весело бывать, — возьмет с собою лакея Федьку, своего любимца, и купит лакомств, а все-таки эта серебряная монета словно прожигала ладонь, и ему хотелось скорей от нее избавиться, разменять ее, что ли, чтобы не видеть ее. И этот растерянный вид отца не доставил ему ожидаемого удовлетворения, а, напротив, кольнул его в сердце, именно кольнул. Несмотря на страх, он все-таки любил отца и теперь любит, но как-то не так, точно в любви оказалась прореха, из-за которой выглядывали школьнически бегавшие глаза отца, и этот блестящий, гадкий рубль, и эти глухие слова: «не болтай!»

«Ах, зачем я все видел!»

Сложный процесс мысли и чувств происходил в мальчике. Чувство раскаяния, боли за отца, чувство стыда охватили теплом его дет-

ское сердце. Он как-то приник, швырнул от себя рубль и, тихо повернувшись, в раздумье побрел к скамейке. Когда он поднял глаза и увидал перед собою красивую Каролину Карловну, залитую багровым светом заходящих лучей, он бросился к ней и нервно зарыдал у нее на груди, как бы ища оправдания. Она пригрела его, ласково перебирая его шелковистые кудри, а мальчик тихо всхлипывал, убаюкиваемый ровным дыханием груди и ласковым щекотанием женских пальцев.

— Ты, Жорж, милый мой, не болтай. Не говори маменьке. Я тебя любить буду.

— Нет... нет... не буду... Я ничего не видал! — отвечал, нервно всхлипывая, мальчик.

А в голове пронеслось: «К чему она просит... ах, зачем? Она хорошая и отец хороший... я дурной... я один!»

Но Каролина Карловна вряд ли понимала, что делается с мальчиком. В ответ на его слова она с живостью заметила:

— Да и нечего было видеть. Папаша только подошел и спросил, где ты?

Мальчик привскочил.

«Зачем лжет она? Зачем?»

Он поднял на нее строгие, злые глаза. Она встретила их смеющимся ласковым взглядом и стала целовать его глаза. Жорж прикрыл их, как бы позволяя продолжать, потом отдернулся, затрепетал, как подстреленная птица, порывисто приблизил губы и стал покрывать горячими поцелуями лицо, шею, грудь Каролины Карловны. Она не противилась, не отшатнулась с ужасом от мальчика, а громко смеялась подзадоривающим смехом.

Когда они вернулись домой, Жорж вспомнил о брошенном рубле и ни слова не сказал матери о бывшей в саду сцене.

III

Четырнадцатилетний отрок вместе с шестидесятилетним отцом разделял благосклонность Каролины.

По какому-то безмолвному уговору между ними, тайна сохранялась со стороны мальчика бережно, и отец был обязан сыну за то, что в это время не было сцен ревности со стороны матери. Понял ли это старик, или это было делом Каролины, но только отец стал как-то мягче относиться к сыну и сквозь пальцы смотрел на его проделки, за которые прежде

наказывал.

И мать Жоржа стихла на время, обманутая своим любимцем. На расспросы свои она получала от Жоржа ответы более или менее удовлетворительные и все ждала, что муж положит супружеский гнев на милость.

Занятия Жоржа шли своим чередом. К нему приходили учителя и оставались довольны его успехами; Каролина учила болтать по-французски и по-английски; знакомые дамы по-прежнему его ласкали, но он уже, с испорченностью развращенного мальчишки, иногда так взглядывал им в глаза, что они краснели под взглядом «прелестного малютки».

Нередко в гостиной, где мальчика показывали гостям и лицемерие которой было уже знакомо Жоржу — при нем ни отец, ни мать не стеснялись бранить тех, кого в гостиной потом особенно ласково принимали, — Жорж убегал через двор в людскую и нередко проводил часы, наблюдая игру в три листика* и мариаж и слушая с видом опытного барчука двусмысленные сальности кучеров и лакеев. Он нередко сам начинал рассказывать о достоин-

ствах Фионы перед Дашей и раз обмолвился таким выражением, что людская залилась громким смехом. Один только старый кучер Павел как-то строго, удивленно посмотрел своими серьезными серыми глазами на Жоржа и, сожалительно покачивая седой головой, заметил:

— Ай-ай, барчук, и вам не стыдно?

Жорж было сконфузился под взглядом серьезных глаз кучера, но боязнь показаться смешным перед другими лицами, бывшими в людской, заставила его нагло улыбнуться и, с напускным нахальством, ответить:

— А тебе, старому, какое дело? Твое дело за лошадьми смотреть, а не за мной.

Павел только уныло как-то покачал головой и не сказал более ни слова. Лакеи одобрительно хихикали, что молодой барчук знатно отбрил вечно угрюмого Павла.

В доме забывали о Жорже, и только к обеду в людскую вбегала одна из горничных и торопливо звала Жоржа домой.

— Пойдемте, барчук, сейчас же за стол садятся. Скорей, барчук, скорей! — торопила его остроглазая горничная.

Жорж несколько ломался перед ней, желая показать, что он не боится, если и опоздает, и нарочно лениво приподымался с сомнительной кучерской постели, на которой валялся в своей бархатной курточке и валансьенах*.

— Да ну же, Егор Николаевич, нечего нежничать... Пойдемте, а то из-за вас мне достанется.

Они схватывались за руки и бегом, с веселым хохотом, бежали через двор.

Жоржа чистили, причесывали волосы, и он входил в столовую с Каролиной, которая чинно вела за руку чистого, милого, благовоспитанного мальчика. За обедом всегда были гости и родные. Генерал жил открыто и ел хорошо. Если он бывал в духе, шел веселый разговор, говорили о новых назначениях по случаю ожидавшейся восточной войны, передавали сплетни, рассказывали двусмысленные истории о местных дамах. Старший брат Жоржа, женатый, красивый полковник, не стесняясь присутствием жены и сестер, бойко рассказывал свои похождения на Кавказе, вызывая некоторыми подробностями веселый смех и улыбку на уста генерала. Каролина

стыдливо опускала глаза. Жорж, с наивным видом непонимающего ребенка, вслушивался в оценку достоинств черкешенок. Обед проходил приятно: чувствовалась усыпляющая тяжесть от лакомых блюд и вина. Генерала ничто не рассердило, и, против обыкновения, ни один из лакеев не ждал после обеда собственноручной генеральской расправы за неисправности, и потому все лакеи были также веселы, как и господа.

С приходом главного начальника в город С. * дом генерала оживился еще более. Накануне великой драмы, казалось, никто не предвидел будущих развалин. Приезжие из Петербурга штабные офицеры и адъютанты внесли за собой ту прелесть недосказанных слов, улыбок, жестов, которая особенно понравилась замужним сестрам Жоржа и другим дамам. Сам генерал как будто смягчился: стал веселей, внимательней, менее груб и резок и был в восторге от посещений важных лиц. Генеральша хохотала до слез, слушая самые скабрзные анекдоты и прочитывая свежие французские романы, привезенные петербургскими гостями. Сестры Жоржа наряжа-

лись и кокетничали; петербургские адъютанты снисходительно ухаживали для развлечения. В большом, густом саду, среди аромата цветов и зелени, часто пили по вечерам чай, и в темных сумерках теплой южной ночи раздавался веселый смех, женские недосказанные обмолвки, полуфразы, нежные намеки и хвастливые возгласы: «мы их шапками закидаем!»

На Жоржа эта атмосфера производила какое-то чарующее действие. Особенно поражал его приезжий молодой адъютант своими манерами, молодцеватой осанкой, изяществом форм, движений, слов... Он уже подражал ему, глядел ему в глаза с верой неопита* и ревновал к нему Каролину. Сидя поодаль от чайного стола, Жорж слушал, как адъютант перекидывался *bons-mots*[8] с одной молоденькой женщиной, и в то же время ревниво следил за Каролиной. Он увлекся адъютантом, обвел глазами и не нашел гувернантки. Он незаметно встал и пошел в глубь сада... В темноте мелькнуло у самой решетки белое платье...

— Это вы, Каролина?

— Я. Что тебе, Жорж?

— Что вы здесь делаете?

— Ничего... Видишь, смотрю на улицу. Надоело там.

Он стал около. От дома доносился веселый говор и смех. По улице, мерно ступая и звякая цепями, возвращались с работы на блокшивы арестанты. Они прошли, цепи звякнули тише, совсем тихо, и все смолкло. Только в ночной тиши раздавались от бухты протяжные оклики часовых: «слу-шай!» и вслед затем такой же ответ: «слу-шай!..»

— А пора тебе спать, Жорж... скоро десять часов! — заметила, вытирая слезы, Каролина.

— Вы о чем это, Каролина, плакали? О чем — говорите?

— Так, Жорж... Ну, пора!

— Нет еще... Вы скажите, о чем!

— Ну, скажу... скажу... Пойдем...

— А ты придешь за мной? — шепнул мальчик.

Она закрыла ему рот влажной рукой и приказала молчать.

— Придешь?

— Будешь умницей, приду! — рассмеялась

Каролина.

— И с адъютантом без меня не будете говорить?

— Опять... тоже ревновать?.. — подсмеялась Каролина.

— Не смейтесь, лучше не смейтесь, смотрите! — пригрозил Жорж.

— Так я тебя и боюсь!

— Конечно, боитесь! — уверенно отвечал Жорж и пошел вместе с Каролиной к гостям.

— Приходи же скорей! — шепнул он после прощания с родителями и гостями. — Да расскажи, о чем ты плакала! — тоном капризного тирана прибавил Жорж, уходя спать.

А в саду еще долго раздавался смех и уверенный говор, что «мы их шапками закидаем».

IV

Через несколько дней у генерала был большой обед. Приехало много генералов, адмиралов и других офицеров. Жоржа одели в новую бархатную черную курточку и приказали хорошенько повторить стихотворение «Бородино». Обедали с музыкой, пили много. Жорж обращал особенное внимание на самого по-

четного гостя, высокого, худощавого генерала, с умным лицом и коротко остриженными волосами. Он мало ел, саркастически улыбался, и, когда говорил тихим голосом, все слушали. Жорж заметил, что «старика» все побаивались, а генерал особенно почтительно ухаживал за ним. Когда после обеда вышли на балкон, генерал взял Жоржа за руку и представил старику.

Старик ласково улыбнулся, потрепал Жоржа по щеке сухими, длинными пальцами и промолвил:

— Молодец... учится?

— Как же, ваша светлость! — отвечал отец.

— Бойкий мальчик! — заметил другой генерал.

Жорж стоял среди балкона и не знал, что ему делать. «Старик» щурил глаза, прихлебывая из чашки кофе, и, казалось, не расположен был беседовать с Жоржем. Однако, видя неловкое положение мальчика и какое-то напряженное ожидание в лице генерала, проговорил:

— Молодец... молодец. В военную?

— Непременно, князь. Я буду военным! — с

гордостью отвечал Жорж.

— Он и стихи более военные любит, ваша светлость! — подхватил отец. — Если позволите, мальчик почтет за честь...

Старик любезно кивнул головой и — Жоржу показалось — поморщился. Но делать было нечего. Отец уже кивал головой, и Жорж, откашлявшись, начал молодецким тоном:

*Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?*

Когда он кончил, старик снова потрепал его по щеке, снова назвал «молодцом», и Жорж ушел с балкона, провожаемый общим одобрением гостей, чувствуя себя несравненно выше и лучше оттого, что его похвалил сам «старик». Жорж заметил, что отец его, прослезившись от умиления, взглянул на мальчика так, как будто он свершил какой-нибудь подвиг. Жорж серьезно почувствовал себя героем, а в глазах матери, сестер и Каролины он и в самом деле приобрел нечто героическое оттого, что читал «Бородино» перед самым «стариком».

Однако ночные посещения каролининой комнаты не остались бесследны для здоровья Жоржа. Он бледнел, худел и наконец как-то вечером почувствовал такую боль и ломоту во всем теле, что его уложили в постель. Через три дня он был в нервной горячке. Он метался, кричал и бредил женщинами. Каролина в испуге, чтобы мальчик не проговорился в бреду, сама ухаживала за ним.

Когда кризис прошел и мальчик стал поправляться, Каролины уже не было в доме. Мать бранила ее пред Жоржем, называя гадкой. Жорж покраснел и не сказал ни слова.

Военная гроза надвигалась все ближе и ближе*. По улицам возили пушки, двигались солдаты, матросы. Лица всех сделались серьезнее, сосредоточеннее, тише. Уже не слышно было, что «шапками закидаем»; готовились к чему-то нешуточному; генерал, как говорила прислуга, «осел». С солдатами стал мягче, точно подделывался к ним. Семья генерала торопилась уезжать, а Жоржа собирались отправить в Петербург, в казенное заведение. Жорж от души радовался. Он уже за-

был о Каролине и перед отъездом в Петербург так назойливо приставал к толстогрудой жене кучера, поймав ее в саду, что та, вырвавшись наконец, дала ему звонкую пощечину, прибавив крепкое словцо, при веселом хохоте работавших в саду арестантов.

Жорж бросился было за ней, но жена кучера показала ему такой здоровый кулак, что Жорж зарыдал в бессильной злости и поклялся, когда будет офицером, отпороть эту «мерзавку».

Он так и сказал «отпороть», не ожидая, что к тому времени Пелагея уж будет «временно-обязанная».

V

— Повернись-ка?! Молодцом, молодцом, брат! Привык? Потасовку задали, а? — весело говорил старый дядя сенатор, подняв на свой большой, плешивый лоб золотые очки и добродушно посмеиваясь, когда Жорж вечером в первую же субботу явился из заведения в отпуск, в новом шитом мундирчике.

— Отцу писал, молодец?

— Писал, дяденька!

— Хорошо... хорошо... Есть хочешь?..

— Благодарю, дяденька. Не хочется.

— Ну, как хочешь. Когда я был кадетом*, я всегда хотел есть!.. Ладно, ладно. Ступай теперь к тетке, ступай, дружок! — заметил старый сенатор. Он ласково потрепал Жоржа по щеке и, опустив со лба очки, продолжал свои занятия за большой военной картой.

Жорж вышел из большого дядиного кабинета, прошел большую залу и остановился на пороге гостиной, слабо освещенной матовым светом лампы.

За большим круглым столом, на диване, сидела за работой красивая, пышная брюнетка лет тридцати, в изящном сером шелковом платье. Она подняла глаза и приветливо улыбнулась. Жорж быстро прошел по ковру в поцеловал протянутую ему выхоленную белую руку, сияющую кольцами, с розовыми, красиво отточенными ногтями.

— Здравствуй, Жорж. Ну что, мы привыкли?

— Ничего, тетенька, привык! — несколько робея говорил Жорж, повертывая во все стороны свою каску.

— Не называй меня тетенькой, Жорж, а

просто: ma tante. Да что ты вертишь все свою каску? Вертеть не надо, мой милый! Ты не сердись, а я возьму тебя в руки и из такого красавца, как ты, сделаю образцового молодого человека. Хочешь? — говорила тетка, строго улыбаясь своими большими синими глазами.

— Хочу, ma tante...

— И прекрасно... А теперь покажите нам свои лапки?

Жорж, конфузясь, протянул свои руки.

— Руки у нас прелестные, но ими надо, мой милый, заниматься. Во-первых, мыть их чаще, а во-вторых, чистить ногти. Нельзя же, дружок, ходить с грязными руками... ты не мужик! Ступай ко мне в комнату, вымой их и потом приходи.

Жорж, краснея от стыда и досады, пошел в теткину комнату, вымыл руки, подстриг ногти, тщательно вычистив их, и, вернувшись в гостиную, показал свои чистые руки.

— Теперь наши прелестные лапки в порядке. Разве вихор твой кудрявый поправить? — Она осторожно пригладила вихор. — Вот мы и молодцами! Теперь садись и рассказывай,

как ты провел свою первую неделю.

Воспоминание об этой неделе с утра терзало Жоржа. Это была ужасная неделя. Его там два раза побили, подняли на смех, дразнили «крымским баранчиком», и когда он попробовал драться, то ему задали такую встрепку, что, при воспоминании о ней, Жоржа охватило чувство злобы и горя.

Он начал было рассказ, но вдруг судорога сдавила горло и слезы подступили к глазам. Несмотря на сильное его желание не разрешиться перед блестящей тетенькой, в этой изящной гостинной, он не мог удержать слез и быстро утирал их платком, стараясь заглушить судорожные всхлипывания.

— Что с тобой? Что ты, милый мальчик? — мягким, но безучастным голосом спросила тетка, подымая от вышивания глаза на Жоржа. — Подойди ко мне!

Жорж осторожно подошел.

— Расскажи о твоём горе... расскажи тетке! — продолжала она, протягивая Жоржу руку осторожным движением, как бы боясь подпустить его поближе, чтобы он не смял и не закапал слезами ее изящного платья. — Жаль

татап!.. Ты ведь ее баловнем был? Не плачь, мой милый! Я тебе заменю татап, хочешь? — задала она вопрос уверенным тоном, что вполне осчастливила мальчика предложением заменить татап.

— Хочу... ma tante!

— Ну, и плакать нечего... Не все же тебе сидеть в вашем С... Такой большой молодой человек и плачет!.. стыдно... Глаза покраснеются... Вытри слезы... вот так! Это у тебя казенная тряпочка? — брезгливо дотронулась она ноготком мизинца до платка Жоржа.

— Казенная...

— Скверные платки! Я тебе сделаю дюжину батистовых, когда будешь приходить к нам, бери их, а пока возьми мой и утри свои хорошенькие глазки. Твоя татап давно мне о них писала... Ну, перестань же... Экий ты нервный какой... Посмотри на меня! Ну? Можем мы улыбнуться? — говорила тетушка, слегка трепля Жоржа по щеке.

Но Жорж, хотя и вытер слезы, но не улыбался.

— Ну, теперь садись... Нельзя же, мой милый, быть таким нытиком!

Жоржа сердило обращение этой «гордой тетки», как он мысленно уже окрестил ее, и он решил не выдавать своего горя и не рассказывать о своих несчастьях прошлой недели. Ему хотелось как можно скорей доказать ей, что он вовсе не несчастный мальчик с грязными руками, каким она его считает, а взрослый, рассудительный молодой человек, который, если на то пошло, сумеет скрыть свои страдания и может вести такой разговор, как и тот адъютант, который так поразил его еще дома.

«И что, в самом деле, она себе воображает? Думает, что красивая да что брильянты на руках, так и важничает? Я ей покажу, каков я... Пусть она узнает и не думает, что я все верчу каской и не имею порядочных манер!»

Так размышлял Жорж, не без злого огонька в темных глазах, поглядывая исподлобья на тонкие тетушкины пальцы, которыми она быстро перебирала шелковинки.

— О чем это мы задумались... о тапан?

— Нет, та tante... Я сейчас вспомнил о Несветове, — как бы готовясь в бой, с нервной резкостью в голосе, ответил Жорж.

— Это какой Несветов... адъютант и красавец?..

— Да, ma tante, адъютант. Мы с ним были очень дружны! — вдруг солгал Жорж, желая поразить тетку. — Он очень порядочный человек...

— Он у вас часто бывал? — заметила тетка, с улыбкой вглядываясь в Жоржа.

— Почти каждый день.

— Вот как? За кем же он ухаживал? За какой из твоих сестер, за Anette или за Barbe?

— Кажется, Варя с ним больше кокетничала, ma tante! — засмеялся Жорж.

— А ты разве понимаешь, как кокетничают? — любопытно усмехнулась тетушка, начиная слушать племянника с большим интересом. — Что, разве она хороша, твоя Варя?..

— Все находили, что очень, и что она на вас похожа, ma tante! Но... но вы лучше, — слегка краснея, тихо промолвил Жорж.

Довольная улыбка мгновенно скользнула в синих строгих глазах тетки. Жорж отлично это заметил и понял впечатление своих слов, хотя тетка сделала серьезную мину и, поправляя грациозным движением руки свою при-

чески, строго проговорила:

— А мы уже выучились говорить глупости?

— Разве говорить правду значит говорить глупости, ma tante? — спросил Жорж тоном наивного ребенка.

Она еще строже взглянула на Жоржа, но он не опустил под этим строгим взглядом своих больших черных глаз. Улыбаясь ими, он с наивной смелостью глядел ей прямо в лицо. Так прошло несколько секунд. Жорж видел, как сперва покраснели ее уши, как яркий румянец, пробиваясь сквозь тонкую, белую кожу щек, подступал к самым глазам. Она отвернула сердито глаза, точно изумляясь, что глупый мальчик мог заставить ее покраснеть, резким движением схватила со стола моток шелку и, подавая его Жоржу, не глядя ему в глаза, сказала:

— Лучше помоги мне распутать шелк, гадкий мальчишка!

Хотя слова эти были произнесены тем же строгим тоном, но Жорж очень хорошо уловил значение их и понял, что она не считала его теперь «гадким мальчишкой», и торже-

ствовал, что показал себя «этой гордячке» с такой хорошей стороны.

В десять часов собрались гости: три дамы и несколько молодых людей. Сидя поодаль в кресле, Жорж жадно ловил прелесть французской болтовни, неподражаемую пикантность светской сплетни и, пожирая глазами веселых, находчивых дам и красивых, ловких, изящных молодых людей, напомнивших ему блестящего адъютанта, которые так свободно и остроумно говорили о танцовщицах, рысках и княгинях, он чувствовал какое-то блаженство гордости, что мог ощущать прелесть этой полутемной гостиной, этих душистых дам и кавалеров, этого неуловимого аромата комнаты, щекотавшего его нервы.

Дядя сенатор вошел в гостиную, поправляя очки, сказал всем по ласковому слову и, как-то кисло морщась, извинился, что занятия мешают удовольствию быть с гостями подольше. Жорж заметил, что при входе дяди все как будто присмирели, подтянулись, стали говорить тише... Разговор перешел на войну... Грустно покачивая головой, дядя рассказывал одному адъютанту о последнем сражении.

— А солдаты наши, солдаты! — с каким-то гордым благоговением говорил низенький старик, поправляя одной рукой очки, а другой дергая адъютанта за пуговицу. — Не будь их... срам... один срам... И везде... везде... Да, — понизил он голос, — и для героев есть невозможное, особенно когда...

Он стал что-то тихо говорить тому самому адъютанту, который только что перед приходом старика рассказывал дамам самый свежий анекдот о Мила.

— Бедный народ! — заключил, вздохнув, сенатор.

Он похвалил дам за то, что они не сидят без дела, а щиплют корпию* (у всех было по маленькой грудке), и, заметив в углу Жоржа, подошел к нему.

— А ты, молодец, еще не спишь? Пора, мальчик, спать, пора! Вера! — обратился он к жене, — мальчику пора спать, что ему тут делать?

И, когда Жорж поднялся с кресла, дядя перекрестил его и поцеловал в лоб, быстро отдернув руку, когда Жорж наклонился для поцелуя.

— Спи с богом, дружок! Помолись богу! — ласково проговорил старик и, озираясь все с той же кислой улыбкой, вышел из гостиной, сделав всем общий поклон.

Жорж не без грусти ушел из гостиной и заснул с мечтой о вороной лошади, на которой он делает смотр войскам. «Гордая тетка» смотрит, любуясь им, с балкона и сердится, что он не обращает на нее никакого внимания. Задорный стрижка-кадет, по милости которого он получил встрепку, преклонился перед Жоржем и униженно отдает ему честь. Но Жорж великодушно подает ему руку и говорит: «Ничего, ничего... я не сержусь, я все за-был!»

На следующее утро Жорж особенно внимательно занялся туалетом. Ему непременно хотелось показать тетке, что он и без нее умеет держать себя, как следует порядочному молодому человеку. Он не хотел ударить лицом в грязь и долго приглаживал перед зеркалом свои волосы и занимался ногтями. Окончив туалет, Жорж еще постоял перед зеркалом, принял несколько поз, которые так нрави-

лись ему в адъютанте, перепробовал несколько выражений лица — ему ужасно хотелось, чтобы оно было серьезное, и, пожалев, что у него еще нет усов, он все-таки пригладил свои губы рукой, как будто поправляя усы, и пошел в столовую.

Когда стройный, красивый, свежий отрок молодцевато вошел в столовую и, слегка краснея от застенчивого волнения, подошел к руке тетки и поцеловался с дядей — и дядя и тетка словно не узнали в этом стройном, изящном, румяном молодом человеке вчерашнего, еще робеющего мальчика. Они оба не могли скрыть приятного впечатления от той красивой, здоровой свежести, которую внес в столовую Жорж, и невольно любовались им.

— Молодец, молодец. Бравый мальчик! — весело говорил сенатор. — Он, Вера, отца напоминает!..

— По-моему, скорее мать!.. Ты чего, Жорж, хочешь: чаю или кофе?

— Кофе, ma tante!

Он так ловко отодвинул стул, так прилично сел и с таким изяществом пил свой кофе,

что Вера Алексеевна не могла не согласиться, что Жорж очень приличный мальчик, из которого выйдет человек. Он бойко отвечал на вопросы дяди, так что дядя просидел за столом лишние пять минут, забавляясь его шустрой болтовней о военных делах. Вставая, он сказал, что «возьмет мальчика в церковь», и снова прибавил, что Жорж «молодец».

Вера Алексеевна, в своем белом капоте, с широкими рукавами, из-под которых далеко виднелись белые голые руки, с распущенными прядями волос, перехваченных пунцовой лентой, сегодня показалась Жоржу и моложе и не такой гордой, как вчера. Она весело болтала с Жоржем, расспрашивала, кто ему понравился из вчерашних гостей, шутила, не влюбился ли он в «кузину Лину», и вдруг нахмурилась, покраснела и обдернула рукав, поймав пристально любопытный взгляд, устремленный на ее оголенную руку.

Пойманный врасплох, Жорж покраснел до ушей и невольно опустил глаза... Тетка взглянула на него, улыбнулась и подумала, что мальчик еще прелестнее, когда краснеет.

Скоро она встала и не говорила почти це-

лый день с Жоржем. Только вечером, одеваясь на бал, когда Жорж пришел проститься с ней, она весело спросила его, повертываясь перед ним в красивом бальном платье:

— Хорошо платье?

— Прелестное, ma tante! — отвечал Жорж, свободно любуясь платьем, ее голыми руками, спиной, шеей, на что она уже не сердилась, а как-то странно улыбалась, щуря глаза и как бы восхищаясь очарованием мальчика.

— Идет?.. — повертывалась она перед ним, точно желая продлить его очарование.

— Еще бы! В нем, ma tante, вы будете царицей бала! — шептал Жорж.

— Ты льстишь, скверный мальчишка! Ну, прощай до субботы!

И Вера Алексеевна вдруг приняла тон матери, как-то торжественно перекрестила Жоржа и, целуя его, наставительно заметила:

— Смотри же, Жорж, веди себя хорошо, учись прилежно, будь добрым мальчиком и не огорчай свою тетку!

Жорж обещал быть добрым мальчиком и несколько раз с особенной нежностью покрывал поцелуями теплую, маленькую тетушки-

ну ручку. Она не торопилась отдернуть ее, поправляя другой рукой белый цветок в волосах, и потом, как бы спохватившись, отняла руку и снова посоветовала Жоржу быть «добрым мальчиком».

Когда «добрый мальчик» ехал в дядиной карете в «заведение», перед его глазами еще долго мелькали шея и плечи красивой тетюшки, и он долго еще вдыхал душистый аромат ее будуара.

VI

Жорж скоро освоился с «заведением», любил его и поладил с товарищами. Он недурно учился, скоро сделался первым по фронту и почему-то пользовался особым расположением ротного командира.

Через год Жорж уже сделал сто рублей долга сапожнику, портному, лихачам и уже успел познакомиться с одной маленькой актрисой из французского театра, о чем с гордостью рассказывал товарищам. От своего отца он получал ежемесячно «на булки» по десяти рублей, да дядя сенатор давал ему столько же, но, разумеется, этих денег не хватало. В заведении было много богатых молодых людей,

которые свободно мотали деньги и делали долги, и Жоржу стыдно было не мотать денег и не делать долгов, стыдно перед товарищами, стыдно перед собой.

В письмах к матери он описывал свое положение, говорил о «позоре фамилии Растегай-Сапожковых» и просил денег. «Ведь я, мамаша, не могу отстать от других, ведь не ехать же мне в казенном мундире к княгине Таракановой, у которой бывают аристократы и сам светлейший Оболдуев».

Мать вполне сочувствовала Жоржу, послала, сколько могла, и просила отца увеличить месячное жалованье, выставляя на вид фамилию Растегай-Сапожковых, но генерал прикрикнул и велел матери написать, что он попросит, чтобы молодого Растегай-Сапожкова выпороли за то, что он «дурит».

Жорж сердился на своего «старика», который, по его мнению, «выжил из ума и не понимает требований жизни». Он делал долги, занимая у швейцара, у сторожей, и даже свел знакомство с ростовщиком, который ссужал его деньгами за сумасшедшие проценты.

В пятнадцать лет Жорж уже умел презри-

тельно щурить глаза, вглядываясь на проезжающих, и, кутаясь в бобровый воротник, катить по Невскому от Аничкова моста на рысаке, похожем на «собственную лошадь». Он ловко прикладывал руку к каске, свободно выпивал бутылку шампанского, пел французские шансонетки, слегка грассировал, нагло третировал известного сорта дам и умел взглядывать на женщин тем светлым, наглым, смеющимся взглядом прелестных черных глаз, который нередко вызывал невольную краску на их щеки. Благодаря расположению начальства, такту и способности показать себя, он был всегда на виду, ходил на ординарцы и мечтал через два года надеть давно желанный мундир, хотя и сомневался, что вряд ли отец согласится давать такое содержание, чтобы Жорж мог с честью носить этот мундир и не стесняться платой в ресторанах. Он знал, что у отца есть рязанское имение, следовательно должны быть деньги, кроме жалованья; но велико ли состояние, сколько приносит дохода это имение, он точно не знал и только вполне сознавал, что ему нужны деньги, что нельзя же в самом деле ему,

молодому, изящному Жоржу Растегай-Сапожкову, быть без денег. На что же он будет посещать общество, оперу, рестораны, французенок? И разве прилично ему ездить на извозчиках, когда его товарищи, далеко не такие умные, красивые и ловкие, как он, ездят в своих экипажах и уже имеют содержанок? Все это должно у него быть и все это откуда-нибудь да придет: не то из рязанского имения, не то как-нибудь да устроится... И он всем говорил, что отец его богач, причем «рязанское имение» представлялось в его рассказах каким-то Эльдорадо*, из которого золото текло обильным источником. Говоря об этом товарищам, он сам верил тому, что говорил, и, надеясь на что-то, занимал деньги на лихачей, на рестораны, на веселые пикники, в полной уверенности, что все эти долги заплатятся. И долги росли быстро, так что он сам испугался, когда ростовщик потребовал уплаты пятисот рублей.

Жорж продолжал почтительно ухаживать за теткой и нередко брал у нее деньги, а Вера Алексеевна продолжала кокетничать с той

искусной манерой женщин за тридцать лет, которые сводят с ума молодых мальчиков. Сперва она разыгрывала роль «второй маман», но когда у «мальчика» стали пробиваться усы и он, вздрагивая, взглядывал на ее шею, она краснела, сердилась, драла его за уши, смеясь, когда он горячо целовал ее руки, и становилась с ним на ногу «старшего друга». Она любила расспрашивать, с кем он знаком, советовала ему не знакомиться с «этими дамами», то требовала, чтобы он рассказал «все... все...», то вдруг сердилась, когда Жорж описывал ей красоту Сюзеты, с которой ужинал, капризно поджимала губы и, как бы невзначай, спускала с плеч косынку, показывая Жоржу шею и тяжело дышавшую грудь. Когда Жорж, лукаво улыбаясь, говорил, что он «невинный мальчик», она снова впадала в тон «второй маман», наставляла его на путь истины, советуя не быть испорченным и гадким мальчиком, и зажимала наглую улыбку Жоржа своей влажной ладонью. Она ревниво следила за ним, когда знакомые дамы бывали особенно любезны с Жоржем, и дулась на него, если он часто уходил из дому «к товари-

щам».

Вера Алексеевна считала себя женщиной строгой добродетели, и ни одна тучка не омрачила ее супружеского счастья. Она дорожила репутацией, считала мужа «добрым старичком» и избегала опасностей увлечения; но эта заманчивая игра с «птенчиком», игра, которая не могла быть предметом сплетни, манила ее. Она желала одного рыцарского обожания, она и мысли не допускала о чем-нибудь другом и в то же время она, к изумлению своему, чувствовала, что сердце ее бьется, как птица в клетке, когда она ощущала близость горячего дыхания юноши. Ей нравилось играть с Жоржем, то вызывая краску волнения на его щеки, то обливая его холодной водой строгих нравоучений. Она и сама не замечала, как мало-помалу увлекалась этим юношей с любопытством неудовлетворенной жены и с расчетом опытной светской женщины, уверенной, что это увлечение не нарушит спокойствия жизни. Да наконец ведь это так пикантно видеть всегда около себя такого свежего, неиспорченного мальчика! Он еще невинный мальчик, и разве не от нее,

тридцатитрехлетней женщины, зависит всегда удержать его на той границе почтительного обожания, которое дальше краски волнения и робких поцелуев не идет? Ведь она не молодая девочка!..

Так, обманывая себя, отгоняя от себя с презрительной усмешкой всякую мысль о том, что Жорж стал ей как-то опасно близок, она нередко удерживала его по вечерам дома и, сказавшись больной, надевала капот, распускала волосы и, лежа на кушетке, заставляла Жоржа читать ей вслух французские романы.

Сперва эти «чтения» шли довольно спокойно, прерываемые сыновними лобзаниями и материнскими поцелуями, но как-то раз, когда Вера Алексеевна, выставив свою маленькую ножку, в крохотной туфле, слишком резво играла носком и слишком выразительно взглядывала своими прекрасными синими глазами, «чтение» кончилось так неожиданно, что когда на следующее утро Жорж, как ни в чем не бывало, почтительно подходил к ручке «*ma tante*», Вера Алексеевна стыдливо опустила глаза, долго не могла поднять их на милого мальчика и не пускала его к себе на

глаза целое воскресенье.

Однако, в первый же вечер, когда Жорж пришел из заведения, она снова пригласила его читать, хотя и предупредила, лукаво посмеиваясь и слегка щипля за ухо, чтобы он не был гадким мальчишкой.

Сенатор, по обыкновению, сидел в своем кабинете за книгами и картами и искренно был рад, что жена в последнее время стала домоседкой и была в хорошем расположении духа.

VII

Долги опутывали молодого человека густой сеткой. Требовали уплат, грозили жаловаться начальству. Жорж писал матери, но присылаемые деньги были каплей в море. Он решился сказать тетке о своих долгах; та изумилась цифре долга, ревниво допрашивала с придирчивостью любовницы, куда «мальчик» истратил столько денег, и заплатила его долги, сделавши долг сама и взяв с него торжественную клятву, что он никогда не будет ужинать с «этими тварями». И, чтобы вознаградить его и узнать самой прелесть ужина в ресторане, она однажды поехала вместе с

Жоржем в ресторан в наемной карете и восхищалась удивлением Жоржа, что «*ma tante*» еще прелестнее после выпитой вдвоем бутылки шампанского. Они покутили как добрые товарищи, она с любопытством неизведанного удовольствия, он с торжеством счастливого любовника. Им было весело, к тому же оба были навеселе и, расставаясь, согласились еще раз попробовать поужинать вдвоем.

Хотя Вера Алексеевна нередко платила долги Жоржа, но под конец долги накопились до почтенной суммы в тысячу рублей. Жорж рассчитывал на тетку и не особенно заботился о том, что будет впереди. Еще несколько месяцев и он будет офицером, а там все пойдет как по маслу.

Это было месяца за два до выпуска. Богатые товарищи собирались устроить замечательный кутеж с десертом в виде одной знаменитой француженки, согласившейся возлечь на столе *au naturel*. Решено было устроить пирушку в ближайшее воскресенье. Разумеется, Растегай-Сапожков должен быть там непременно, дело было за какими-нибудь пятьюдесятью рублями. На беду их не было, за-

нять было негде: тетка, как нарочно, уехала за несколько дней в Москву. Спросить у товарищей, сознаться, что он затрудняется в таком пустяке, ведь это... стыд, такой стыд, что об этом и думать нечего... Он просил у швейцара, у солдат, у каптенармуса, готов был за пятьдесят рублей дать расписку на пятьсот, но денег не достал: ему не дали, несмотря на самые заискивающие просьбы.

Жорж был в отчаянии, в настоящем отчаянии. Не быть на пирушке, отсутствовать, чтобы сказали, что у бедняги нет денег, — возможно ли перенести такой позор, именно позор! Как ни трусил Жорж своего дядю, но он решился обратиться к нему и с этой целью поехал к сенатору утром в воскресенье. На беду дяди не было дома. Ему сказали, что он уехал с утра. Он в волнении ходил по зале, поглядывая на часы. Уже первый час. Досадно. Он снова начал ходить, то прислушиваясь к стуку карет, то подходя к окну. Он перешел в большой дядин кабинет — оттуда скорей увидишь дядину карету! Пробил час. Он опять заходил, проклиная сенатора, что тот долго ездит. И надо было ему уехать! Сидел бы за сво-

им столом, за своими дурацкими книгами. Машинально он взглянул на большой стол — книги везде, одни книги, но внизу, под одной из книг, он заметил футляр. Что это? Звезда Белого Орла. Верно, забыли спрятать в комод? Эти вещи всегда в комод. Впрочем, дядя так рассеян... Он раз куда-то так запрятал алмазную звезду Александра Невского*, что, когда надо было надеть ее, звезду нигде не могли найти и только через несколько часов общих поисков ее отыскали в китайской коробке, где лежали шахматы. А красивая эта звезда Белого Орла! Жорж приложил ее к груди. Идет, ничего! Однако пробила половина второго. Черт знает, отчего этот «лысый черт» не едет! Он повертывал звезду в руках, и вдруг мысль, как молния, блеснула в голове. «Взять?..» Ведь никто не осмелится и подумать? Одна мысль, что могут подумать на него, привела его в негодование. «Скверно, подло!» — шептало что-то внутри, и кровь сильно стучала в виски. «Я заложу, выкуплю и положу на место! вопрос в дне, в двух. До того времени не хватятся, а хватятся — на него не осмелятся подумать»... Господи! Уже тре-

тий час. Он быстро выдернул футляр, сунул в него звезду, опустил в карман, повернулся и — на пороге кабинета увидел дядю сенатора.

По глазам его он понял, что старик все видел. Впрочем, быть может, ему показалось. Он решился взглянуть снова. Строгие глаза глядели на него из-под очков с таким презрением, что Жорж замер от страха.

Несколько мгновений длилось это убийственное молчание.

— Если бы ты не был сыном моего брата, я бы...

Старик не мог продолжать. Он перевел дух и только глухо проговорил:

— Вон отсюда!

Жорж бросился в ноги и пробовал схватить колени с жалобным воем пойманного щенка.

Старик брезгливо отодвинулся, словно под ногами была гадина, и, уныло качая головой, прошептал:

— И это будущий слуга отечеству!? Это Растегай-Сапожков... Встань! Не валяйся в ногах и выслушай! Никогда про это никто не узна-

ет!.. Бедный брат! — шепнул старик, отирая с усов скатившуюся слезу. — Исправься, если можешь, но чтобы ноги твоей у меня не было, слышишь!? Да пришли список долгов, я заплачу!

Жорж сунул на стол футляр и вышел из кабинета. Стыд и злоба давили его невыносимой тяжестью.

Старик заперся в кабинете и не вышел обедать.

Когда приехала тетка и спросила о Жорже, старик не велел произносить его имени. Вера Алексеевна похолодела от страха и в тот же вечер поехала в заведение. Узнав, в чем дело, она пожалела «мальчика» и рассталась с ним, обливаясь слезами. Она несколько раз еще виделась с племянником тайком и долго потом грустила, вспоминая горячие поцелуи и юношеский пыл страсти своего первого и последнего любовника.

VIII

Веселая это была пора, когда Жорж надел щегольской офицерский мундир, хотя и не того цвета, о котором мечтал. Отец и думать о нем не велел и, посылая деньги на первое об-

заведение, обещал высылать по сту рублей в месяц. Затем, поздравляя его, он наказывал быть «честным офицером и вести себя так, чтобы старшие любили, равные уважали, а младшие почитали». Относительно будущего генерал советовал «Георгию» ни на что не рассчитывать. После смерти он получит десять тысяч, «а на имение нечего надеяться, так как вас много, а имение одно».

Несмотря на такие предостережения, жизнь Жоржа шла обычной, веселой волной. Утром учение, приятельские завтраки, несколько визитов, гонка рысаков на Невском, обеды дорогие, тонкие, вкусные, театры, вечера, балы, ночи с женщинами... На следующий день то же самое, на третий день опять то же... Такая жизнь втягивает, как воду губка. Весело, пусто, приятно... На него любовались дамы, и ему верили в долг даже кокетки. Так он был мил, остроумен, красив и сыт. Он весело прожигал жизнь, весело летал по Невскому, делал визиты, сидел в балете, дарил дорогие букеты, подписывал векселя, на что-то рассчитывая и на что-то надеясь. Он с детских лет привык есть четыре блюда и пирож-

ное, все это было всегда, изо дня в день, и ему просто казалось дико не есть обеда из четырех блюд и не запивать его вином. Одинаково смешно было ему не сидеть в первых рядах. Его все знают, ему все так ласково кивают головой, когда он, слегка позвякивая шпорами и придерживая саблю, проходит уверенной молодецкой походкой к своему креслу в первом ряду, где он, пожимая руки приятелям, чувствует себя как дома. Да лучше он совсем не пойдет в театр, чем забьется в девятый ряд.

Глядя на Жоржа, блестящего, румяного, круглого, сытого, всегда показывавшегося на первых представлениях, бывавшего в обществе, игриво кивавшего кокеткам, глядя на его серого рысака, на его изящную маленькую квартиру, на его камердинера-немца, всякий считал его за богатого человека. Кредиторы еще верили в «рязанское имение», и Жорж ухаживал, обедал, веселился и подписывал векселя.

Еще Жорж потягивался на кровати, когда однажды немец подал ему письмо. Мать из-

вещала о тяжелой болезни отца и звала его немедленно приехать. Жорж в тот же день выехал и застал генерала на столе, а мать — в слезах. Оказалось, что «рязанское имение» при разделе между братьями и сестрами такой пустяк, о котором и говорить не стоит. Жоржу досталось только пятнадцать тысяч и часть в имении тысяч в девять. Он был в бешенстве. Он почему-то ожидал большого состояния — и вдруг какие-нибудь пятнадцать тысяч! Он бранил «старика» и упрекал мать. Мать плакала и по-прежнему объедалась конфетами. Холодно простившись с матерью, Жорж приехал в Петербург. Векселя уже ждали его... Грозили подать ко взысканию. В три года офицерства он сделал пятьдесят тысяч долга. Платить было нечем. Кредиторы наконец подали ко взысканию.

Жорж принужден был выйти в отставку и спасаться от долгового отделения.

Надевая статское платье, Жорж чуть не плакал с досады, оглядывая себя в зеркале. Конечно, он и в статском хорош, он быстро сумел усвоить «статскую посадку» и оделся у хорошего портного, но то ли дело мундир?

Мать отдала своему любимцу последние крохи, оставленные генералом, и звала его к себе, в укромный уголок на юге, где они могли бы жить скромно, но Жорж только фыркнул, читая эти строки. Разве он, блестящий Растегай-Сапожков, должен погрязнуть в какой-нибудь провинции, есть ленивые щи, пить кисленький медок в двадцать копеек и жениться на какой-нибудь глупой девчонке?

Нет! Он еще верил в свою звезду и все ждал, ждал какого-то необыкновенного события, которое даст ему возможность показать себя во всем блеске. А пока жизнь еще шла по-прежнему. Обстановка не менялась, еще рысак не был продан, хотя каждое утро и приходилось вести невыносимые беседы с кредиторами. Он уговаривал, грозил, врал про состояние матери, указывал, нагло посмеиваясь, на свой красивый торс и снова переписывал и подписывал вексельную бумагу широким размашистым росчерком, вполне уверенный, что не «померкла его звезда» и не из-за чего ему губить молодость. Ведь он хорош, бесподобно хорош, как говорили про него в обществе, ведь он неглуп... неужели же ему

так-таки и отказаться от жизни и поступить на службу на пятьдесят рублей жалованья? Эта мысль даже рассмешила его. Он числился в какой-то канцелярии, куда, конечно, никогда не заглядывал, ездил еще на рысаке, но зато как-то внимательно вглядывался в лица богатых пожилых вдов, которые с такой любознательностью оглядывают красивых, плечистых молодых людей с томными глазами.

И звезда снова вошла над молодым человеком...

Это было в театре. Жорж сидел с приятелями в ложе и заметил, что из соседней ложи его так пристально разглядывала, словно барышник статного жеребца, сухая, пожилая, некрасивая женщина восточного типа, что даже Жорж покраснел и отвернулся. Однако «восточная женщина» раза три внимательно взглянула на Жоржа и, указывая на него, о чем-то шепталась с мужчиной, бывшим у нее в ложе. Выходило уж очень глупо. Жорж хохотал и вышел из театра не в духе.

Через несколько дней к Жоржу зашел Пильсон, не то еврей, не то датчанин, ростовщик и маклер, торговавший фортепианами.

Маленький, черненький, аккуратный и чистенький, он был верным спутником каждого блестящего молодого человека, доставал деньги, продавал по случаю сигары и устраивал свидания. Он наживал деньги и получал оскорбления; первые он уважал, ко вторым относился с презрением; через его руки прошел не один десяток «юношей», которых он устраивал или сажал в долговое. Он был аккуратен, вежлив, терпелив и знал все языки. Сколько ему лет — никто не знал, ему можно было дать и сорок и тридцать; его можно было счесть и за испанца, и за француза, и за немца. Он называл себя датчанином, но был выкрещенным евреем. Жорж давно уже был знаком с г. Пильсоном и при виде его нахмурился.

— Опять? Ведь вы и передохнуть не дадите, Пильсон. Ведь это черт знает что такое!

Но Пильсон, улыбаясь, объявил, что он по другому делу.

— Вы извините, Егор Николаевич, вами очень интересуется одна барыня.

— Хороша?

— Гмм... Нельзя сказать, чтобы очень, но

зато богата.

— Молчите. Верно, опять какую-нибудь пакость предложите?

— Боже меня сохрани... Зачем?.. Очень вами заинтересовалась... Вдова, знаете ли, пыл этаким южный... влюблена, как кошка.

— Ну и черт с ней!..

— Познакомьтесь-ка с ней, Егор Николаевич... право стоит. Состояние у нее громадное.

— Это значит, на содержание поступить?

— К чему такие слова!.. Просто полюбить, хотите жениться, а то и так... Она ждет вас, когда угодно!

— Убирайтесь вон... скотина! — вдруг вспыхнул Жорж и грозно поднялся с места.

— Напрасно бранитесь, господин Сапожков... напрасно... Я более не буду вас беспокоить лично, а пришлю своего поверенного получить по векселю долг, а если не получу...

— То что?

— Представлю кормовые*!

— Вон отсюда!

Но Пильсон знал Жоржа и уже вышел за двери, не забыв однако бросить на стол адрес «ВДОВЫ С ЮЖНЫМ ПЫЛОМ»...

Жорж озабоченно ходил по своей роскошной гостиной. Он нервно поводил плечами, щурил глаза, сжимал и разжимал свои тонкие изящные пальцы. То подходил к окну, внимательно вглядывался в снежные узоры на стекле, выводил по нем розовым ногтем мизинца какие-то цифры, то, быстро повернувшись на каблуках, снова принимался ходить грациозной, но нервной походкой... Он заметил на столе адрес, взглянул на него, спрятал в карман, велел подавать лошадь и поехал по адресу.

Прекрасная лестница. Великолепная квартира. Изящная гостиная. Его как будто ожидали, встретили любезно. «Восточная дама», Авдотья Матвеевна, вдова откупщика, русская по происхождению, очень мило занимала гостя и пристально разглядывала свою покупку. По-видимому, она осталась довольна Жоржем и просила бывать, когда вздумается. При посредстве Пильсона состоялся торг. За Жоржа уплачивали все долги и давали по две тысячи в месяц, но, прибавил Пильсон, «не надо забывать, что вдова ревнива, как может быть»

ревнива женщина в сорок пять лет... Завтра вечером вас ждут за решительным ответом!»

На другой день вечером Жорж поехал...

IX

Опять наступила масленица. Опять жизнь без забот, без волнений. Но теперь эта жизнь стоила уже дороже. Приходилось ежедневно посещать Авдотью Матвеевну, показываться иногда с нею в театрах, выдерживать сцены ревности, давать клятвы с полной уверенностью забыть их за порогом и, по временам, испытывать такие муки отвращения, когда Авдотья Матвеевна, горячо привязавшаяся к Жоржу, нежно гладила его по щеке и дарила деньги, — что вряд ли Жорж считал себя счастливым человеком...

Но переделать жизнь он был не в силах... Она тянула его к себе неудержимой силой, и ему так же невозможно было отказаться от нее, как невозможно пьянице отказаться от вина...

Перед его носом проходила жизнь шестидесятых годов... крестьянская реформа, общие надежды, оживление, но он этого ничего не видал. Он знал только, что реформа дала ему

выкупные*, и что какие-то, черт знает, студенты пишут там книги... Он желал карьеры, но боялся труда... Если бы сразу его сделали товарищем министра, он бы еще, пожалуй, готов был бы «подписывать бумаги», а то тянуть лямку... Боже упаси! Он называл себя «консерватором», потому что любил хорошее белье и платье; но что такое консерватор, он не знал. Он полагал только, что «либерал» — бранное слово, и что либералов надо сечь, потому что «они воображают»... Что они воображают — он не давал себе труда подумать, но он был вполне убежден, что «мы должны иметь средства, а они не должны». Они в его глазах было все то, что ходит не в немецком платье... Он читал романы французские, русских книг почти не знал и раз даже сконфузил своих приятелей, наивно спросив, кто такой Тургенев... Он порицал гласный суд*, потому что его могли поставить рядом с лакеем, а вообще ему до всего этого было мало дела... Ему хотелось жить так, чтобы все видели, что он живет, как следует жить порядочному человеку. Ведь надо же иметь и приличную квартиру, и лакея, и лошадь, и кресло, и обед

с хорошим вином. Ко всему этому он привык с малолетства, а откуда все это бралось и берется — он вряд ли мог точно ответить. Прежде, знал он, давали «крестьяне», ну, а теперь, теперь... вероятно, те же крестьяне. На то они мужики. Им не надо шить платье у Тедески... Это было бы смешно. Кто не имеет средств от крестьян, тот получает жалованье... Хорошее жалованье, конечно, стоит брать, а маленькое не стоит, лучше жениться на старушке и ждать, когда она умрет.

В последнее время ему нравилось мечтать о получении сразу громадного куша денег... Взять бы, например, концессию. Что такое концессия — он доподлинно не знал, но понимал, что это «вещь очень невредная», и если бы получить ее, то не надо бывать у Авдотьи Матвеевны. Он собирался подумать об этом серьезно, купил карту Российской империи и познакомился с дельцами средней руки. Дельцы видели, что Жорж алчен, но ленив, и только смеялись над ним и советовали ухаживать за концессией, если только она будет в руках какой-нибудь женщины, падкой до томных брюнетов... Но Жорж тем не менее

раз часа два просидел за картой и провел прямую линию через всю Сибирь.

Он вел отчаянно безумную жизнь, давал вечера, держал дорогих лошадей, вел игру, был знаком со всеми. Никто не спрашивал, чем живет этот красивый молодой человек: имеет ли состояние, получил ли концессию, занимается ли фальшивыми ассигнациями или играет на бирже. Все дружески жали ему руку, похваливали его ужины, находили, что он порядочный человек, и на ушко говорили, что он на содержании. Он показывался всюду: в опере, на балах, даже на бирже. Он выучился играть. Его выучил Пильсон.

Авдотья Матвеевна журила его. Она грозила, что не станет платить его долгов. Тогда он разыгрывал роль страстного любовника. Она видела, что он лжет, презирала его и все-таки верила, бросаясь в его объятия. Ей верилось под боком этого дьявольски изящного молодца, от которого пахнет здоровьем, духами, шампанским — и она платила долги.

Но чем более она платила, тем ненасытнее становился Жорж, увлекшийся вдобавок какой-то французенкой и тративший на нее

большие деньги. Опять неизменный Пильсон настоятельно просил уплаты пятидесяти тысяч. Жорж поехал к Авдотье Матвеевне. Она сделала сцену и отказала. Он было пригрозил оставить ее. Она в ответ зло рассмеялась и сказала, что не боится этого. Он уехал. Авдотья Матвеевна плакала, но не звала его: сумма была очень большая. А Пильсон грозил снова. И вот в один из таких дней Жорж вместо денег выдал вексель с бланком Авдотьи Матвеевны. Он подмахнул подпись после веселого обеда. Потом спохватился, хотел было вернуть, но уже было поздно.

Через три месяца в будуаре разыгралась скверная сцена. Авдотья Матвеевна, злая на Жоржа за его связь с французской кокоткой, грозила судом.

— А ты разве не боишься скандала? Ведь тогда придется все рассказать, моя милая! — улыбаясь, пригрозил Жорж.

— Подлец неблагодарный! Вон отсюда! я заплачу вексель, но мы более незнакомы...

— И хорошо сделаешь, моя ненаглядная! А теперь addio, mio care!..[9] — весело смеясь, отвечал Жорж, посылая воздушный поцелуй.

Х

Жорж еще ждал, что за ним пришлют; но прошла неделя-другая, за ним не присылали. Он струсил. После трех лет этой бесшабашной жизни на счет Авдотьи Матвеевны — и вдруг опять ничего. Он сожалел, что не дал векселя на более крупную сумму.

Падение под гору пошло быстро. Мебель, лошади — все было в один прекрасный день продано с публичного торга. Жорж поселился в меблированной комнате и избегал встречи с знакомыми. Снова он вернулся к мысли о концессии, измарал несколько листов бумаги и надеялся. Ведь многие же получают. Многие, и не хватая звезд с неба, имеют отличное содержание при этих концессиях. Ну, хоть бы прежний закадыка Мишка Лештуков, ведь глуп и очень глуп, а напал на тридцать тысяч содержания, благодаря старухе, которая могла это устроить. Чем же он хуже? И отчего он не познакомился с такой старухой?.. Он злился, хандрил и советовался с дельцами третьей руки. Те пожимали плечами и улыбались...

Пильсон уже не давал денег. Авдотья Матвеевна не пускала Жоржа на глаза, так как ку-

пила другого Жоржа, свежей и моложе. Жорж опускался все ниже и ниже. Сперва его приютила одна француженка, потом прогнала его... Нужда грозила Жоржу, и он удивлялся, что находил вкусным обед в кухмистерских... Он не показывался на больших улицах и отворачивался от знакомых. Он похудел и покурнел. С алчностью молодого волка глядел он на богатые экипажи, мчавшие богатых людей. Он злобно скалил зубы и мечтал еще отомстить, точно они были виноваты. Раз он встретил тетушку Веру Алексеевну. Та узнала его, сконфузилась и прислала двадцать пять рублей. Если бы не прачка, доверчивое существо, привязавшееся к Жоржу, он бы часто не обедал. Приходилось чуть ли не обкрадывать ее. И он ее обкрадывал...

Жорж подводил итоги. Ему двадцать шесть лет. Что делать?.. Нечего. Что он знает? Ничего. Оставалось поступить на службу... Теперь и служба казалась ему желанным исходом... По счастью, северо-западный край требовал свежих сил, Жорж написал тетке отчаянное письмо и, благодаря дяде, попал в число обрुшителей...

Недолго он пробыл и там. Казенный сундук был как-то близко, а старые замашки не умерли. Он попал под суд и был уволен.

Тогда судьба окончательно толкнула его на тот путь, на котором он стоял еще с малых лет; он очутился в компании с такими же «обойденными дворянами», которым не хватало мест с «приличным» содержанием, и ему пришлось проделать все, начиная от подделки фальшивых билетов, до воровства карманных часов.

И что это была за жизнь! Правда, выпадали времена, когда Жорж, развалившись в коляске, еще думал, что все изменится, что он выбьется же наконец и заживет, не опасаясь каждого городского, но это бывали редкие времена. Воруя, что попало, не зная цены украденного, он вечно трусил, вечно ждал, что его схватят... И его наконец схватили! «За что схватили его, а не Мишку Лештукова?» — промелькнуло у него в голове в момент просветления.

XI

В арестантском халате, в голландской рубашке, с туго накрахмаленными воротничка-

ми, с закрученными в нитку усами, с отточенными ногтями, сидел Жорж на скамье подсудимых. Он потолстел, обрюзг, глаза потеряли прежний блеск, но все-таки это был еще «интересный брюнет», на которого дамы с любопытством таращили бинокли. Он несколько сторбился и опустил голову, но когда поднял ее, то держал прямо и глядел тем светлым, наглым взором, которым, бывало, восхищались дамы...

Прокурор говорил горячую речь, призывая грома небесные на Жоржа, но Жорж не слушал прокурора. Он разглядывал зрителей и, заметив среди них высокую, изящную брюнетку с седыми волосами, отвернулся и задумался.

И снова перед ним, как бывало в остроге, проносились картины прошлого. Жизнь дома, отец, мать, научившая его подглядывать за отцом, Каролина, развратившая его, тетка, старик дядя, «заведение», кража звезды, потом блестящая жизнь, рысаки, содержанки, далее опять то же, потом нищета, служба и снова жизнь без труда, без содержания, без цели. И наконец...

Он в тысячный раз вспомнил, что он жил, живет и, вероятно, будет жить на чужой счет, никогда не думая, чтобы жизнь обязывала его к чему-нибудь. Ведь этого ему не говорили, когда он был еще мал, когда еще было время. Напротив...

И виноват ли он? И он ли один?.. Не целая ли масса людей выросла с тем же сознанием и с теми же привычками? Конечно, это праздничный вопрос, но отчего же именно он в арестантском халате, а не вон тот зритель, прежний закадыка, который отличается от Жоржа разве только тем, что ворует не такие маленькие суммы...

— Подсудимый Растегай-Сапожков! Что вы имеете сказать в свое оправдание? — раздался голос председателя.

— Я... я... — начал было Жорж и остановился. — Я, конечно, виноват, но кто же из нас не виноват? Если бы, господа присяжные, вы знали мою жизнь, если бы вы поняли, что меня воспитали специально для того, чтобы сделать меня к пятнадцатилетнему возрасту мерзавцем... Если родная...

Тут Жорж не мог продолжать и зарыдал.

Вдова сенатора, бывшая проездом в Москве (она ехала на Кавказ проведать мать Митрофанию), тоже расчувствовалась, заплакала и не могла не сказать, что Жорж все-таки и в арестантском халате «порядочный человек».

Оригинальная пара*

I

Мне окончательно опротивела жизнь в меблированных комнатах с их неизменными прелестями: каким-то, им свойственным, прокислым запахом, постоянной сутолокой, звонками, хлопаньем дверей, с присутствием каждой меблированной квартиры неизменным «беспокойным жильцом», «на днях» уезжающим в Ташкент и приводящим в смущение своей свободой обращения не только юрких, не особенно застенчивых горничных, но даже самую хозяйку — толстую, заспанную, перезрелую рижскую уроженку, отставную камелию средней руки, благоразумно променявшую прежнюю профессию на профессию содержательницы шамбр-гарни*.

Я решил искать более тихое пристанище, в

виде комнаты «от жильцов», предлагаемой, как часто объявляют в газетах, «скромным, небольшим семейством одинокому молодому человеку».

Долго шатался я по разным комнатам, пока не набрел на подходящую. Комната была недорогая, светлая, опрятная и — главное — единственная, отдаваемая жильцам. «В остальных, — объяснила мне старая кухарка, — живут господа».

— Немцы? — спросил я, пораженный особенной чистотой.

— Что вы! Какие немцы? — обидчиво возразила старуха. — Русские: муж да жена.

— Детей нет?

— Какие дети!.. — проговорила кухарка. — Детей нет!

— Старики?

— Ну, нет... молодые! Комната преотличная... Всего неделя только, как жилец съехал, чиновник, жениться собрался... Диван новенький, мягкий (при этом она хлопнула ладонью по дивану), можно еще пару стульчиков прибавить...

— Как вас звать?

— Степанидой люди зовут.

— Так я, Степанида, нанимаю комнату. Кому отдать задаток?

— Давайте хоть мне, господ дома нет. А вас как звать? Вы какие будете?

— Зовут меня Иваном Петровичем... Бывший студент!

Степанида еще раз оглядела меня с ног до головы, приняла задаток и примолвила:

— Только, Иван Петрович, чтобы шуму никакого не было... по ночам...

— Насчет этого не беспокойтесь, Степанида. Я сам не люблю шуму...

— И вот что еще — уж вы извините, батюшка, меня, старуху... Вы... (она видимо стеснялась сказать) вы... не пьете?

— Нет.

— То-то!.. — добродушно обронила она, взглядывая своими ласковыми глазами.

— Да вы почему об этом так спрашиваете? Разве нападали на пьяных жильцов?

— Нет, слава богу, этого не было... Но только... А уж вы не сердитесь, пожалуйста! — закончила она, кланяясь и не давая ответа на мой вопрос.

На другой же день, уложив все свое имущество на извозчика, я переехал на новую квартиру.

После шума меблированных комнат, новая квартира показалась мне просто раем. Тепло, уютно, опрятно, спокойно — ничто не мешало занятиям. Одно обстоятельство несколько смущало меня: рядом с моей комнатой была жилая комната хозяев, но и этот страх близкого соседства прошел после первых же дней. Ни шума, ни сцен. Соседи, как кажется, вставали и ложились поздно, а я рано уходил из дому, и когда возвращался, снова была тишина. Иногда только женский голос доносился из других комнат мягкими звуками. Ложился я спать тоже среди полнейшей тишины, словно никого не было дома... Женский с контральными нотами голос раздавался за стеной только с вечера. Ежедневно с семи часов в соседней комнате начиналось умывание и одевание: слышался плеск воды, раздавались тихие вскрикивания, затем начиналось шуршанье юбок. Когда туалет приходил к концу, между соседкой и Степанидой начинался обыкновенно разговор вполголоса. Степани-

дин голос, понижаясь все более и более, принимал какой-то убеждающий шепот; в ответ раздавались раздражительные ответы. Эта непонятная для меня беседа заканчивалась обыкновенно шумом юбок и громким вопросом: «хорошо ли сидит?», на что в ответ получались одобрительные восклицания Степаниды: «Павушка... королева ты моя!» и т. п. Затем по коридору раздавались шаги, и мимо моих дверей проносился легкий шелест шелкового платья; душистая струйка врывалась в мою комнату, затем хлопали дверями, и снова в квартире водворялась мертвая тишина.

Прошло две недели, и мне не случилось увидеть своих хозяев. Признаться, они меня заинтересовали. Странное что-то было в этой квартире. Степанида вечно шепталась за стеной с хозяйкой, а во время ее отсутствия я несколько раз видел, как она, поджидая барыню, заливалась слезами, но всегда при моем появлении отворачивалась, желая скрыть слезы... Среди ночной тишины по коридору шлепали, бывало, туфли; осторожной, робкой походкой проходил кто-то, и тогда в коридоре начинался какой-то странный разговор. Мяг-

кий, тихий мужской голос о чем-то упрашивал Степаниду, но она обыкновенно отвечала: «Нельзя, родной мой... ложись лучше спать». Но тихий голос так убедительно просил «Степаниду Матвеевну», что старуха не выдерживала и, казалось, сдавалась на просьбы. «Ну, изволь, только, смотри, сейчас же ложись, чтобы она не видала!» — говорила она и вслед затем куда-то исчезала. После одного из таких разговоров я встретил ее как-то на кухне. Она только что вернулась и под платком что-то прятала, но, увидав меня, сконфузилась... Со мной Степанида не заговаривала о хозяевах. Я не расспрашивал. Раз только, подавая самовар, Степанида закинула:

— Нашу видели?

— Нет. А что?

— Ничего. Я так. Полмесяца живете и не видали...

— Разве интересно?

— Как кому! — загадочно проговорила Степанида, обрывая разговор, несмотря на мои попытки продолжать его.

— А муж, видно, домосед?

— Да... читать любит... За книжками бо-

лее... Однако я с вами болтаю, а у меня дело есть...

С тем и ушла.

Кажется, на другой или на третий день после этого разговора я заработался что-то долго. Был четвертый час утра, когда раздался звонок, и по коридору прошумел знакомый шелест платья... За стеной раздался хохот.

— Ну, раздевай меня, няня... Что, вам весело было? — произнесла хозяйка веселым голосом.

— Ах, Зоя Михайловна... И тебе не жаль его?

— Молчи, нянька... Он спит?..

— Вряд ли... Сама знаешь, до сна ли...

— Дурак! — презрительно произнесла она.

Слышно было, как Степанида всхлипывала.

Шуршанье юбок смолкло.

— Жилец хорош собой, няня? — тихо продолжал голос.

— Нет.

— Тоже, кажется, такой же дурак, как и наш! — весело засмеялась хозяйка.

Голос ее понизился, и снова раздался смех.

— Ну, няня, перекрести меня... да поцелуй...

За стеной смолкло.

Я задремал... Вдруг странный шум вблизи пробудил меня. Рядом, за стеной, раздавался гневный женский голос, перешедший в крик. Кто-то бешено затопал ногами. На секунду водворилась тишина, и вдруг что-то свистнуло и — показалось мне — раздался удар хлыста по чему-то мягкому... По комнате торопливо пробежали...

Я вышел в коридор.

У дверей соседней комнаты стояла молодая женщина со свечой в руках... Я взглянул и изумился — такая она была красивая в белом капоте, с распущенными по плечам волосами. Что за прелестные черты, несмотря на то, что они были искажены гневом! В лице — ни кровинки, губы вздрагивали; грудь подымалась; всю ее точно подергивало. Голубые глаза с расширенными зрачками блестели зловецким блеском... Фигура стройная, гибкая... В руке маленький хлыстик, змейкой извивавшийся по белому капоту...

На другой стороне коридора, напротив, в

полутемноте стояла маленькая мужская фигурка в плохеньком халате. Совсем молодой человек, худой, с тонкими, изящными чертами красивого лица и большими, темными, кроткими глазами. Эти кроткие глаза сразу подкупили меня в свою пользу, и вся его робкая фигурка показалась мне необыкновенно симпатичной. Он растерянно, робким, ласковым взглядом смотрел на женщину и как бы умолял ее успокоиться... В лице его было что-то детское и глубоко симпатичное...

Она бросила на меня быстрый, резкий взгляд и быстро скрылась в двери. А он как-то застенчиво взглянул и тихо сказал, улыбаясь кроткой улыбкой:

— Вы извините, мы нашумели, побеспокоили вас... Видите ли: мы заспорили и...

Он опять застенчиво взглянул и прибавил:

— Жена вспыльчивая... Все добрые — вспыльчивые...

Он постоял, как бы в раздумье, несколько времени и тихо побрел на кухню.

— Извините... — прошептал он еще раз, проходя мимо.

Я вошел в свою комнату, разделся и лег

спать. За стеной было тихо. Нервы мои были возбуждены, я ворочался с бока на бок и долго не мог заснуть... Мне все слышались за стеной сдержанные рыдания.

II

Через несколько времени я познакомился с молодым человеком. Это была замечательно кроткая душа. Он иногда заходил ко мне, брал книги и любил вести «теоретические» разговоры, и при таких разговорах оживлялся; тогда его лицо делалось еще милей. Говорил он, не смотря на вас, а глядя куда-то вдаль, и точно говорил не вам, а разговаривал сам с собою; о жене он почти не говорил, а если случалось упоминать, то упоминал с большим уважением.

По вечерам, когда жены не было, он в своем неизменном халатике приходил, садился, сперва застенчиво озирался и долго молчал. Только несколько времени спустя он становился разговорчивее. Я любил его слушать. Говорил он с каким-то восторженным вдохновением. А то, бывало, зайдет он и остановится среди комнаты, задумается... Я любил в это время смотреть на его задумчивое, кроткое

лицо, и всегда какая-то жалость сжимала мне сердце... Лицо его было худое, подозрительный румянец играл на щеках, он часто кашлял, схватываясь своими тонкими руками за грудь, и кашель был такой скверный... И каким он чужим казался среди окружающей обстановки! Всегда одет плохо, совсем плохо; сам, бывало, ставил самовары, чистил себе сапоги и добродушно ссорился по этому поводу со Степанидой, которая, казалось, любила его не меньше, чем свою барыню. И комнатка его совсем не похожа была на другие комнаты квартиры. В гостиной, столовой и еще какой-то полутемной, убранной в турецком вкусе, везде была роскошь, изящество, масса дорогих безделушек, цветы, картины, везде заметна была умелая рука любящей комфорт женщины, а у него в маленькой комнатке, совсем позади, какой контраст! Письменный стол, несколько стульев, клеенчатый диван, на котором он спал, и книги... Книгами была завалена вся комната. Книги валялись на окнах, на столе, на диване, на полу... Только большой, роскошный акварельный портрет жены в дорогой рамке висел над диваном и

резко выделялся своим роскошным видом. На портрете жена была замечательной красавицей, более молодой, чем теперь; видно было, что портрет снят раньше. Я и забыл сказать: звали моего знакомого Василием Николаевичем Первушиным. Он был математик, определенных занятий не имел, по целым дням копался в книгах.

Однажды я зашел к нему. Жены, по обыкновению, не было дома. Смотрю — ходит он по кабинету, и такое грустное, скорбное выражение в его кротких глазах... Он совсем сконфузился при моем появлении, ну совсем растерялся... Я недоумевал, но скоро понял причину: на столе стоял наполовину отпитый полштоф и рюмка...

— А жены дома нет! — проговорил он. — Она уехала... Женщина молодая, ей надо веселиться... правда?

Я что-то ответил.

— Что ей дома-то сидеть... Не скучать же...

И он снова заходил.

— Я, — начал он робко, — изредка люблю, знаете ли, немного выпить... Думается шире... мысли какие-то светлые такие идут в голову.

Вы этого не пробовали?..

— Нет.

— Право?.. А впрочем не пробуйте... Я все глупости говорю...

И он как-то неловко повернулся, свалил со стола рюмку, которая разбилась, и окончательно смешался и оробел...

Я отвернулся и долго смотрел на портрет.

— Как вы его находите? — произнес он. — Не правда ли, прекрасное лицо?.. Вот взгляните...

И он достал из стола еще несколько портретов и подал мне. Это все были фотографии его жены, их было, кажется, штук двадцать, снятых в разное время в разных позах и костюмах.

— Ну что?

— Фотографии очень хорошие...

— Да... — задумчиво как-то проговорил он, — хорошие, а вот я вам покажу другое лицо! — сказал он, и при упоминании об этом лице его собственное лицо как-то вдруг прояснилось, стало светлее, и в глазах засветился какой-то чудный луч глубокой любви.

Он достал большую фотографию и подал

мне. Это был портрет молодой женщины, необыкновенно симпатичной. Что-то знакомое промелькнуло мне в этих чудных чертах необыкновенно милого, несколько строгого лица. Я посмотрел на Василия Николаевича и догадался.

— Это ваша сестра?

— Да, — улыбнулся он. — Мы похожи!.. К несчастью, только лицами! — добавил он. — Чудная душа! Ах, какая это душа, если б вы знали!

Когда он заговорил о ней, я залюбовался на него. Такое благоговение было в его лице...

— Я ее увижу... непременно. Нельзя же... надо наконец... — вдруг проговорил он, думая, по обыкновению, вслух. — Я разузнаю адрес...

В это время раздался звонок.

Первушин видимо оробел. Он быстро спрятал портреты, убрал со стола водку и испуганно взглянул на меня.

— Который час?.. — проговорил он.

— Двенадцать.

— Как рано!.. — обрадовался он и видимо стеснялся моим присутствием.

Я хотел было уйти, как около раздались легкие шаги, и на пороге появилась моя соседка. Она была гораздо красивее, чем тогда, когда я видел ее в первый раз. Шикарное шелковое платье обхватывало ее стройный стан; из-под роскошной шляпки выбивались белокурые пряди; лицо было оживлено и казалось свежее от горевшего на щеках румянца. Она вся улыбалась и внесла за собой какой-то неуловимый, щекотавший нервы аромат. Заметив меня, она ответила на мой поклон самым грациозным, любезным кивком хорошенькой головки. Во всех ее движениях сказывались грация и такт светской женщины.

— Я просто в восторге от Паска*! — проговорила она, обращаясь к мужу. — Что за прелесть актриса! какой ум, какая игра! Однако ты, Вася, рассеянный какой... Ты нас не знакомишь? — указала она на меня и подошла ко мне, проговорив: — Зоя Михайловна Первушина.

Я назвал свое имя.

О первой встрече ни полслова.

— Ну, пойдете, господа, пить чай... Иди же, Вася... Ты здоров?..

Он кротно так взглянул на нее и отвечал: — Здоров, Зоя... здоров, что мне делается? Мы пили чай в столовой. Зоя Михайловна говорила без умолку. Она видимо находилась под впечатлением пьесы и игры. Василий Николаевич с любовью слушал жену, и когда она делала особенно удачные замечания, он значительно покачивал головой и смотрел на меня, будто желая сказать: «видите ли, какая она умная и хорошая».

Однако скоро она умолкла, и веселое расположение духа исчезло. На лицо налетела какая-то тень. Она смолкла и задумалась. Первушин беспокойно взглядывал ей в лицо. Я поспешил уйти.

III

Прошло месяца два. Я редко видал своих новых знакомых. Первушин почти не заходил и не звал меня к себе. За стеной было совсем тихо, и по вечерам я уже не слышал обыкновенных разговоров хозяйки со Степанидой. Оказалось, что спальня была переведена в другую комнату.

Степанида по обыкновению помалчивала. Раз как-то, когда я спросил о здоровье Васи-

лия Николаевича, она ответила, что он нездоров. По грустному лицу доброй старухи я догадывался, что там опять было неладно.

— Что с ним?

— Кашляет все.

— Бедный!

— Ну, и она, моя голубушка, тоже бедная.

— Хороша бедная! — заметил я, — веселится, бегают из дому, а он чуть не на ладан дышит.

— Молчите, коли не знаете! — рассердилась старуха.

— Да нечего и знать... Вы-то что так заступаетесь?

— Я-то? Да ведь я вынянчила Зоюшку. Крепостная еще ихняя была. Как же мне не заступаться... И кто же за нее заступится, за бесталанную!..

На старом лице Степаниды видна была глубокая скорбь, а в словах звучала такая теплая нотка, что я не мог не засмотреться на ее доброе лицо.

— Да ты что на меня уставился? — спросила Степанида, вдруг начиная говорить мне «ТЫ».

— Ничего... Тоже и его жалко.

— А то как же... Такая душа и...

Она не договорила и махнула как-то безнадежно рукой.

Однажды я сидел у себя в комнате, как вошел Первушин. Он совсем осунулся и похудел еще более. Он был не в халате, как обычно, а в потертом черном сюртуке, подал руку и заходил по комнате. Я заметил в нем какую-то странную решимость, вовсе не идущую к его робкому виду. Он ходил и говорил вполголоса:

— Она зовет... Уйду. Надо ж наконец... я не позволю... все, что хочешь, но не касайся сестры. Она святая... Я этого не переносу.

Он остановился, странно оглянулся вокруг и вдруг замолчал. Видимо ему хотелось поговорить, но он чего-то стеснялся.

— Знаете ли что... — начал было он и замал рукой, как-то печально улыбаясь. — Нето!.. У вас есть вино? — вдруг спросил он.

— Нет.

— Нет — и не надо. Редко две половинки сходятся... Уравнение, в котором x равен... чему x равен?

— Пойдемте-ка, Первушин, прогуляемся лучше.

— В самом деле, пойдемте, — обрадовался он. — Но как же шапка?

— Какая шапка?

— Моя! — робко заметил он. — Она у Степаниды, у этой доброй души, которая всю свою жизнь отдала другим, но стережет мою шапку.

— Так я возьму ее.

Я вышел из комнаты и пошел в кухню. Когда я попросил у Степаниды шапку Василия Николаевича, она спросила: «зачем, куда теперь идти... первый час!» Но когда я настаивал и сказал, что мы идем гулять вместе, она пошла к барыне, скоро вернулась оттуда, дала мне шапку и маленькую записочку от Зои Николаевны. В этой записочке женским неразборчивым почерком были написаны следующие строки: «Вино губительно для здоровья мужа; бога ради не угощайте его и удержите. Он и без того слаб».

Я вернулся и, когда вошел в комнату, Первушин спросил:

— Достали?

— Вот она! — отвечал я.

— Так идемте. Скорей только.

Мы вышли на улицу. Ночь была тихая, лунная, славная. Слегка морозило. Однако мой сосед плотно кутался в свое худенькое пальто и задыхался.

— Вам тяжело? Поедемте, вон и извозчик.

— Тяжело? Всем тяжело! — как-то задумчиво отвечал он, — а извозчику еще тяжелей. Нет, нет, пройдемтесь... Я редко нынче хожу. Видите, какая славная ночь, как красива луна, и как жить хочется. Вы знаете легенду, почему она побледнела перед солнцем? А звезды? Знаете ли, бывают минуты, когда хочется говорить... ужасно как хочется, а я вообще мало говорю... о себе, то есть...

— Да вы не спешите так, Василий Николаевич, вам вредно.

— А я разве спешу? — усмехнулся он, умеряя шаги. — Когда-то я спешил надеть шлем, но вместо него надел на голову таз, который гораздо более подходит к моей фигуре*. Но... Наташа зовет... иная жизнь... К черту эти книги... Что в них?..

Он как-то странно замахал руками и за-

кашлялся.

— Пойдемте куда-нибудь в трактир. У вас есть деньги?

— Есть, пойдемте.

Мы вошли в трактир, заняли отдельную комнату и заказали ужин.

Первушин спросил водки и сразу выпил две рюмки. Я было заметил, что это нездорово, но он только добродушно усмехнулся.

— Верно, Степанида сокрушалась и секретничала об этом с вами? Добрая! Она на меня как на ребенка смотрит. Напрасная забота... Я вот еще рюмку дерну, — усмехнулся он, наливая еще рюмку, — и Степанида ничего не делает.

Вино быстро действовало на Василия Николаевича. Он оживился. Его глаза заискрились лихорадочным блеском и он, улыбаясь кроткой, чудной улыбкой, быстро, точно боясь, что не успеет, начал мягким, тихим, надтреснутым голосом.

IV

— Только не думайте, бога ради, голубчик, что я жалуясь. Я не жалуясь; жаловаться глупо да, собственно говоря, по совести не на

что. Разве может жаловаться звезда, что она светит менее ярко, чем солнце? Мало ли разной твари на свете погибает? Я просто хочу говорить и... буду говорить. Надоест вам, остановите — я не обижусь. Я вообще не обижаюсь.

Он кротко улыбнулся и продолжал:

— Женщина, говорят, в жизни играет немалую роль. И я начну с женщины. Вы догадываетесь, что я говорю о Зое? Встретились мы случайно. Надо вам сказать, что до этого я ни с одной женщиной не сходилась близко и, признаться, побаивался их, то есть не то, чтоб боялся, — это, пожалуй, не то выражение, — а испытывал нечто вроде благоговейного ужаса, вроде того, я думаю, какой испытали островитяне, увидав впервые действие пушек. Я любовался ими издали, незаметно, и не боялся только двух женщин на свете — мать и сестру Наташу. Еще надо сказать, что я был застенчив и робок (да и теперь тоже), а к тому же напуган матерью. Добрая! Она страшно меня любила, и, верно, потому для нее каждая недурненькая девушка, заходившая к нам, была заклятым врагом, если только я об-

ращал на нее какое-нибудь внимание. По словам матери, каждая девушка (кроме Наташи, конечно), недурная собой, была сиреной*, подходить к которой губительно и опасно для молодого человека, особенно такого «глупенького», каким она нередко называла своего любимого сына.

А брак она рисовала всегда такими мрачными красками, особенно когда Наташи не было в комнате, что, по ее мнению, тот молодой человек, который женится, делает непростительную глупость и непременно погибнет. На этот счет у нее была даже своя собственная теория, и когда она говорила на эту тему, — а тема эта была ее любимым коньком, — то говорила с замечательным диалектическим мастерством. Она меня находила таким совершенством, что ей казалось, будто все барышни имеют на меня виды, а она этого боялась. Понятный эгоизм у бедной, крайне несчастливой с отцом.

Я с детства рос у юбки матери, и как я любил эту славную юбку! Сколько радостей она мне дала, сколько хорошего, честно слышал я из уст матери, прижимаясь к этой самой юб-

ке! Мать нельзя было назвать очень образованной женщиной, но она была умна и кротка бесконечно. Мы с ней почти не разлучались. Смешно сказать: до шестнадцати лет я спал у нее в комнате. Любила она меня с тем страстным эгоизмом, с которым способна любить только мать; она старательно отдаляла от меня всякие, как она называла, соблазны, окружала меня попечениями, думала за меня в житейских делах и точно поставила задачей жизни держать меня как можно далее от житейских дрызг. Я проводил время за книгами и в обществе матери и сестры. Я много учился, много читал и был совершеннейшее дитя в жизни; любой деревенский мальчуган десяти лет имел более житейского опыта и характера, чем ваш покорный слуга в двадцать лет.

Отец сперва на это сердился, потом махнул рукой. Мать была кроткая, но упорная женщина. Вы знаете женские тихие натуры, которые сопротивляются молча? Что с ними сделаешь? К тому же отец сознавал нравственное превосходство матери. Он был совсем другой человек. Гордился своей фамилией

(все гербы из герольдии доставал) и был ростовщиком, то есть не имел кассы ссуд, нет, а давал деньги под векселя за огромные проценты. Это я узнал уже позднее, от сестры; сестра очень мучилась этим, да и мать как-то пугливо смотрела на отца. Все его чуждались, и он, как кажется, где-то на стороне свил себе другое гнездо и редко бывал с нами.

Чудная душа была Наташа! Такой правдивой души я не встречал более. Ее все уважали, даже отец; слово Наташи считалось вне сомнений. Как бы в противоположность мне, она обладала независимым характером и замечательной силой воли. К ней точно перешли упорство отца и кротость матери. С матерью она была дружна, но не была под ее влиянием; она много читала, много думала. Ей в то время было двадцать пять лет. Вы видели ее портрет? Хорошенькой ее нельзя назвать, да это название и не шло бы к ней; ее как-то совестно было назвать хорошенькой. В ней была особенная, строгая красота. Лицо спокойное, сосредоточенное, черные глаза, умные и кроткие. Странная девушка! — Из такой породы, я думаю, была Шарлота Корде*.

Бывало, она начнет говорить, — говорит так тихо, а сама бледная, губы побелеют. Очень уж близко принимала она к сердцу всякую неправду и ложь. Мать не так любила ее, как меня. Наташа не умела ласкаться и не жалась к юбке матери никогда. Обо мне Наташа часто сокрушалась. «Ты, Вася, какой-то блаженный, бог тебя знает!» — говорила она, сидя у меня в комнате. Я любил все объяснить, взвесить, рассортировать; она жила более чувством; я боялся людей, она — напротив; я любил кабинет и спокойствие; она не любила кабинетных занятий; я всегда колебался; она решала быстро... Она закаливала себя, чтоб не быть «барышней», как она говорила; только она не считала себя еще готовой ехать в деревню и быть там учительницей. Она советовала мне чаще бывать в обществе товарищей, но я всегда дичился, робел, конфузился, как-то страшно было. Она крепко любила меня!

Я был на четвертом курсе, когда случилась наша встреча с Зоей, — именно случилась. Я даже теперь помню число, когда мы познакомились: это было четырнадцатого ноября. Мы

поехали втроем в клуб.

Я застенчиво бродил под руку с сестрой по залам и с каким-то странным чувством глядел кругом. Я был в клубе в первый раз. В зале было душно; у меня кружилась голова от жары и женских оголенных плеч. После «тетрадок» и вычислений я смотрел на женские лица с жадностью и любопытством двадцатитрехлетнего болвана, прикованного к юбке. Они все казались мне красивыми, милыми и... страшными. Мне так хотелось подойти к ним и в то же время я знал, что я ни за что бы не решился на такой шаг. Я вздрагивал, когда проходил близко женщины, и вместе с тем жадно вдыхал этот одуряющий душистый аромат, который исходил от них.

Глядя по сторонам в этой пестрой толпе, я нечаянно толкнул какую-то даму, проходившую мимо. Я пробормотал извинение, взглянул на нее и обомлел. Вы видели ее? Не правда ли, она хороша? Ну, а три года тому назад она была еще лучше. Мое искреннее изумление, кажется, понравилось ей. Она приветливо улыбнулась и пристально взглянула на мое смущенное лицо. Сестра дернула меня за

рукав, и мы пошли далее.

— А ты, Первушин, совсем стал слепым! — нагнал нас один из моих товарищей, бывавших у нас. — Я тебе кланяюсь, а ты ничего не видишь!

Я извинился.

— С тобой, брат, желает познакомиться та дама, на которую ты так загляделся! — проговорил он тихо.

Я растерялся совсем и принял его слова за шутку.

— Без шуток, Первушин. Какие шутки! Эх, ты, красная девица!.. Если хочешь, так отведи сестру и приходи к буфету, я буду ждать.

Я отвел сестру к матушке и хотел отойти, но она пытливо взглянула и спросила: «Куда?» Я вспыхнул и в первый раз в жизни раздражился. «Я не маленький!» — ответил я и пошел.

Торопливо прошел я через толпу и нашел товарища.

— Ну, пойдём! — взял он меня за руку. — Тебя ждут. Да что с тобою? Ты дрожишь?

Я, действительно, вздрагивал точно в лихорадке, от волнения и застенчивости; очень

уж страшно было.

А мы уж подходили, я это чувствовал. Вон она сидит на диване. Я решился удрать. Я было рванул руку, но было поздно.

— Вот та красная девица, с которой вы хотели познакомиться, Зоя Михайловна. Позвольте вам представить ее: Василий Николаевич Первушин.

— Очень рада! — проговорила она, протягивал руку, которую, помню, я как-то странно крепко пожал. — Садитесь. Вот сюда... на диван.

Я совсем растерялся. Она смотрела в упор своими блестящими, смеющимися глазами. Я стоял около, как пень, и не двигался с места.

— Вы, как я посмотрю, рассеянный. Садитесь же подле... вот так.

Товарищ куда-то ушел, и мы заговорили, — вернее, она говорила... Что такое говорила она, я, ей-богу, не помню, но помню, что она хохотала громко, показывая блестящие зубы, глядела на меня подзадоривающим взглядом, который сводит с ума подростков и стариков, и наклонялась к самому лицу так близко, что я сторонился. Скоро, однако, она

бросила эту манеру. Она как будто подтянулась и стала относиться ко мне серьезно, с какою-то доброю ласковостью старшей сестры. И глаза ее, большие синие глаза, перестали смеяться.

Вы вообразите себе неловкого, застенчивого, неопытного юношу, голова которого набита «тетрадками», рядом с блестящей, красивой молодой женщиной — и вы поймете, что в ту пору я изображал из себя довольно забавную фигуру. Я почти не раскрывал рта, и мне хотелось убежать скорей. Но вдруг на меня нашла какая-то отвага, именно отвага отчаяния, и я стал говорить. Я говорил, что я студент, что буду профессором, что дам не люблю, что в клубе в первый раз, и она с таким вниманием, не прерывая, слушала мою болтовню, что, когда я спохватился, мне сделалось стыдно, и я замолчал.

— Продолжайте, продолжайте, — тихо проговорила она. — Что ж вы замолчали?

Но я говорить уже более не мог.

— Что же вы? — тихо переспросила она, ласково дергая меня за руку.

— Я... я... не могу!.. — проговорил я.

В это время мимо проходил какой-то изящный молодой офицер. Он кивнул моей даме с такой фамильярностью, что я побагровел; она отвечала тем же. Он, смеясь, подошел к ней и, нагнувшись так близко к шее, что губы почти касались ее, начал шептать. Она расхохоталась и, указывая на меня, отрицательно покачала головой, шутливо ударив его по рукам веером. Офицер отошел и, отходя, заметил, смеясь:

— Новый экземпляр?

Она кивнула головой и обернулась в мою сторону. По всей вероятности, лицо мое было глупо до последней степени, потому что вдруг она взяла меня тихо за руку и с умоляющим выражением спросила:

— Что с вами?

Я отвечал, что мне жарко... устал...

— Это был мой брат! — неловко проговорила она, угадав, вероятно, мое настроение.

— Брат? — переспросил я и радостно вздохнул. — Как он на вас не похож.

— Да... не похож... Куда ж вы?

Мне даже послышался в этом вопросе испуг.

— Пора... меня ожидают мать и сестра...

— И вы бежать? Оставайтесь...

— Нет!.. Да... лучше пустите!

Я говорил какой-то вздор, а она слушала его с непонятным мне участием.

— Ну, хорошо, я вас пущу, но только с условием! — сказала она тихо. — Мне бы не хотелось, чтобы наша встреча была последней, Василий Николаевич, и если вы не прочь поскучать у меня, заезжайте ко мне. По утрам я всегда дома до трех...

Она сказала адрес.

— Приедете? — снова спросила она, задерживая мою руку. — Не забудете адреса?

— Еще бы! — сказал я и так пожал ее руку, что она чуть не вскрикнула.

Я быстро уходил от нее в каком-то чаду. Странное ощущение испытывал я: не то страх, не то восторг. Точно я только что ходил по краю пропасти, и мне хотелось снова пройтись. Я припоминал ее лицо, слова.

— Где это ты пропадал, Вася? — спросила меня мать, по обыкновению, ласково, позабыв мой резкий ответ.

— Мы были с товарищем...

— А мы тебя искали! — заметила Наташа.

— Не пора ли, дети, ехать?

— Ах, нет, подождемте, мама... Еще рано! — сказал я.

Мать ревниво взглянула на меня и заметила:

— Ну, хорошо. Мы останемся еще, но только не более часу. Ты, впрочем, как хочешь. Кажется, здесь особенного веселья нет, Наташа?

Сестра молча согласилась с матушкой.

Перед отъездом мне еще раз хотелось взглянуть на Зою Михайловну, и я пошел ее отыскивать. Проходя по столовой, я увидел ее. Она сидела рядом с офицером и громко хохотала; перед ними стояла бутылка шампанского. Я поторопился пройти, но мне показалось, что она меня заметила и... и сконфузилась.

В швейцарской, когда мы надевали шубы, ко мне подбежал мой товарищ и, как-то скверно щуря глаза, заметил:

— Ты, Первушин, счастливец!

— То есть, как это?

— Очень просто. Что это ты таким агнцем представляешься? Ты Зое Михайловне понра-

вился. Она любит таких... зеленых.

И он засмеялся гадким смехом.

— Только, — продолжал он, — ты не зевай, а прямо...

— Что ты говоришь? как ты смеешь так говорить?

— Ха-ха-ха!.. Да ведь Зоя Михайловна — кокотка!

Я так схватил его за руку, что он побледнел и страшно-испуганно взглянул на меня.

— Если ты еще одно слово... я ударю тебя!

С этими словами я бросился вон из швейцарской на подъезд. Там я нашел своих, и мы уехали.

— Кокотка? Не может быть. Он лжет! — повторял я несколько раз и долго не мог заснуть.

V

Первушин, несмотря на мои увещания, выпил еще две рюмки и продолжал:

— Прошло две недели со времени нашей встречи, а я не решался идти к Зое Михайловне. По правде говоря, я ходил к ней каждый день, но доходил только до ее квартиры, а звонить не осмеливался. С какой стати я при-

ду к ней! Она так, из любезности, просила бывать, мало ли просят, а я вдруг... Нет, ни за что!

С такими мыслями обыкновенно я сходил печальный с лестницы и возвращался домой.

«Тетрадки» мне надоели. Чтение показалось таким скучным. Между строк книги незаметно для меня появлялось молодое, красивое лицо. Я закрывал глаза, желая подолее удержать в памяти дорогой образ, и так просиживал подолгу.

Мать волновалась и тревожно всматривалась в меня, но я отговаривался нездоровьем.

Прошла еще неделя, и я снова начал ходить на лекции, хотя, признаюсь, Зоя более всех профессоров занимала мое внимание. Как-то, при входе в университет, швейцар подал мне маленькую записочку; я взглянул на почерк, и сердце екнуло; я сразу догадался, от кого она. Стало страшно. Я осторожно разорвал конверт и прочитал приглашение Зои зайти к ней.

Нечего и говорить, что я тотчас поехал.

— И не стыдно вам? — ласково покорила она, подавая обе руки.

Она посмотрела мне прямо в глаза. Суровая морщинка на лбу сгладилась. Она вся просияла.

— Отчего же так долго?

В ответ я говорил какую-то чепуху.

Зоя была в отличном расположении духа. Она говорила без умолку, смеялась, трунила над моей застенчивостью, потом показала свое помещение. Квартира была невелика, но убрана роскошно; особенно хорош был ее будуар.

— Какая роскошь! — невольно сорвалось у меня.

Зоя вдруг покраснела. Она, блестящая, изящная, красивая, стояла передо мной с видом виноватого школьника. Слезы стояли в ее глазах.

— Пойдемте в гостиную! — тихо заметила она, взяв меня за руку.

— Что с вами, Зоя Михайловна? Вы... плачете? Я чем-нибудь обидел вас?.. О, простите меня.

— Я? С чего вы это взяли? Я не плачу, и вы меня не обижали! — проговорила она, смеясь. — Вы, Василий Николаевич, как видно,

мало знаете женщин... Я просто нервная женщина, вот и все...

Она снова разговорилась. О себе почти не говорила или говорила очень мало, коротко, скорее намеками, но зато расспрашивала обо мне, о моих занятиях, о матери и сестре...

Я, к удивлению, развернулся и свободно отвечал на ее вопросы. Особенно много говорил о сестре и описывал ей Наташу с восторженностью влюбленного брата!

Она слушала, но под конец мои восторженные описания произвели на нее, кажется, тяжелое впечатление. Когда я рассказывал о матери, Зоя задумалась, и лицо ее сделалось такое грустное, что я остановился...

— Нет, нет... говорите... Не обращайтесь на меня внимания... Я люблю это слушать... Так редко со мною говорят...

Мы простились друзьями. Она взяла с меня слово не забывать ее.

Я, разумеется, был влюблен, как только мог быть влюблен застенчивый, впервые влюбленный юнец.

— Заходите же, Василий Николаевич, прощу вас... Знаете ли что? Я с вами становлюсь

лучше...

— Да разве вы можете быть еще лучше? — восторженно воскликнул я.

Она вспыхнула до ушей, как маленькая девочка, и взглянула с таким кротким, умоляющим выражением, что мне стало жутко.

— Зоя Михайловна! Что с вами?.. У вас есть горе?.. Скажите...

— Нет... ничего, ничего... До свидания, мой добрый...

И она крепко пожала мою дрожавшую руку.

Я стал ходить к Зое чаще и чаще и наконец стал просиживать у нее по целым дням. Часто я читал вслух, она слушала, сидя за работой. А то, бывало, она сядет за рояль и начнет петь; славный у нее тогда был голос! Теперь она уж не поет. Нечего и прибавлять, что отношения наши были самые чистые. Я смотрел на нее с благоговением влюбленного и тайлил любовь про себя. А она? Она просто была неузнаваема. Куда девались ее прежняя манера, ее резкие выражения, громкий смех, смеющийся, жуткий взгляд ее, полуоткрытые костюмы? Она стала какая-то тихая, спокойная,

робкая и даже застенчивая; платья носила самые скромные. Она стыдливо краснела, если нечаянно обнажался ее локоть или открывалась шея. Она быстро поправляла рукав или воротник и, точно маленькая, готова была расплакаться, если, казалось ей, я бывал не в духе. Глядя на нее, я считал ее самой скромной и целомудренной женщиной на свете.

Она умела хорошо рассказывать. Из того немногого, что она рассказывала тогда о себе, и знал только, что она кончила курс в институте, жила долгое время за границей и что отец и мать ее живут в провинции. О них она говорить не любила и раз на вопрос мой о том, часто ли она переписывается с матерью, отвечала как-то неохотно. Она любила вспоминать жизнь за границей. Италия на нее произвела большое впечатление; она там училась петь, мечтала о карьере артистки, все, казалось, складывалось удачно, но...

— Но, — уныло добавила она, — вышло совсем не так.

Больше она ничего не сказала. Я, разумеется, не спрашивал.

Обыкновенно я просиживал у нее до обеда;

к обеду возвращался домой. Все были уверены, что я был на лекциях.

Но мать чуяла что-то недоброе и заметно волновалась. Обыкновенно спокойная, ровная, она стала раздражительна, пытливо всматривалась в мое лицо и отворачивалась неудовлетворенная. Чаше стала она говорить на тему о женском коварстве, вызывая обычную добродушную улыбку на лице Наташи. Нередко по вечерам она тихо подходила к моей комнате, чуть-чуть приотворяла двери и заглядывала, не решаясь войти. Я звал ее. Она хитрила, объясняя каким-нибудь пустым предлогом необходимость зайти в мою комнату, и тревожно справлялась о моем здоровье. Когда я отвечал, что здоров, она, по обыкновению, обхватывала мою шею руками и, заглядывая мне в глаза, пытливо спрашивала:

— Правда?

Но, несмотря на утвердительный ответ, в ее добрых, нежных глазах заметна была тревога. Она грустно качала головой и тихо уходила из комнаты.

Наташа, очевидно, заметила, что я изменился, но делала вид, что ничего не замечает,

а между тем я часто ловил на себе ее беспокойный взгляд. Наташа не спрашивала; не в ее манере было мешаться в «чужие дела», как она говорила.

Раз только, когда у нас зашел спор — она очень любила «теоретические» споры — о пожертвовании во имя долга, и я горячо доказывал, что тяжелее всего пожертвовать чувством к женщине, Наташа взглянула пристально на меня и тихо, совсем тихо прошептала:

— Уж не влюбился ли ты, Вася?

— Что за вздор! — отвечал я, вспыхивая.

— То-то! — строго заметила сестра. — Ты — натура несчастная. Полюбишь — пропадешь! Помнишь наши беседы? Как ни тяжело, а приходится побороть чувство, если не хочешь только для себя одного жить!

Она говорила это спокойно, просто, и глубокое убеждение звучало в ее словах. Слова ее не шли вразрез с делом. Она — я узнал от нее после — в это время сама переживала тяжелую борьбу. Она любила, но отказалась от счастья любви. Любимый человек не откликнулся на ее зов, не шел туда, куда звала его

наташина вера.

Хотя Наташа и говорила, что надо «побороть чувство», но тон ее голоса, беспокойные взгляды — все подсказывало мне, что она и сама не верила, что я способен на такое самопожертвование.

«Ты какой-то Василий блаженный!» — называла она меня нередко.

И точно я «блаженный», это слово идет ко мне. Ни силы, ни воли! Так, куда меня бросало, там я и закисал. Мечтатель какой-то. К деньгам я чувствовал полное равнодушие, честолюбия никакого, не знаю, есть ли и самолюбие. Я больше скорбел, но редко возмущался. Жалости много было во мне, а энергии никакой. Трусость какая-то! Иной раз прочтешь книгу — плачешь, а робеешь перед всяким человеком, высказывающим решительно и с апломбом такие мнения, за которые можно краснеть. И дурак дураком стоишь перед ним.

«Из тебя археолог, пожалуй, выйдет! — грустно шутила, бывало, Наташа. — Очень уж ты всего боишься!»

Она рвалась на подвиг, а я? — я малодушно сочувствовал и усиленно зарывался в

книжки, точно в них укрывался от страха перед жизнью.

Я продолжал навещать Зою и с каждым днем привязывался к ней сильнее. Я трусил ее блестящей красоты и любил ее с робостью и страстью первой любви. Она умела быть всегда милой, казалось, понимала меня и пугалась, что я мало занимаюсь, но я наверстывал время по вечерам, а дни мы проводили, как два наивные, смешные любовника.

Мы старались как можно более говорить; молчания боялись и даже вспыхивали, взглядывая друг на друга, точно нам было стыдно, что оба мы были молоды, и страсть невольно бросала яркий румянец на наши щеки. Особенно я боялся и, вероятно, боялся оттого, что так часто хотелось броситься к ней, целовать ее лицо, руки. Кровь стучала в виски словно молотом, я стремительно отодвигался и ходил по комнате, считая себя преступником за то, что во мне были такие «нечистые» желания... Это ей, кажется, нравилось и вместе с тем сердило ее. Помню я, как-то раз сидели мы молча. Я глупо смотрел на ее шею и вздрагивал. «Что с вами?» — спросила она, надвигаясь ко мне.

гаясь на меня и заглядывая через плечо близко, совсем близко к лицу. Ее горячее, неровное дыхание обжигало меня, и я просто замер от страха, оробел совсем и глупо бросился в сторону, как спуганная птица. Зоя как-то странно, даже сердито усмехнулась и закусила губы, а я, считая себя каким-то недостойным ее негодяем, жалостно глядел кругом, ища шапку, и малодушно убежал. После этого я несколько дней не смел к ней придти.

В один из таких дней я был в театре и после спектакля долго бродил по улицам в каком-то особенно счастливом настроении. Мне думалось в эти минуты, что я не совсем чужой Зое. Я вспоминал ее слова, ее ласковые взгляды, улыбки, тихое пожатие рук и вспомнил о себе. «Вот, Первушин, и на твоей улице праздник! Знай наших!» — повторял я. Я всегда был мнителен и недоверчив к себе, а тут вдруг я почувствовал какую-то отвагу и гоголем шел по улицам. Я проходил в это время по Большой Морской, в нескольких шагах от Бореля*, как вдруг слышу знакомый голос и шаги на лестнице. Я поспешил. Мимо меня проходила Зоя под руку с каким-то полковни-

ком. Но та ли это Зоя? Она висела на руке у полковника, громко хохотала и, показалось мне, была пьяна. Полковник, нисколько не стесняясь, усаживал ее в карету. Я подвинулся еще ближе, и, казалось мне, она узнала меня. Карета покатилась, но мне послышался из кареты крик.

Я остолбенел. Я не помню, как я провел эту ночь, знаю только, что вернулся домой утром. Бедная мать не спала, дожидаясь меня, и при виде меня ужаснулась; должно быть, у меня был расстроенный вид, вдобавок я был без фуражки.

— Вася, что с тобой, родной мой, скажи?

— Ах, мама, не спрашивайте!.. оставьте меня! — сухо отвечал я.

Она раздела меня, уложила спать и, по обыкновению, перекрестила. Я спать не мог; горячие, обильные слезы смачивали подушку, и когда мать пришла ко мне и, присев на кровать, молча стала ласково гладить меня по голове, я припал к ее чудной руке и, обливаясь слезами, робко признался, что люблю... женщину. На мать это открытие произвело ужасное впечатление.

— Кто она, кто эта скверная женщина, которая погубила тебя? — спросила она.

— Она, мама, не скверная... И зачем вам имя?.. Все равно... все кончено.

Но, по правде сказать, сердце мне подсказывало, что далеко не все кончено. Я непременно хотел видеть эту «скверную» женщину. Я вытерпел неделю, но дальше терпеть не мог и пошел к ней.

Степанида, как и всегда, отворила мне двери и пропустила в гостиную. Зоя лежала на диване. Увидав меня, она радостно вскрикнула и бросилась ко мне, но, когда я подошел поближе, она побледнела и остановилась как вкопанная.

— Что с вами?.. Вы нездоровы?.. На вас лица нет! — спросила она.

Я шел с намерением сказать слова упрека, но какой тут упрек! Она не смела взглянуть на меня и стояла, опустив голову, словно виноватая. С минуту длилась эта тяжелая сцена.

— Вы видели?.. — едва слышно проговорила она, не поднимая глаз.

— Видел! — еще тише и еще робче ответил я.

— И вы все-таки... пришли? — сказала она с таким чувством благодарности, что я больше не мог...

Я зарыдал и припал к ее руке...

— Ты меня любишь?

— Разве ты не видишь!

— Меня? — переспросила она совсем упавшим голосом.

— Тебя!..

— Знаешь ли ты, кто такая я?

— И знать не хочу... ты для меня...

— Я ведь содержанка... я — продажная женщина! — вдруг вскрикнула она, отталкивая меня.

Но подите же! Если бы она сказала что-нибудь еще хуже, что мне за дело? Я все так же любил.

— Я люблю тебя, Зоя, а ты? — робко осмелился спросить я.

— Смею ли я?.. — воскликнула она, обливаясь слезами радости и бросаясь ко мне на шею. — Я давно люблю тебя... ты такой хороший! — застенчиво шептала она. — Господи, какое счастье!..

То были счастливые дни...

Зоя совсем изменилась. Она покончила с прошлым, бросила старые знакомства, продала все свои брильянты и перебралась на маленькую, скромную квартиру. Любила она меня с какою-то страстной нежностью; в этой любви была нежная забота матери и страсть любовницы. Она ухаживала за мной, как за ребенком, угадывала малейшее желание, старалась согнать с моего лица всякую тень и нянчилась со мной, как с любимой дитятей. Я снова попал с рук матери на руки любовницы. Опять от меня уходили куда-то всякие житейские дрызги. Никакая забота не должна была меня касаться. «Тебе надо заниматься!» — говорила Зоя, отстраняя все мелочи, из моего кабинета сделала какую-то святыню. Бывало, она входила ко мне не иначе, как на цыпочках. И какая веселая была она в то время!

Я и позабыл сказать, что, по моим настояниям, мы обвенчались. Свадьба была самая тихая. Ни отца, ни матери не было на свадьбе; была одна Наташа. Она только раз и видела Зою — они друг другу очень не понравились — и скоро после моей свадьбы исполни-

ла свою заветную мысль — уехала в деревню.

Я и теперь удивляюсь, вспоминая мою решимость действовать наперекор желаниям отца и матери.

Мать разузнала про Зою и с каким-то ужасом говорила о ней, не называя никогда по имени; в ее глазах такие женщины — развратные, скверные, падшие женщины, прикосновение к которым сквернит человека. Она не считала их способными на чувство и называла лицемерками, губящими людей. Хорошая, чуткая, нежная, она в отношении к женщинам, уклоняющимся от дороги добродетели, была безжалостна и жестка и не признавала в них ничего, никакой хорошей черты; все в них, по ее мнению, ложь и разврат, и нет для них достойного наказания! Сама крайняя идеалистка, несмотря на то, что ее чувство было помято самым жестоким образом, мать с пуританской строгостью исполняла свой долг, как она называла, и, отдаваясь нелюбимому человеку, — в отце она сильно разочаровалась и не любила его давно! — считала себя «верной долгу» и имеющей право относиться без сожаления к тем женщи-

нам, которые «торгуют любовью». Странное противоречие! — скажете вы. Но в ней это было логично, естественно, понятно.

Когда я объявил матери о моем намерении, она просто замерла.

— На ней? На этой?..

— Мама, — перебил я ее, — не оскорбляйте ее хоть при мне. Она хорошая женщина. Она так меня любит!

— Вася, милый мой... опомнись... еще есть время!

И она стала уговаривать меня, умолять, рисовать печальную участь.

Но, видя, что ничего не помогает, она ожесточилась и более ни слова об этом не говорила, и просила, как милости, никогда при ней ни слова не упоминать об «этой женщине».

С тех пор бедная мать зачахла и на другой день моей свадьбы уехала за границу, где через год и умерла на руках у Наташи, поспешившей к ней приехать. Мне дали знать, но уже было поздно.

С отцом объяснение было коротко. Он тоже знал о прошлом Зои и сказал мне:

— Ты знаешь мои взгляды, и потому я объ-

являю тебе: если ты женишься на «этой даме», ты нанесешь позор нашей фамилии и... тогда я попрошу тебя прекратить посещение моего дома и не считать себя в числе моих наследников.

Странный человек был отец! Он удивительно дорожил честью и в то же время не считал дурным быть ростовщиком.

Одна Наташа не упрекала, не грозила. Она только грустно, так грустно обняла меня и сказала:

— Что я скажу, Вася? Мы не раз говорили. Будь, по крайней мере, счастлив, если можешь!

Вот и все, что она сказала.

VI

Прошел год самой счастливой жизни.

Я сдал кандидатский экзамен. Давно пора было подумать о средствах к жизни, и это меня очень смущало. Я всегда был в этом отношении какой-то «блаженный», совсем непрактичный. Год мы прожили на средства Зои; она и думать не хотела, чтобы я зарабатывал. «Тебе сперва кончить курс надо», — говорила постоянно она и не переставала окру-

жать меня самым заботливым вниманием. А я, признаюсь, и не обращал внимания на то, что у меня и платье новое, и белье сшито, и книги покупаются мне, точно было все равно, в каком я платье и какое на мне белье, книгам я бывал рад, и Зоя знала мою слабость.

А средства Зои приходили к концу, и, когда я кончил курс, она не раз намекала, что теперь моя очередь позаботиться об «уютном гнездышке». Вот в том-то и была моя ошибка. Гнездышка, да такого, какое любила Зоя, я не сумел свить! Зою видимо смущало мое неумение. Ей хотелось жить, не рискуя потерять нежность кожи на кухне, она любила хорошо одеться и жить в «уютном гнезде» с цветами, жить оседло, спокойно, а не по-цыгански, — обо всем этом я уж после догадался, когда уже было, пожалуй, и поздно! — а я, напротив, ко всему этому был равнодушен и по рассеянности не замечал даже, на чем я сижу. Это ее даже раздражало.

Знаете ли, есть на свете такие неловкие, добродушные рохли, которые ничего толком не могут устроить, ни к чему приурочиться и живут, точно дети, не думая о завтрашнем

дне. Таким людям я советовал бы никогда не жениться, право... Я много работал, перечел много книг, написал длинное исследование о падающих звездах, а составить счастья Зое не мог. Я находил, что самое лучшее — давать уроки, и зарабатывал рублей шестьсот в год, но Зоя находила, что этого мало для гнезда, и входила в долги. Впрочем, эта скучная материя меня и не касалась. Хозяйство было на руках Зои. Она начинала понемногу тяготиться хозяйственными дрязгами.

Она, бедняга, ошиблась, подозревая во мне характер, а именно характера-то у меня и не было. Приобретать на гнездо я не умел, — не то, что не хотел, а просто не умел, — и, признаюсь, никогда и не подозревал, что гнездо обходится безобразно дорого. Сам я человек нетребовательный, мне бы дорваться до кабинета, засесть за тетрадки и слушать, как Зоя поет. Хорошо так! Зоя же находила, что хорошего в этом мало, что это «сентиментально-глупо», что уроки — глупости, что надо место и что нельзя же жить Робинзоном — совсем скучно.

— К чему ж ты учился? — нередко задава-

ла она вопрос. — Разве ты хочешь из меня кухарку сделать? Я этого не хочу!

Я закрывал ей уста поцелуями, но Зоя, видимо, начинала скучать. Вечно вдвоем с таким сурком, как я, действительно было скучно такой женщине, как Зоя.

Она решила сама помочь мне и отправилась, скрыв от меня, к одному из бывших своих покровителей, весьма влиятельному дельцу. Устроилось дело как будто без ее помощи: я получил прямо предложение и приглашался к известному барину. Пришел — и оробел. Он вдобавок меня принял с какою-то насмешливой снисходительностью и разглядывал меня, точно весьма редкий экземпляр, — так я был глуп, неловок и застенчив. Бедная Зоя! Если б она знала, какое скверное впечатление произвел ее муж! Меня посадили и спросили, на что я способен, и я по совести сказал, что едва ли я на что-нибудь способен в том деле, на какое меня приглашали.

— Так зачем же вы просились? — с изумлением спросил меня барин.

— Я вовсе и не просился. Вы сами пригласили меня.

«Барин» переглянулся со своим секретарем и заметил:

— Все равно, супруга ваша просила. Вы давно женаты?

— Недавно.

— Во всяком случае, я готов предложить вам место в тысячу пятьсот рублей. Дела почти никакого, изредка только помещать заметки в газетах.

Он объяснил, в чем дело, какие именно заметки, и ждал ответа. Разумеется, какой ответ! Я извинился и отказался, недоумевая, как это предлагают такие большие деньги, когда никакого дела нет.

Мы раскланялись, и, уходя, я ясно слышал голос барина, пославшего мне вслед «дурака».

Я понял, что в глазах барина я был дураком, но удивился, когда и Зоя, выслушав мой подробный рассказ о свидании, назвала меня тоже дураком.

Я промолчал и ничего не сказал о том, что мне известно, кто просил за меня. Она тоже об этом умолчала. Тем первая попытка и кончилась.

С тех пор Зоя, кажется, стала считать меня

дурачком и решительно не могла придумать, что ей со мной делать. Когда, бывало, я говорю ей нежные слова, когда ласкаюсь к ней, она по-прежнему нежна, ласкова, но когда мясники начинали приставать с просьбами денег, она становилась все пасмурнее.

Наступила осень нашего мира. Дела шли все хуже и хуже; долги росли, а я и в ус себе не дул. Принесу Зое пятьдесят или шестьдесят рублей да и считаю, что сделал свое дело.

А она, бедняжка, начинала сердиться.

Сперва она подумала, что я ее не люблю, но когда раскусила меня получше, то поняла, что я «блаженный», и стала меня исправлять.

Начались, так называемые на языке супругов, сцены. Сперва шли сцены, так сказать, предварительные, но они меня как-то не понимали, бог уж знает почему, вернее всего, что я их не всегда понимал. Я, бывало, приму порцию «сцен» и после них еще лезу целоваться.

Стала Зоя хандрить. Частенько замечал я на глазах ее слезы.

— Что с тобой, Зоюшка?

— Ты разве не видишь?

— Ей-богу не вижу. Разве ты несчастлива?

— Да разве такая жизнь — счастье?

— Какая? — робко спрашивал я, все-таки ничего не понимая.

Она обыкновенно таращила на меня глаза и называла «блаженным дураком».

Печально плелся я в кабинет и долго ходил взад и вперед, ломая голову над вопросом, как бы перестать быть, в самом деле, дураком?

Стал я искать места и нашел в гимназии место учителя, но оттуда меня скоро выгнали. И там нашли, что я «неподходящий». Почему «неподходящий» — мне, разумеется, не объяснили, хотя деликатно заметили, что я слаб с учениками и вообще рассеян. И в самом деле, как подумаешь, я был самым неподходящим человеком!

Бедняжка Зоя серьезно захандрила к концу второго года, особенно как за долги чуть было не продали нашего имущества. Она серьезно стала упрекать и пригрозила, что оставит меня, если...

Она точно не умела формулировать свою мысль и потому dokonчила:

— Если ты будешь такой же... дурак!

Я струсил и обещал не быть дураком. Легко было обещать! Но как исполнить это обещание?

Зоя в тот день была в нервном возбуждении и вечером уехала в театр.

Стала она чаще уходить из дому. У нее завелись свежие костюмы, за обедом появлялась некоторая роскошь, у меня явилась новая пара. «Ну, — думал я, — Зоя приучилась хозяйничать» (я в это время зарабатывал до тысячи рублей), и радовался этому сперва. Но вместе с этим Зоя делалась какая-то странная и неровная. Стала чаще сердиться на меня; то, бывало, бранит меня, то со слезами на глазах припадет ко мне, да так и замрет.

Я не понимал, что делалось с бедняжкой, и только тихо гладил ее несчастную голову.

Временами она переставала уходить из дому. Сидела дома подле меня, просила рассказывать ей свои «блаженные мечты», как она называла мои мечты. И я, бывало, рассказывал ей... Как-то невольно разговор переходил на Наташу, на ее деятельность. Я горячо вспоминал сестру.

Зоя слушала, тихо улыбаясь и задумываясь, и не обрывала меня, как прежде, не называла глупеньким, напротив, становилась ласковой и, крепко прижимаясь ко мне, вся вздрагивая, точно подстреленная птица, она тихо шептала: «милый мой!».

И я снова был счастлив!

Но проходил месяц, другой, Зоя опять исчезала из дому и снова нервничала.

Памятен мне один вечер. Это было зимой. Сидел я у себя в кабинете и читал, как пришла ко мне Зоя. Смотрю на нее: бледна, сама вся дрожит, глаза грустные.

— Вася! Разве ты не видишь?.. — сказала она каким-то отчаянным голосом.

— Что, Зоя? — спросил я, а сердце так и замерло.

— Глупый! Я... я скверная жена... я...

Она не досказала. И к чему было досказывать? Убитый ее вид все досказал.

Мне стало страшно холодно, точно я очутился в темной пропасти. Теперь только понял я, что принимал я за экономию. Дурак, дурак! Бедная Зоя!

Я глупо молчал, не смея поднять глаз.

Наконец я стал утешать ее. Это ее взбесило.

— Он еще утешает! — воскликнула она, нервно рыдая. — Женщина, которую он любит, говорит, что изменила ему, а он еще утешает! Ты должен бы наказать меня, плюнуть на меня, бить такую женщину, тогда, по крайней мере, я бы видела, что тебе больно, а вместо этого ты же утешаешь! Какой ты мужчина! Ты... тряпка! — добавила она и чуть ли не с презрением взглянула мне прямо в лицо.

Мне... бить!? Эта мысль показалась мне до того неестественной, что я не знал, что и сказать.

— Что ты говоришь, Зоя? Тебе самой разве легко? К чему еще упреки! Если тебе тяжело, значит вперед этого не будет!

— А если будет? — резко крикнула Зоя.

Я окончательно смешался.

— Что ж ты молчишь... говори!

— Если будет... — начал я, чувствуя, что слова с трудом выходят из груди и звучат глухо, — если будет... значит... иначе нельзя, и ничто не поможет.

— Да скажи наконец: добрый ты или глу-

пый?

— И добрый, и глупый, кажется, вместе, Зоя! — тихо отвечал я, не смея взглянуть на нее.

— Хороший ты! — вдруг вырвался из груди ее какой-то скорбный крик, и она стала целовать мои руки.

Мне стало стыдно, страшно стыдно. Она же целует, точно благодарит за что-то. Я отдернул руки. Что было потом — этого не передать. Есть счастливые минуты, их можно только пережить, рассказать их невозможно.

Опять Зоя как будто сделалась счастливой или, по крайней мере, старалась быть счастливой. Снова повела жизнь затворницы и довольствовалась тем небольшим кружком двух-трех приятелей, которые у нас бывали. Она даже пробовала искать работы, ей отыскивали, но это была скучная работа (переписка банковских счетов), и она ее бросила. Я, бывало, предлагал ей развлекаться, поехать в театр вместе, но она упорно отказывалась.

— Не предлагай, Вася. Я боюсь.

— Чего боишься?..

— Блеска, Вася, людского шума. Он щеко-

чет нервы. Ты не понимаешь этого, ты слишком чист, а я... я испорченная. Меня тянет туда... я люблю этот блеск, люблю, когда на меня смотрят, любят... я тщеславна, хороший мой. Нет, нет, останемся вдвоем. Это пройдет, это должно пройти! Ах, зачем у нас нет детей! — вдруг шепнула она, ласкаясь.

Она дивилась мне, дивилась моей жизни, моей беспритязательности.

— Неужели тебе хорошо?

— Еще бы! А тебе, Зоя, скажи правду? Ты ведь знаешь — я верный друг.

— Иногда — да, иногда — чего-то недостает, но это вздор, не обращай на это внимания... говори только чаще, что ты меня любишь. Ведь ты сильно меня любишь, или только привык?

— Зоя, Зоя! Разве ты не видишь!

Мало-помалу Зоя, казалось, стала примиряться с нашей серенькой жизнью (я не догадывался, что она пересиливала себя!); сузила расходы и как будто перестала пугаться перспективы скромной бедности. Нас навещали приятели, завелось два-три знакомства с семейными домами. Зоя страстно занялась хо-

зьяйством — откуда только у нее уменье взялось! — сама бывала на кухне, усчитывала гроши, чтобы свести концы с концами.

Я перестал скорбеть за Зою. Мне она казалась счастливою.

В ту пору случилось следующее обстоятельство: умер мой отец и оставил наследство. На мою долю приходилось двадцать тысяч, но эти деньги я никогда не считал своими, да и не мог считать своими. Уже давно мы так решили с Наташей и, пожалуй, именно благодаря Наташе, и я так решил, — об ней нечего и говорить. Деньгами этими я не считал себя вправе воспользоваться, — ни одним грошом.

Правда, меня несколько смущала Зоя. Не должен ли я отдать эти деньги ей? Но колебания прошли скоро. Я не мог поступить иначе и отправил их Наташе. В ответ я получил от нее горячее письмо, точно я совершил подвиг какой-то. А какой тут подвиг?

Но из-за этих денег и случилась беда. Я об них не говорил ничего Зое, не хотел смущать ее напрасно и сказал, что после отца ничего не осталось.

Однажды, возвратившись с уроков, я увидел Зою такой сердитой, какой никогда не видел. Бледная, губы дрожат, глаза злые.

Я потихоньку пробрался в кабинет. Она быстро вошла вслед за мной.

— Так вот ты каков! — сказала она.

— Что такое, Зоя?

— Еще спрашивает! Дурачок, дурачок, а тоже... ничего не сказал!

— О чем?

— Я все знаю. Я прочла письмо твоего «ангела».

Я потупил голову. Я в первый раз солгал ей и был пойман.

— Что ж ты молчишь? Зачем ты отдал деньги? Ты богач, что ли? — усмехнулась едко она. — Тебя, дурака, сестрица за нос водит, и ты отдал деньги бог знает кому, зачем?

— Зоя! Эти деньги не могли быть нашими.

— Как же! Я прочла письмо, написано хорошо, даже очень хорошо, но ты понял ли, что ты сделал? А еще говоришь, что любишь! Ты думаешь, мне мила кухня?

Она выходила из себя.

— Зоя, Зоя, успокойся!

— Молчи, дурак! — вдруг крикнула Зоя. — Ты что? что ты? Ты бог знает из-за чего, из-за глупых идей своего «ангела», отнял у любимой женщины возможность быть порядочной женщиной. Это честно, а? Ты видел, что со мной делалось, ты знал, кто я такая, ты видел, как я спотыкалась, но как я, искренно любя тебя, хотела быть честной женой и смотреть всем прямо в глаза. И что ты для этого сделал, что? Пальцем не пошевелил, только плакал, как дурак, и не мог даже заработать столько, чтобы любимая женщина не сделалась кухаркой? Это любовь?

Она говорила эти слова вся бледная, а глаза смотрели холодно, зло.

Я понял, что все кончено.

— Но я кухаркой не стану. Не мне ею быть. Я жить хочу, а не нянчиться с дураком. Слышишь? жить хочу, я говорила давно. И пеняй теперь на себя, если тебе что-нибудь не понравится.

Она кончила свою жестокую речь и, повернувшись, ушла. В дверях она остановилась, обернулась ко мне, с явным презрением оглядела мою смущенную фигуру, засмеялась ка-

ким-то резким, злым смехом и тихо сказала:

— Подлец!..

Эта история ожесточила Зою. Я пробовал, спустя несколько дней, объяснить ей, почему я так поступил, но она холодно взглянула на меня и попросила избавить ее от всяких объяснений.

Стала она после этого пропадать из дому. Мы переехали на новую квартиру. У нее появились наряды, брильянты... Она перестала стесняться. У нас стали бывать какие-то гости, молодые блестящие офицеры, подозрительные старички, и если я не успевал убежать в кабинет, она знакомила меня с ними, улыбаясь как-то странно, когда называла меня мужем. Я убегал в свой кабинет, в конце квартиры, но до моих ушей доносился нередко гул оргии и пьяный лепет веселых офицеров.

Скверно было мне, но какое право имел я упрекнуть ее? Разве я дал ей счастье? То ли я дал, чего она желала? Я совсем затворился и повел какую-то странную жизнь. Я хотел забыться совсем; я стал читать и пить, пить и читать. И в это время такие светлые мысли

бродили в голове, мечталось так хорошо, хорошо... Я совсем забыл действительность и стал жить другой жизнью, какой-то фантастической. Понемногу я пристрастился к вину, потерял уроки и совсем опустился. Стал трусить Зою.

Она не оставляла меня одного в моей комнате. Она глумилась надо мной ядовито, с ехидством и остроумием умной женщины, называла дармоедом, предлагала мне взять ее на содержание. До этого даже доходило!

Что мог я сказать? И к чему? Несмотря на все это, я втайне любил ее и как еще любил! Подите ж. Мне даже казалось, что она обходилась так со мной, чтобы заглушить свои страдания.

А что она страдала — иначе и не могло быть. Помню, это было год тому назад. Нездоровилось мне, сильно болела грудь, и я прилег на диван. Я не спал, а так, мечтал с открытыми глазами. Вдруг знакомые шаги. Избегая сцены, я закрыл глаза. Слышу: она тихо подходит к дивану, вот подошла совсем близко. Я чувствовал ее дыханье. Я вдруг открыл глаза и привскочил... Она тихо целовала мою руку,

обжигая ее слезами.

Я обвил ее шею рукой и ни слова не говорил. Я знал, что мои слова только раздражают ее, а она глядела на меня кротко, так кротко, и грустно качала головой.

— Бедный ты, Вася... Бедный мой! — проговорила она.

— Что ты, Зоя? Какой я бедный!

Она улыбнулась сквозь слезы и присела около. Целый вечер не отходила она от меня. Какой я «бедный»? Сердце было так полно, мне было так жаль ее!

— А зачем ты пьешь? Разве я не понимаю?

— Я брошу, Зоя! Брось и ты! Это здоровье губит.

— На что оно мне!

Так перекидывались мы словами и долго просидели вдвоем.

Мы оставили квартиру, переехали на другую. Зоя снова пробовала приучить себя к скромной жизни, но эти пробы оканчивались очень скоро, и она снова начинала кутить. Чем более она кутила, тем становилась раздражительнее относительно меня. Наконец однажды она объявила, чтобы я уезжал с

квартиры. Я тихо отвечал, что завтра же уеду.

Но — странная натура у Зои! — ответ мой окончательно вывел ее из себя. Она вдруг бросилась на меня... занесла руку... и ударила!

Через полчаса она уже валялась в ногах, просила остаться, и мне стоило большого труда успокоить ее.

Я пил сильнее и сильнее и на все как-то махнул рукой. Но вчера получил от моей ненаглядной Наташи письмо. Она зовет меня в деревню и, если я не приеду, обещает сама меня увезти. По письму видно, что она подозревает о моей жизни. Зоя прочитала письмо и стала оскорблять Наташу. Это уж слишком... Это... Я не могу...

Первушин кончил. Он был взволнован и несколько пьян. Он было протянул руку к графину, но я его остановил.

— Послушайте, Первушин, вы губите себя.

— Да разве я и без того не пропащий человек? Что я?

Я его старался успокоить и доказывал, что поездка в деревню освежит его, поправит здоровье.

— Только поедете ли вы?

— Поеду! — решительно отвечал он. — Довольно! Скверне так. Непременно поеду и — кто знает — быть может, и Зоя приедет к нам. Ведь она хорошая, как вы думаете? Ведь славная, а? — торопливо заговорил он и закашлялся.

Первушин даже оживился и несколько раз повторял, что непременно поедет. А я тоскливо взглядывал на Первушина. Худое, с чахоточным румянцем лицо, впалая грудь и скверный кашель — все говорило, что вряд ли ему придется начать новую жизнь.

Мы вышли на улицу.

— Вы разве не домой? — спросил я, когда он стал прощаться со мной.

— Нет... Зайду к одному приятелю. Пусть ее гнев пройдет. Зачем раздражать бедную Зою!

VII

Прошло три дня. Первушин не возвращался. В первый вечер Зоя Михайловна уехала куда-то из дому, но на другой день попросила меня к себе. Я пришел к ней. Она извинилась, что потревожила меня, и спросила:

— Где муж, не знаете ли вы?

Я сказал, что, когда мы расстались, он пошел к приятелю.

— Пил он? — тревожно спросила она.

— Немного.

— А я ведь вас просила! Ему так вредно пить! — с упреком проговорила она.

— Василию Николаевичу в деревню бы надо, Зоя Михайловна, — сказал я.

— А что, что? — испугалась она и вся вытянулась, словно боясь проронить слово.

— Плох он. Ему серьезно лечиться надо.

— Плох... — едва слышно повторила она, — плох...

Я не ожидал, что она так примет известие. Куда девалась ее улыбка? Она вся как-то замерла; глаза стали печальные.

— Но где ж он... где Вася? — вдруг встрепенулась она. — Степанида! Степанида! Поезжай, родная, скорей... отыщи барина, вот адрес... Нет, лучше вы, прошу вас.

Она умоляла меня сейчас же ехать. Я, конечно, не заставил себя просить и уехал по адресу, но там я его не застал и ничего не узнал.

— Ну что? — встретила она, трепетно ожидая ответа.

Я рассказал ей о своей неудаче.

— Господи! Не случилось ли чего?

Она была в ужасном страхе. Бледная, взволнованная, она то нервно ходила по комнате, то садилась и, опустив голову на руки, тихо рыдала.

Наступил вечер. Мы молча сидели вдвоем и прислушивались: не позвонят ли? Сколько раз ей казалось, что звонят, она стрелой летела в прихожую и возвращалась печальная: никого не было. Но вот раздался робкий звонок. Мы бросились в коридор, но Степанида предупредила нас.

Первушин робко, словно виноватый, пробирался тихими шагами. При свете лампы он казался какой-то тенью живого человека, — такой худой, бледный, приниженный. Только глаза его лихорадочно горели.

Зоя Михайловна бросилась на него с каким-то радостным стоном.

Она не могла говорить. Она смеялась и плакала в одно и то же время. А Первушин совсем оробел. Он глядел на нее своими боль-

шими, короткими глазами и точно не понимал, во сне ли все это или наяву.

У Первушиных, казалось, наступил новый медовый месяц. Надо было видеть, как ухаживала за ним Зоя Михайловна! Нечего и говорить, что она не отходила от него ни на шаг. Но бедняк уже слег. Изнурительная лихорадка уложила его в постель. Лучшие доктора были призваны к нему; они стучали в грудь и скверно качали головами.

Зое Михайловне они ничего не сказали, но мне объявили, что надежды никакой, и жить ему осталось очень мало, несколько дней. Чашотка в последней степени!

Я сидел у себя в комнате, когда ко мне заглянула Зоя Михайловна.

— Ну, что, что они сказали? — едва выговорила она, со страхом заглядывая в мое лицо.

Я обнадежил ее, как умел. Она тихо взяла меня за руку и с умоляющим видом спросила:

— Вы правду говорите? Он будет жить? Ведь будет?

— Конечно.

Она ушла от меня с надеждой.

А Первушину с каждым днем становилось

хуже; он подолгу забывался, силы, видимо, оставляли его; доктор ездил два раза в день и, уезжая, предупреждал меня, что дело скверное.

Грустная тишина была в комнате больного. Первушин, исхудалый, без ропота, без жалоб, лежал на своем диване. Зоя не оставляла его ни на минуту и все время проводила около мужа; она сама похудела, осунулась, глаза ввалились. Я предложил было заменить ее, но она решительно отказалась. Первушин молча глядел на Зою своим кротким взором, и на лице его была такая счастливая улыбка...

— Знаешь ли, о чем я тебя попрошу, Зоя, милая моя! — как-то однажды сказал он.

— О чем, голубчик?

— Попроси Ивана Петровича написать телеграмму Наташе. Пусть Степанида снесет. Я бы желал видеть сестру.

— Еще бы, сейчас! — проговорила Зоя и вдруг испуганно прибавила, — а тебе разве хуже... ты...

Она боялась досказать.

— Нет, Зоя, мне лучше. Ты не пугайся, милая моя. Мне просто хочется взглянуть на На-

ташу. Я верю, что я буду жить, мне хорошо.

Но он вдруг закашлялся, беспомощно прижимая маленькие руки к своей впалой груди.

— Все это пройдет, — опять заговорил он. — Я так счастлив, так счастлив... как же не жить? За что умирать? — шептал он, протягивая прозрачную руку Зое.

Зоя тихо сжимала ее в своей, а сама отворачивалась, чтобы скрыть слезы.

Когда телеграмма была написана и отправлена, Первушин, видимо, обрадовался.

— Вы увидите, — обратился он ко мне, — какая Наташа славная. Ты, Зоя, полюбишь ее. Она добрая. И ты ведь добрая!

Но что случилось с Зоей? Она глухо рыдала, припав к руке Первушина.

— Зоя, что с тобой, что?.. — растерянно спросил он.

— Простишь ли ты... меня?..

— Простить? — он кротко улыбнулся. — За что тебя простить, глупенькая? Не плачь же. Мы будем счастливы, уедем отсюда с Наташей в деревню. Там хорошо так. Много воздуха, лес, цветы.

И Первушин начал мечтать о том, как он

начнет новую жизнь, как он поедет.

— Еще неделю, другую, а там и поедем, правда?

А голос его все слабел и слабел. Ему было трудно говорить много. Он задыхался.

Зоя сидела, как убитая.

Наступил вечер. Василий Николаевич заснул. Мы молча сидели около. Степанида тихо всхлипывала в коридоре. Мерно тикали часы. Вот пробило восемь, девять. Первушин кашлял. Ему дали лекарство.

— Какой чудный сон, Зоя! Зоя, ты здесь?

— Я здесь.

— Где ты, Зоя, Зоя, Зоюшка! — жалобно спрашивал он.

Она нагнулась к нему, но он ее не узнавал и все повторял:

— Зоя, Зоя... не оставляй меня.

Зоя едва удерживала рыдания.

Скоро больной пришел в себя. Ему стало значительно лучше. Он присел на постели, попросил чаю и так бодро говорил, что Зоя стала надеяться.

— Видишь, мне совсем хорошо. Завтра, пожалуй, и встать можно, Иван Петрович? А ты,

Зоя, усни, голубушка! Ты устала. Экая славная ты натура, Зоя, золотое сердце какое у тебя!

Первушин попросил есть и сказал, что теперь уснет.

Скоро он заснул.

— Ему лучше, правда? — шепотом спрашивала меня Зоя.

— Гораздо. Вы отдохните-ка.

Она села в кресло и скоро заснула, взяв с меня слово, что я ее разбуджу, как только больной проснется.

Первушин спал до утра. Но утром он стал метаться. Я разбудил Зою. Она едва успела подбежать к постели, как вдруг Первушин приподнялся, открыл рот, жадно глотая воздух, опустил его, тяжело прохрипел, вытянулся — и в комнате водворилось мертвое молчание.

Зоя бросилась к нему, заглянула в глаза. Они кротко глядели по-прежнему. Я тихо отвел ее от трупа. Она не противилась и послушно отошла. Я закрыл покойнику глаза.

Я занялся распоряжениями насчет похорон. Зоя ничего не могла делать; она сидела целые часы молча. Она точно окаменела. Пе-

чальное выражение застыло у нее на лице, да так и осталось. Она не выронила слезинки и, когда о чем-нибудь ее спрашивали, отвечала автоматически.

На третий день приехала Наташа. Покойный недаром ею восхищался. Она вошла веселая, здоровая, свежая (мы не упоминали в телеграмме, что брат болен), но, когда увидела наши лица, бросилась прямо в гостиную и припала к брату.

С Зоей она обошлась холодно. Но Зоя, казалось, ничего не замечала и по-прежнему сидела у себя в комнате. На похоронах Зоя шла молча, опустив голову. За это время она постарела. Она была по-прежнему хороша, но горе уж наложило на нее свою печать.

На другой день Степанида пришла ко мне и объявила, чтобы я искал себе квартиру.

— А Зоя Михайловна?

— Мы уезжаем. Продадим только вещи.

— Куда?

— Не знаю, — печально ответила Степанида.

В тот же день в квартиру стали являться покупатели: маклаки*, еврейки, и через день

квартира опустела. Зоя Михайловна продала решительно все: мебель, вещи, все свои платья.

— Только черное, шерстяное, голубушка, на себе оставила. И все куда-то торопится и не торгуется вовсе! — говорила Степанида.

Я уложился и пошел проститься.

Она сидела в пустом кабинете. При моем появлении она вздрогнула.

— Это вы? — обернулась она и поднялась с ящика.

— Я пришел проститься, Зоя Михайловна.

— Прощайте. За все спасибо вам. Дай вам бог всего хорошего! — сказала она и крепко пожала мне руку.

— А вы?.. Вы уезжаете?

— Да.

Мне хотелось было спросить у нее, что она думает делать, где жить, но она, очевидно, не желала продолжать разговор. Я пожелал ей душевного мира и вышел из комнаты.

Петербургские карьеры*

I. Агафья

I

В одной из изб небольшой деревеньки Тверской губернии собирали в столицу молодую бабенку Агафью. Старуха мать уже набила Агафьину котомку разным скарбом и засовывала туда еще сырники и небольшие сероватые хлебцы... Делая это дело, старуха лила обильные потоки слез, взглядывая на дочь, молчаливо сидевшую на лавке. Отец молчал. На его хмуром лице не заметно было никакого волнения. Он словно без всякого смущения глядел на отъезд дочери. Только изредка он посматривал на Агафью и, замечая на лице ее некоторый страх, тихо говорил:

— А ты, Агафья, не бойсь... Перво, как в Питер прибудешь, обратись к Никону, в Ямской. Так и спроси, мол, Никона, извозчика тверского... Тут у тебя прописано на бумажке... Он тебя научит... Не бойсь!.. — ободрял старик.

Агафья не говорила ни слова. В ее воображении Питер представлялся каким-то крошечным адом, где люди чуть ли не поедают

друг друга. Ее страху немало способствовали рассказы односельцев, особенно рассказы о ловких петербургских мазуриках. Она воображала, что только приедет в этот ужасный город, как немедленно мазурики возьмут у нее единственную ее «пятишницу». Затем (подсказывало ей воображение) что-нибудь особенное да случится... Что такое именно, Агафья никак не могла вообразить, но в ее голове рисовался ряд неясных, страшных картин.

— Готово? — спросил старик.

— Сейчас!.. Эко ты поспешный какой! — воркнула старуха. — Детище ведь свое!

— Нечего возжаться-то... Вон и Микита идет.

В избу вошел пожилой мужик Никита и, перекрестившись, спросил:

— Собрали?

— Собрали, — промолвил отец.

Все присели на лавку. Посидев несколько минут, молча стали молиться на образа.

— Ну, с богом, Агафья... Прощай. Смотри... в Питере не балуй... Так и ступай к Никону... Помни, Ямская... Пиши, когда на место поступишь.

— Прощай, Агафьюшка... берегись Питера-ту... Страсть он для бабы!.. Рубахи-то не потеряй... Сырники... Прощай, родненькая!..

Агафья простилась с отцом и матерью, села с Никитой в сани, и серая клячонка поплелась, увозя их от деревни. Несколько времени путники сидели молча. Наконец Агафья спросила:

— Дядя Микита... А, чай, тамotka страсти?

— Не бойсь, баба! — утешал ее Никита, хотя и он, никогда не бывавший в столице, полагал, что там страсти.

— Главное дело, — продолжал он, — Никона сыщи... Он весь Питер знает. Первый извозчик!

— А мазурики?! Нешто ты не слышал, как Левонтий про них рассказывал.

— Богу чаще молись! Опять же Никон... Он все знает.

— Страшно, дядя... город-то, сказывают, о-о-ох.

— Известно, Питер — столица.

К вечеру путешественники приплелись к Окуловской станции. Никита стал брать билет для Агафьи. В это время машина взвизгну-

ла, Агафья вздрогнула.

— Не бойсь! — утешал Никита. — Главное, богу почаще молись... Прощай... да на чугунке-то осторожней...

Раздался звонок, и Агафью втолкнули в вагон. Там шел храп и визг. Вошедшие стали искать мест, но мест не оказывалось. Вошел кондуктор и кое-как распахал новоприбывших по скамейкам. Села и Агафья. Машина тронулась.

— Ох... господи! — крикнула Агафья и стала креститься.

Испуганная, она так всю ночь и не спала. Наутро немного попривыкла. Однако выходить на станциях боялась. «Кто его знает, — думала она, — а как он меня оставит!» Так до самого Петербурга не вставала с места.

— Вы какие будете? — спросил ее сосед-лакей.

Агафья испугалась и крепко к груди прижала пятишницу.

— Деревенски будем!

— Ха-ха-ха... Вы в столицу первый раз, значит?..

— В первой.

— Значит, вы не знаете, как у нас там жить?.. Теперича я служил по местам и могу сказать, нонче очень трудно, по тому на кого попадешь...

— Это так! — подхватил кто-то.

— И вот что я вам скажу, — продолжал лакей, по-видимому ни к кому не обращаясь, — все зависит от того, как ты себя поведешь... С ними нельзя честью... Служил я у одного чиновника и думал честью — это я только в Питер-то этот самый приехал, и что же, братцы мои, — он мне за честь-то пяти целковых и недодал... Это за честь-то!..

— Ишь ты! — раздалось в вагоне.

— А ежели ты теперича где по благородным домам с карт доходы получаешь да, примерно, с булочной, то жить можно. Только он тебе слово, а ты ему не спущай, чтобы он не полагал!.. Вы в кухарки? — обратился лакей к Агафье.

— Бозныть... Куда бог приведет.

— Бистексу умеете сжарить?

— Ничего, родимый, не умею. А ты скажи мне, дуре, как? — проговорила нерешительно Агафья, боязливо поглядывая на лакея, в кото-

ром ее напуганное воображение старалось отыскать мазурика.

— Рассказать толку нет... А это самое узнать можно... Наперед, следственно, вы в судомоечки... Опосля по старанию и в куфарки можно выйтить!

Однако Петербург уже был близко, и в вагоне шли сборы. Стали одевать котомки, собирать узлы. Изредка раздавались восклицания:

— Где тулуп-то... братцы, а тулуп?

— Узел мой!

— Корзинка... Не трожь ты ее... Бога не боишься!

Агафья сидела ни жива ни мертва... Но вот поезд въехал в дебаркадер*. В вагоне стало темно. В это время Агафья почувствовала под своими мешками руку и взвизгнула.

— Что вы, — заметил лакей... — Аль испужались столицы? — засмеялся он.

В вагоне раздался хохот.

— Вы теперича куда?.. Как вас звать-то?

— Агафьей.

— Вы, Агафья Ивановна, куда?

— К Никону, тверскому...

В вагоне опять захихикали. Поезд остано-

вился; поднялась возня; всякий торопился выйти, и Агафью забыли.

Она не знала, куда идти, и все сидела на месте. Наконец последний выходивший мужик спросил:

— Что ж, баба, не идешь?

— Не знаю, дядя... покажи...

Мужик вывел ее на платформу, а затем и на улицу и, рассказав, как идти в Ямскую, оставил ее... Агафья окончательно испугалась столичного шума и стояла среди улицы, приговаривая:

— Господи!.. что же это!.. Господи!

Читателю, верно, случалось встречать на петербургских улицах баб, останавливающих прохожих с просьбой прочитать каракулями написанные адреса. Обыкновенно петербуржец на такую просьбу ответит: «Иди, матушка, прямо, а там свернешь налево и, как дойдешь до Троицкого переулка, сверни направо», — и прочее, и затем продолжает свою дорогу. А баба, занесенная в столицу, долго еще ходит по петербургским улицам, долго еще спрашивает прохожих и, носясь, словно челнок по волнам, не скоро попадет куда нужно.

Только исходив пол-Петербурга, доплетется наконец, измученная и усталая, по адресу.

Так было и с Агафьей. Пока она стояла среди улицы, над самым ее ухом раздалось: «Берегись!» — и парные сани пронеслись дюйма на два от Агафьинова носа. Она ничего не сказала, только перекрестилась и пошла на тротуар. Началось обычное мытарство, и Агафья только поздно вечером пришла в Ямскую, побывав сперва и в Коломне и на Васильевском острове и испытав всевозможные страхи. Усталая и голодная, спрашивала она:

— Здесь будут тверские?.. Никон Афанасьич?.. Извозчики?

— Здесь... Ступай в горницу, — сказал ей какой-то парень.

Агафья вошла. Скоро ее усадили ужинать. Пошли разговоры, расспросы про деревню. Никон обещал скоро поставить на место в судомойки.

— Потому у меня есть три куфарки знакомых... По богатым живут... Поставим. А теперь ложись с богом, Агафья... Чай, умаялась.

С такими надеждами Агафья легла спать и скоро заснула. Во сне она часто вскрикивала.

Сперва снилась ей маленькая деревенька... Дальше похороны мужа, только всего год с ней жившего... Потом снился ей Вавилон столичный. Вот она на улице... Лошади прямо на нее летят... большие, сердитые лошади... Она хочет спрятаться в сторону, но лакей подходит к ней и спрашивает: «Агафья, а где пятишница?» Она прижимает руками сокровище, но лакей уже берет пятишницу... Лошади в это время налетают и топчут Агафью...

— Ой... Господи помилуй! — вскрикнула баба.

— Вставай, Агафья! Чего спужалась, аль со сна?!

Агафья посмотрела вокруг. На дворе было светло. Извозчики собирались на дневную работу.

II

Через две недели Агафья шла по Невскому со своим узлом. Дойдя до Большой Мещанской, она своротила в улицу и спросила у городского:

— Голубчик, скажи... где дом Лапатина будет?

— Третий дом налево... Эка чумичка! —

проворчал городской вслед.

Агафья дошла до дому, вошла во двор и, после долгих переговоров с дворниками, поднялась по черной лестнице в третий этаж и вошла в кухню.

— Здравствуй... здравствуй, Агафья... — сказала кухарка. — Садись пока... Пойду скажу барыне...

Скоро вошла барыня и порядила Агафью за три рубля в месяц стирать белье, помогать кухарке и вообще делать что прикажут. Агафья только кланялась и благодарила.

В тот же день она получила себе крошечный уголок на кухне, куда поставила свой сундучишко, и в тот же вечер Агафья, лежа на тощем тюфячке, всплакнула на новоселье.

С следующего дня Петербург стал показывать, как он дает свои гроши деревенскому человеку: Агафью гоняли, не жалея ее ног. То в молочную слетай, то в булочную, то письмо отнести в ящик и прочее. Агафья все это исполняла старательно, и кухарка, сложившая благодаря такому рвению молодой бабы большую часть своих забот на свою помощницу, взамен того покровительствовала ей: не раз

рассказывала ей о той каторге, которая приходится на долю подневольного человека, и пила кофейными обварками. Бывало, во время этого занятия войдет в кухню лакей и, бросая письмо, скажет:

— Живо снеси... барыня приказала, чтобы мгновенно.

Когда Агафья, словно бы ужаленная, вскакивала, чтобы немедленно исполнить поручение, то кухарка замечала:

— Не загорелось... подождет!.. Что это, прости господи, и кофию-то не дадут напиться толком... Только и знают, что гонять... Пей, Агафья... пей... успеют... Не лошадь же ты!..

И Агафья пила наскоро кофейные обварки, боясь, что вот-вот сама барыня войдет на кухню и спросит: «А почему ты, дура деревенская, лакаешь кофей?.. Пошла, мол, вон! Нету тебе у меня места!»

И действительно, случалось, что барыня входила в такую пору и спрашивала, отнесено ли письмо, и Агафья бледнела, но кухарка всегда умела находить приличные случаю отговорки, и барыня уходила, ворча под нос:

— Ах, господи! Что это за прислуга!

А кухарка, в свою очередь, начинала трещать:

— Вот они... Человеку вздохнуть не дадут... Все ведь письма да письма. Знаем мы, куда ты письма-то шлешь!.. Денег все... денег... Удушеньки все деньги перебрала... У-у-у!.. Ступай, Агафья, да зайди по дороге в мелочную... Возьми капусты к жаркому.

Агафья бежала с письмом иногда на другой конец Петербурга и ворочалась назад так скоро, как только позволяли ей ноги. А барыня уже ждала ее и нетерпеливо вырывала ответ. Но так как по большей части в ответах писалось, что «к крайнему сожалению, в настоящее время не могу, потому что у самого (или у самой) нет денег», — то Агафья часто служила мишенью, в которую попадала брань, предназначавшаяся для авторов ответных писем.

— Где ты целый час пропадала, а?

— Я, барыня, то исть духом...

— Верно, где-нибудь у кумы сидела?.. Дура эдакая!.. Я этого не люблю...

— Я... я... барыня...

— Молчи... Будь готова... Сейчас на Мохо-

вую пойдешь.

Барыня уходила в комнаты, и там, если попадался муж, то и ему доставалось. Барыня была нервного характера и любила веселиться. А средств не часто хватало.

Кухарка, в свою очередь, пела Агафье:

— Удивляюсь... Дура ты эдакая... дура!.. Нешто птица ты, што ли? Из-за ейных мерзких каких-нибудь трех рублей тебе ни минуты покоя... Да нешто ты в почталионы нанималась? Так бы и сказала... Ей, видишь ли, любовник сгрубил — она и рвет на тебе сердце. Эх ты, безответная.

Дорого обходилось на первых порах знакомство с столицей. Часто вечером, умаявшись, засыпала она на своем блинчатом тюфячишке и нередко молилась богу, чтобы впредь не оставил господь своею милостию. Она боялась лишиться места, барыня сегодня шибко грозилась!

Таким манером поживала Агафья. С утра она металась как угорелая и только к вечеру немного успокоивалась и принималась кое-что работать для себя. Но случалось, что и в такое время ее беспокоили. Смотришь, бары-

ня пошлет за ней и скажет:

— Агафья, вот тебе двугривенный. Возьми три письма и живо свежи их... Вот это к Смольному, оттуда на Обуховский проспект, а потом в Измайловский полк... да по дороге заезжай к театру... Ступай, да, смотри, скорей... Кажется, на извозчика довольно...

Агафья уже понимала расстояния. Выйдет она за ворота, накинув на себя какую-то кацавейку, посмотрит на двугривенный и усмехнется... Однако же все-таки скажет извозчику:

— К Смольному!

— Садись за три гривенника, касатка!..

Так, бывало, Агафья прибережет двугривенный и уже за полночь вернется домой с усталыми ногами...

— Ну что?.. Наконец-то!.. Господи! Да что ж это за прислуга? Иван Иванович, спрашиваю я тебя, что ж это за прислуга? — обращалась барыня к барину, когда Агафья подавала письма. — Кажется, деньги платишь... Господи!.. Ступай... да вперед смотри... Боже, боже, что это за прислуга! — продолжала ворчать барыня.

Если, случалось, господ не было дома, то Агафью гоняли лакей и кухарка. То попросят за винцом сходить, то за тем, то за другим...

Однако Агафья терпела и при помощи кухаркиных рассказов и своей сообразительности мало-помалу начала понимать самую музыку. Она припомнила, как ее спутник, лакей, на железной дороге говорил, что «честию очинно трудно». Прозревала она, что в этих словах заключается много горькой правды и что нередко господа за три рубля норовят кожу стянуть с человека. Стала Агафья смекать эти дела и стала лущовать к Смольному, а оттуда к Измайловскому вовсе не с такой отчаянной свирепостью, как прежде. А если барыня и начинала ее бранить, то на первых порах она отмалчивалась. После и она не стояла истуканом, услышав раз, как кухарка отбрила барыню за слово «воровка» и как она настрадала ту же барыню, сказав: «Вы не очень... Разве я воровка... Нешто такие воровки?... Нешто вы не знаете, что за воровку мировой скажет... Расчет беспременно потребую... Ишь, воровка!»

Долго еще ворчала кухарка, и барыня

ушла из кухни, поджав хвост, и, только придя в кабинет к супругу, упала в обморок. О чем они там говорили, неизвестно. Только лакей Афанасий после рассказывал на кухне, что барин с барыней чуть не подрались и что барыня сказала барину: «Лысый дурак», — а барин ей насчет душенек что-то...

Все это запримечала Агафья, и, когда ее ругали, она уже начинала сама сперва слегка ворчать, а после и протестовать невинными словами, вроде следующих:

— Нешто я лошадь?..

Никто, конечно, не разуверял ее в противном. Но никто, конечно, и не облегчал ее участи.

Мало-помалу Агафья завела знакомство. Познакомилась с несколькими кухарками в доме. Кроме того, бегая часто по лавочкам, она встречалась там с горничными и лакеями большого дома и нередко обменивалась со своими знакомцами новостями.

— Ну, что у вас, Агафья, нового? — бывало, спросит ее кухарка четвертого этажа, забирая в лавочке провизию. — Аль жужжит?

Агафья только махала рукой и приговари-

вала:

— Артемьич... Отпусти-ка огурчиков... с рассолом. Вчерась в три места гоняла!.. Право!

— Ишь... Верно, все за деньгам! А наша-то, наша-то тоже хороша. Получила это наша деньги... Ну, хорошо... Людям бы настоящим и приберечь, а они сейчас с этим с деньгам в клуб... Так и просидели все денежки в этом клубу... Вернулись в три часа ночи-то, с муженьком... Оба лютей зверей. Отворяю им двери... «Чего, говорят, отворяешь ты — это они мне-то — чрез сто лет после звонка...» Слышишь ты это, Агафья?.. Чрез сто лет... Хорошо... Смолчала... Подала раздеваться... Слышу: они-то после со своим-то пыняются... «Если бы, говорит, не ты, неумный, я бы, говорит, беспременно выиграла». А он ей: «Если бы, говорит, не ты, я бы, говорит, беспременно выиграл...» И пошли... и пошли... Однако пора йтить... Прощай, Агафьюшка... когда заходи чайку напиться.

Присматриваясь к подневольной жизни все ближе и ближе, Агафья уже стала понимать, что подневольное житье требует сноровки. Видела она прочих, хоть и прочих жи-

тъе не бог знает что за красивое, а все ж таки эти прочие по возможности себя сохраняют. И вот, после годового пребывания, Агафья решила себя по возможности сохранять и воздавать обидчикам по заслугам. К этому времени Агафья из себя переменилась. Платье свое крестьянское сняла, завела городское, наде- ла ботинки и приобрела где-то за два рубля шляпку. К кофе она тоже пристрастилась, и по примеру петербургских кухарок, душила кофейные обварки беспощадно. Подумывая о том, что за три рубля с нее требуют черт знает какой службы, она намеревалась поступить в кухарки. Она присматривалась к работе своей покровительницы; глядела, как та жарит жаркое и варит суп и прочее, и по своему разуму полагала, что теперь она и сама сумеет сжарить «бистекц» и испечь слоеный пирог. Тем временем она подыскивала себе место. Слышала она в лавочке, что с первого числа кухарка у одной чиновницы, жившей во дворе, отходит, и вот Агафья решилась поступить в кухарки.

Столица в глазах Агафьи давно перестала казаться крошечным адом, и хотя она знала,

что мазуриков следует опасаться, но они далеко не казались такими страшными, какими казались они ей в деревеньке. Больше, чем мазуриков, опасалась она остаться без места. С пивом она познакомилась и находила, что этот напиток весьма питательный и хороший. Такое же недурное мнение получила она и вообще о пище, попадавшей ей нередко с господских тарелок. Пища эта ей казалась не в пример лучше той, которую она ела в деревне, и когда Никон, которого она изредка навещала, спрашивал: «Ну што. Агафья... Аль здесь сытней?» — то Агафья, не затрудняясь, говорила, что на господских тарелках остатки гораздо слаще, чем хлеб и пустые щи в деревне.

И когда она получала из деревни письма, в которых жалели ее на чужой стороне, то она спешила отвечать — ответы писал ей знакомый лакей, — что она, слава богу, здорова и в благополучии, а насчет баловства чтобы не сомневались, потому за себя постоять может, и так далее.

Касательно последнего пункта Агафья была совершенно права, потому что насчет это-

го была весьма строга. И когда раз младший дворник пригласил было ее в трактир напиться чаю, то она пошла и напилась чаю, но когда тот же дворник стал говорить ей несообразные вещи, то она только плюнула и показала свой здоровый кулак.

— Аль не любите нас, Агафья?.. — сказал дворник.

— Пошто не любить! — усмехнулась Агафья.

— Если бы вы только понимали... именно понимали, как то ись я теперича... — размазывал дворник.

— Нечего мне, Василий, понимать... А главное, пора домой идти, барыня хватится!

Так дворникова любовь была отвергнута, и Агафья пришла домой не без некоторой гордости, что и на нее, «чумичку», как она себя часто называла, стали люди обращать внимание. Но ей, как видно, рыжий дворник был не по вкусу, и Агафьино сердце до поры до времени было спокойно.

За несколько дней до первого числа Агафья пришла к чиновнице. Войдя на кухню, она дала гривенник старой кухарке, и та до-

ложила о ней барыне. Барыня вышла.

— Ты кухарка?

— Куфарка, барыня, — отвечала приодетая Агафья. — Слышала, место есть?

— А ты где прежде жила?

— Тут же у нас в доме живу, у генеральши Павловой, может знаете?..

— А хорошо умеешь готовить?

— Как не уметь! Все сготовлю. Теперича бистекц, пирог, суп с кореньями или щи, пирожное-оладьи, компот...

— Ну хорошо, хорошо. Только ты у нас одна прислуга будешь; нас всего двое: я да муж. А жалованья пять рублей.

— Помилуйте, барыня, как можно за пять рублей? Останетесь мною довольны. У генеральши вот я год жила, и если бы...

Наконец, после долгих переговоров, сошлись на шести рублях, и положено было через три дня быть Агафье на новом месте.

Когда барыне доложили, что Агафья отходит, то барыня подняла глаза и сказала:

— Господи, что это за прислуга! Кажется, никакой благодарности не чувствует. Рада променять господ... Я ли ей не платила. И ни-

чего-то ровно она не делала. Только три рубля даром брала. Господи! что это за народ!..

Конечно, Агафья очень хорошо знала, даром ли она брала свои три рубля, и потому — о бесчувственная! — не обратила никакого внимания на упреки.

Через три дня она была на новом месте.

III

Новые хозяева Агафьи были «чиновники». Барин был весьма занятой господин; с утра он уходил в должность, возвращался к обеду и, пообедав, снова садился за работу, так что Агафья его почти не видела. Только в двадцатых числах каждого месяца Агафье предстояла трудная работа волочить своего хозяина от дверей квартиры до кровати, так как сам чиновник дойти был не в состоянии, ибо три дня сряду после получки жалованья доставлялся кем-то до дверей своей квартиры в крайне бесчувственном состоянии. После трех дней барин снова вел скромную чиновничью жизнь и мало обращал даже внимания на то, что супруга за эти злополучные три дня журила его самым немилосердным образом в течение остальных двадцати семи

дней...

Барыня была из тех петербургских чиновниц, про которую вы скажете, если увидите ее в приказчиьем клубе за мушкой: «бой-баба», — и которую окрестные лавочники, зеленщики, мясники, дворники и тому подобный люд называли: «вор-дама», — намекая этим прозвищем на юркость и бойкость новой Агафьиной хозяйки.

Действительно, госпожа Петухова вполне оправдывала такое прозвище, и Агафья скоро почувствовала, с каким сильным и ловким врагом она имеет дело. С первых же дней наша героиня увидела, что в дружественных отношениях с барыней быть никак невозможно, потому что с первых же дней барыня забраковала принесенную Агафьей провизию и, узнав о ее стоимости, заметила:

— Ты, матушка, вовсе этого и не думай, чтобы покупать так... Где это ты брала? Верно, у подлеца Петра в лавочке?

— Где же брать-то? — заметила кухарка.

— Где же брать? — передразнивала барыня. — Где?.. Бери в другой лавочке, подешевле бери, да, главное, знай, что я не люблю, когда

у меня много провизии выходит... Слышишь ли?.. Не люблю.

Чем дольше жила Агафья, тем ясней видела, что и на новом месте ее хотят запрячь во все нелегкие. С утра надо прибрать комнаты, потом поставить самовар, затем бежать за провизией, обед приготовить, а после только что Агафья вздохнет после третьего стакана кофейных обварок, как барыня уже влетает в кухню:

— Агафьюшка... Нельзя ли мне приготовить юбку?

Сперва Агафья исполнила эту просьбу, но скоро убедилась на опыте, что недели через две эти просьбы перешли в положительные приказания, и уже барыня, влетая на кухню, говорила:

— Агафья, что же мне юбку?

Тогда кухарка воспротестовала и заметила:

— Да что ж это, барыня... Рази вы меня в прачки нанимали?

— Что? Ах ты господи! Да разве я тебя не нанимала мелочи-то мне стирать?.. А, а?.. Что же значит одну юбочку? Что?

Обыкновенно после подобных сцен происходил крупный разговор, в котором с обеих неприятельских сторон часто упоминалось слово «мировой».

Однако же, после всякой подобной стычки, барыня, уходя в спальню, измышляла всевозможные средства, чтобы половче навалить всякой работы на кухарку, а Агафья, лежа на своем уже плотном тюфяке, также изыскивала всевозможные способы как-нибудь да обойти барыню. Стала она думать, нет ли средств как-нибудь подойти к барыне с такой стороны, с которой менее всего барыня ожидала нападений, и, заручившись таким образом, уже свободно собирать небольшие крохи, остающиеся от покупки провизии, не мыть юбок, не особенно внимательно сметать паутину и не мыть два раза в неделю полов, словом — не отдавать всю себя на съедение за каких-нибудь шесть рублей, а позаботиться хотя чуточку и о себе...

Думая таким образом, Агафья остановилась на одном черноволосом господине, который нередко приходил в гости к барыне в то время, когда муж бывал в должности... Разви-

вая свои идеи дальше, Агафья сообразила, что этот черноволосый не зря давал ей гривенники, и тут же вспомнила, как несколько дней тому назад, когда в отсутствие барина, как-то вечером, приехал черноволосый, барыня ни с того ни с сего прилетела к кухарке и сказала:

— Что это ты, Агафьюшка, все дома да дома сидишь?.. Сходила бы погулять... Вот тебе двугривенный...

Кухарка до того поражена была этой неожиданной любезностью со стороны «вора-дамы», что в то время ничего не сообразила, а только обрадовалась и пошла в гости к извозчику Никону.

Теперь же, припоминая все эти обстоятельства, она взглянула на них несколько иначе и решилась вперед глядеть еще внимательней, чтобы, когда придет случай, накинуться внезапно на врага и тогда уже исполнять свои обязанности по душе, «а не то как какой-нибудь каторжнице, прости господи», — сказала Агафья про себя и с этой мыслью заснула с улыбкой.

Скоро ее намерения привели к хорошим результатам. В один из вечеров, когда барин

пьянствовал, к барыне приехал черноволосый, и барыня спровадила Агафью. Агафья ушла, не забыв, однако, взять ключ от черного хода, и, посудачив с полчаса с генеральской кухаркой в том же доме, незаметно вошла в кухню и, услышав какие-то оживленные разговоры в гостиной и даже (будто бы) поцелуи, вошла так-таки прямо в гостиную и спросила:

— Барыня, прикажете самовар ставить?

Агафья очень хорошо заметила, как барыня отскочила от черноволосого и как барыня вся покраснелась, но Агафья — как ловкий неприятель — вовсе не показала и виду, что она кое-что видела, и скромно дожидалась ответа.

— Поставь!.. — еле выговорила барыня.

— Пожалуйте книжку за булками сходить...

— Возьми... там... в спальне... Впрочем, я сама тебе дам...

Скоро черноволосый ушел, и хотя барыня ни слова не сказала Агафье, но Агафья тем не менее видела, что барыня в ней заискивает. Одним словом, события последнего дня окон-

чательно оставили победу за кухаркой.

В ту же ночь Агафье пришлось волочить хозяина в его кабинет... Исполняя эту обязанность, Агафья не без сожаления взглянула на чиновника и, раздевая его, проговорила:

— Эка, родимый, как нагрузился...

— У Палкина... Ддда... Нне могу... Кучу... Черт возьми!.. — шептал только чиновник.

— Спи... спи... — проговорила кухарка, принесла хозяину графин воды и легла спать в твердой надежде, что у нее завтра останется копеек десять от закупки провизии.

IV

Через год Агафья была уже заправская кухарка. Она выучилась делать даже настоящее пирожное, скопила себе рублей двадцать, приобрела себе салопчик на кошачьем меху и не только не мыла юбок своей барыне, но даже, стирая пыль в то время, когда господа предавались безмятежному сну, она обходила углы весьма небрежно и рассуждала, иногда даже громко, таким образом:

— Ишь ее набралось! Откуда это только?

Затем, если Агафья была в хорошем расположении духа, она иногда подшучивала над

господами, обращаясь в разговоре к своему любимцу, коту Ваське, которого она достала где-то на чужом дворе:

— Что, Васька, мяса, дурак, ждешь? Небось мясо любишь... а, а?.. А господ любишь? Вот они себе спят, а мы, Васька, пыль стирай... Вчерась она-то в клубу закатилась... А он, бедный, хи... хи... хи...

Но если во время таких монологов раздавался кашель из соседних комнат, Агафья снова принималась за свое дело молча и снова беседовала с Васькой, если находила, что беседа ее не разбудит господ.

Если б читатель в это время встретил Агафью на улице, то едва ли бы узнал в ней ту глупую деревенскую бабу, которая так боялась Питера. Вот, поглядите, идет она: на ней салопчик на кошке и шляпка с красными лентами... Она идет гоголем и если останавливается теперь перед магазинами, то вовсе не с теми удивленными глазами, с какими останавливалась прежде... Даже извозчики, предлагая ей услуги, зазывают ее, говоря: «Не хотите ли, барыня?»

Тут я замечаю, что до сих пор не познако-

мил читателя с ее наружностью. К сожалению, я не могу познакомить читателя с наружностью Агафьи с очень выгодной для нее стороны. Агафья скорей была дурна, чем хороша. Лицо у ней было рябое, нос слишком велик, а глаза даже глядели немного вкось... Что же касается до волос, то они были у нее огненного цвета... совершенно огненного.

Однако, несмотря на такую наружность, сердце ее было не свободно. Она любила, и ее любили... Избранный ее сердца был денщик-лакей в одном с нею доме и часто навещал свою Агафью Тихоновну, как деликатно ее называл денщик.

Нельзя сказать, чтобы и Алексей Васильевич отличался красотой форм или лица, нельзя сказать и того, чтобы Алексей Васильевич был очень трезвый человек, как нельзя сказать и того, чтобы он не лупцевал своей Агафьи Тихоновны, но при всем том они любили друг друга, и Алексей Васильевич так и слыл под именем жениха, обещая Агафье жениться, как только скопит малую толику деньжонок.

Таким образом шли дела уже целый год, и

Алексей Васильевич перебрал у кухарки до двадцати пяти рублей... Ходил он к ней два раза в неделю, и тогда можно было видеть эту пару, сидящую за столиком, где непременно красовался графин водки и стояла закуска...

Прошло еще с полгода. Агафья терпеливо ждала, когда ее «жених» решительно заговорит о свадьбе, но он, однако же, каждый раз, как Агафья намекала ему об этом, отлынивал от разговоров или же говорил, что «времена нынче, о-о-ох».

— Послушай, Алеша... Ты меня не морочь, не дура я какая... А ты, как следует благородному человеку, женись.

— Я женюсь, Агафьюшка, только, понимаешь ли...

— Чего понимать-то? Лучше без греха...

— А то что?

— А то, что подай мне мои двадцать пять рублей.

Вместо всякого ответа Алексей Васильевич показал ей кукиш и ушел из кухни.

В ту же ночь Агафья долго плакала и на следующее утро забежала к генеральской кухарке посоветоваться... Там она узнала еще

более ужасные вещи. От приятельницы она услышала, что Алексей Васильевич забрал тридцать рублей у другой кухарки и тоже обещал на ней жениться... Горе Агафьи не знало пределов. Долго толковали обе собеседницы, и Агафья решилась действовать энергично.

Вечером она пошла к Алексею Васильевичу. Неизвестно, чем кончился у них разговор. Известно только то, что Агафья получила несколько новых синяков под глазами и узнала, что жених поступает в городские... Надежды, по-видимому, были все потеряны.

Но Алексей Васильевич, поступив в городские, будто нарочно хотел испытать сердце бедной женщины и в один прекрасный день явился к ней в новой форме. Увидав своего «жениха» в таком блестящем наряде, Агафья пуще залилась слезами и сказала:

— Сволочь ты, а не человек... ступай вон!..

Но Алексей Васильевич стал приводить резоны и кончил тем, что просил еще двадцать рублей, обещая через неделю же непременно жениться...

— Обманешь?..

— Вот тебе бог... А што с той кухаркой, Ага-

фьюшка, так это все пустяки... Право, Агафья, дай денег. Потому мне теперича кое-что нужно справиться... Городовой не то чтобы... Ты это дело по бабьему смыслу не поймешь!!

Долго они еще говорили, и под конец Алексей Васильевич снова побил Агафью.

— Так ты так, подлая душа... Постой же!.. — крикнула вслед уходившему Алексею Васильевичу рассерженная кухарка.

В тот же день она обратилась к своему барину с следующей просьбой.

— Барин, — сказала она, плача... — Напишите евойному начальнику, чтоб он женился... Два года, подлец, обещал... забрал более тридцати рублей, окромя подарков, а теперь бьет и просит еще двадцать рублей.

Барин стал ей объяснять, что ей за охота выходить за такого человека, но на это Агафья заметила:

— Нет, пуцай женится... За что мои деньги будут пропадать!

— Так лучше истребовать с него деньги...

— Нет — женись. Что деньги?.. Нет, барин, нельзя ли заставить его, подлеца, жениться?

— Да ведь он тебя, Агафья, бить будет!..

— Посмотрим тогда как! — ответила Агафья... — Жена не то... Нельзя ли, барин?

Но так как барин не знал, как приняться за это дело, то Агафья в тот же вечер пришла в Алексееву будку и предложила ему следующий ультиматум:

— Ежели ты, эдакой подлец, не дашь мне сейчас расписки, что женишься, барин мой к приставу завтра поедет. Он все ему скажет... слышишь?

Городовой струсил, дал расписку и получил от Агафьи еще тридцать рублей... Через неделю они обвенчались, и Агафья перебралась в будку.

V

Теперь вы увидите Агафью Тихоновну на Семеновском рынке. Она значительно пополнела и подурнела, но приобрела удивительно звонкий голос, которым зазывает покупателей. Она торгует разной мелочью и ведет свои делишки хорошо. Супруг ее — старший городовой и находится у нее под началом. В сделавшей себе карьеру Агафье Тихоновне вам и не узнать прежней деревенской бабы. Она с виду совершенно купчиха, особенно ко-

гда в воскресенье идет в церковь, в атласном салопе... О Петербурге она самого лучшего понятия и с некоторым презрением относится к деревне. К довершению всего, должно заметить, что Агафья Тихоновна весьма вошла во вкус пива с Калинкина завода и вечером выпивает значительное его количество. В это время особенно и побаивается ее муж — благонамеренный городской нашей столицы.

II. Степа

Крайняя нужда заставила государственного крестьянина Новгородской губернии Ивана Андреева снарядить своего сынишку в Питер. Отправляя его в дорогу вместе с односельцем-извозчиком, отец так наставлял мальчика:

— Смотри, Степка, в Питере не баловать! Сват Трифон отдаст тебя в ученье... Выучишься — человеком будешь!.. Прощай, Степа!

Мать, прижимая сынишку, ничего не говорила, потому что говорить ей мешали слезы. Она крестила его одной рукой, а другая засовывала за тулупчик только что испеченные лепешки.

Мальчик был в каком-то недоумении и

только усердно щипал своими крохотными ручонками большую овчинную шапку, подаренную ему отцом на дорогу.

Когда вышли из избы, на улице собралось несколько деревенских ребят и стали прощаться с мальчиком. Некоторые как-то завистливо смотрели на маленького путешественника в полушубке и большой шапке и, зная, что Степа едет в Питер, от души хотели быть на его месте... Другие же — побольше — без особенной зависти взирали даже и на большую шапку и замечали:

— Тамотка, братцы — сказывал дядя Андрей — страсти! Город эвона!..

И мальчик приподнял на сколько мог руки.

— Тамотка, — продолжал рассказчик, — ровно бы в нашем алексинском бору заплутаешься... И опять же — боязно... Сказывают, наших ребяток, братцы, в Питере бьют ой-ой как!.. Это все дядя Андрей сказывал... Он, братцы, знает... Он в Питере жил... Дядя Андрей все знает!..

— Ну, садись, Степка... Едем, малец, гроши добывать! — шутил Трифон, усаживаясь на

легковые санки... — Ну, желтоглазая!.. марш опять в россейскую столицу!.. — добавил извозчик-зимник и стегнул свою маленькую шершавую лошадку.

Скоро санки выехали из деревни, а мать все еще не унималась. Да и отец как-то пасмурно драл лыко на лапти...

— Не хоронить послали... Чего ревешь! — наконец заметил он жене.

— Иван!.. Бога ты не побоялся... Там... там ему смерть!.. Сам знаешь, как их, мальцов-то, в Питере...

— Полно, баба... Бог даст, выучится. А ты не всему верь... баба!..

А санки скользили себе по ровной гладкой дороге, и мальчик уже вступил с Трифоном в разговор. Выезжая в первый раз из села, мальчик решительно интересовался всем и до того закидал Трифона вопросами, что тот едва успевал на них отвечать. Особенно Степку занимала столица.

— А что, дядя Трифон, она, самая эта столица, много будет больше наших Дубков?

— В тысячу раз будет больше, Степка.

Мальчик решительно не мог сообразить,

зачем это столица такая большая. Однако, не желая выказать перед Трифоном своего недомыслия, он только заметил:

— И там, дядя Трифон, как у нас в Дубках, всё хрестьяне живут?

— Всякий народ в Питере живет, Степка... И графы, и князья, и дворяне, и купцы... и наш брат... Всякого, братец ты мой, в Питере народу довольно!..

— Ишь ты! и графы и князья, дядя Трифон.

— Тепериче выедешь в ночь... Станешь у трактира, а оттуда выйдет какой ни на есть барин и подает голоском: «Эй, мол, извозчик!..» Я сичас вот эту самую желтоглазую хлысть кнутишком, подкачу... «Куда, мол прикажете, ваше сиятельство?»

— А что, дядя Трифон, князья-то какие будут?

— Известно какие — фицеры!.. Видал. Степка, солдат?.. Ну, так господа над ними командуют... И ежели солдат что не так, они его — солдата-то — сейчас по-своему, добру, учат: делай, мол, по службе по нашей, а не то штобы как-нибудь... Этто когда на парате; а ежели не на парате, то по ресторациям, Степка,

сидят больше, чай пьют... Там мы их и ждем...
ночью-то...

Все эти сведения до того были новы для Степы, что он решительно не мог дать себе отчета. Он вообразил офицеров высокими такими, большими, с длинными усищами, вострыми глазами, имеющими в руках по большой палке, которою так и размахивают, словом — Степа вспомнил фельдфебеля, который в селе муштровал солдат, и, увеличив этого фельдфебеля в несколько раз, решил в своем детском умишке, что офицеры должны быть именно такие.

К вечеру Трифон остановился покормить. На постоялом дворе было несколько извозчиков. Разговорились.

— Мальца-то куда везешь? — спросили извозчики.

— Туда же... в Питер! — отвечал Трифон.

— Аль Ивану плохо пришлось?..

— Беда, братцы!..

— В ученье?

— Бозныть... Наказывал в ученье сдать...

Отдать какому ни на есть немцу... Известно, у кого как не у немца...

— А паренек-то махонькой еще... Как бы его не укатали в Питере-то... — участно замечали извозчики.

— Никто, как бог!..

Степка все это слышал, и в его голову закралась мысль, что немец, должно быть, какой-нибудь старик вроде того беглого, который в прошлом году в Дубках объегорил какого-то крестьянина и после хотел спалить деревню. Этим стариком все дубковские матери пугали своих детей, и Степка, как и другие, воображал его таким же страшным, как лицо антихриста на лубочной картинке, висевшей дома. Таким же стал ему казаться немец, и Степа крепко пригорюнился и даже всплакнул, после чего заснул крепким, ребячьим сном...

Через два дня Трифон со Степой въезжали в столицу, и когда мальчик увидал большие дома, конки, городских, батальон солдат с музыкой и прочие столичные хитрости, то только ахал и крепко жался к Трифону...

— Не бойсь, глупый... Не укусят! — смеялся извозчик.

На третий же день мальчик поступил в

ученье к сапожному мастеру Карлу Ивановичу Шмидту. Когда Степа увидал благообразное, выбритое лицо немца, то успокоился и, прощаясь с Трифоном, важно ему заметил:

— Скоро я тебе, дядя, во какие сапоги сошью...

Очутившись в кругу новых товарищей, Степа маленько струхнул и съежился, особенно когда один из учеников подошел к нему и дал ему по уху, ради первого знакомства... Степа стерпел, но чрез минуту сам ударил обидчика... Поднялась драка... Пришел Карл Иванович и помирил обоих на том, что оттузил хорошенько и правого и виноватого...

Невеселая жизнь началась для деревенского мальчика. Работу на него наваливали непосильную, и, главное, ни минутки покоя. То наколи дров, то стопи печи, то сбегай в лавочку, то снеси сапоги, то вымой полы. Одним словом, вместо учения Степке пришлось быть на посылках. И хозяин, и хозяйка, и подмастерья смотрели на Степу, как на своего крепостного, а в награду за все это — затрецины, удары ремнем, ругань и дурная пища.

Видали ли вы, читатель, как в трескучий

мороз бежит по улице мальчик-крошка в своем классическом халатишке и пощелкивает зубами?.. Видали ли вы это посиневшее от холода личико мальчугана, посланного отнести сапоги?.. Если вы видели, то должны знать, что это жертва столичная, жертва, которой не всегда суждено дожить и до пятнадцати лет!

Помещение у Карла Ивановича не отличалось особенным комфортом. Сам Карл Иванович имел довольно удобную комнату, но мальчишки-ученики жили в сыром подzemелье, где спертый и сырой воздух подтачивал день за днем молодые детские силы.

Ночь... Морозная петербургская ночь... Дети спят вповалку на нарах, на тонких соломенных подстилках... Вонь и духота в этой комнате, полной всяких насекомых... Все дети худы, бледны и одеты в какое-то подобие белья... Прикрыты они чем попало, и жмутся и вздрагивают, бедняги, от холода...

— У-у-у!.. Петька, холодно... — шепотом говорит Степа...

— А ты съежься, Степа... теплей будет...

— Проклятый хозяин... полушубок отобрал!

— Он у нас, Степка, завсегда так!.. Малы-де в полушубках ходить...

Дети замолчали и снова пытались заснуть, натягивая на себя дырявое одеяло... Скоро они заснули... Спят дети, вдыхая убийственный воздух... Спят дети, глотая яд и смерть... Спят маленькие создания, и во сне им снятся теплые избы, простор деревенских полей и добрый материнский уход...

Но не спит подтачивающая их смерть. Она стоит с распростертыми объятиями в этом сыром подzemелье и алчно глядит на раскинувшиеся во сне детские головки.

Не спит тоже и Степкина мать. Она не забыла своего парнишку и горькими слезами заливается, подумывая о своем сиротливом сыне. «Где-то он? У какого немца? Кормит ли его немец хоть по праздникам лепешками?»

Года через два Степка уже был хорошим учеником, чинил старые сапоги, ставил заплатки и даже умел подкидывать подметки. Но зато он день ото дня бледнел и худел. Сухой его кашель часто раздавался по ночам и будил соседа его, Петьку...

— Экой ты какой... Скажи завтра Карле

Иванычу... — замечал Петька.

— Говорил... Сказывает, пройдет и так. А вот все не проходит!

— Скотина! — злобно проговорил мальчик и, повернувшись на другой бок, скоро захрапел.

А Степа все кашлял, схватываясь за грудь с резко выдающимися ребрами. Мальчику было худо... Скорбный, больной, лежал он на соломе, и разные мысли забегали в маленькую белокурую головку. Грустно глядели его большие карие глаза. Тяжелая скорбь была в них...

— О господи! — шептал только мальчик.

Наконец он заснул тяжелым, прерывистым сном.

Видел он во сне, как его провожали в Питер, как Трифон рассказывал ему о столице и о князьях, как привел его к немцу и как немец оказался сначала не страшным, а потом... потом снилось мальчику, как его посылали в морозы в легоньком халатишке, как сидел он часто дни впроголодь и как Карла Иваныч бил его ремнем по детской спинке, больно так бил и приговаривал: «Русский мальчик дрянь есть! бить надо». Снились

мальчику Дубки, снилась мать и теплая изба... Потом...

— К мамке... к мамке хочу! — вскрикнул во сне мальчик.

— Вставай, Степка, ишь разоспался!!

Мальчик пытался встать, но встать не мог, силы совсем упали. Его трясла лихорадка. Сказали Карлу Иванычу. Карл Иваныч пришел и заметил:

— Много квасу пиль. Глупый мальчишка!

Однако Степа и после такой энергичной нотации не мог встать. На другой день Степу свезли в больницу.

Через неделю на дровнях везли маленький, окрашенный в рыжую краску гробик к одному из кладбищ. За гробиком шел, понуря голову, Трифон, а в гробике лежал Степа, окончивший свою недолгую, скорбную петербургскую карьеру.

Когда до Дубков дошла весть о Степиной смерти, отец не сказал ни слова, только отчаянно заморгал глазами и несколько дней где-то пропадал, а мать громко завывала, призывая громы небесные на виновников смерти сына... Но никто не слышал ее проклятий, кро-

ме черных, закоптевших стен неприглядной крестьянской избы.

Ужасная болезнь*

I

Трудно с точностью определить начало болезни, сгубившей моего бедного приятеля Ивана Ракушкина. Он уже был юноша семнадцати лет, с еле пробивавшимся пушком на бледном лице, с большими голубыми глазами, болезненно-самолюбивый, застенчивый мальчик, добрый товарищ, кончавший вместе со мною курс в одном специальном заведении, когда однажды, поздно ночью, проснувшись от жестокой зубной боли, я увидел следующее: Ракушкин приподнялся на кровати, внимательно озираясь, потом тихо встал, подошел к лампе, уменьшил в ней огонь, оделся и, осторожно крадучись, словно боясь, чтобы кто-нибудь не проснулся, прошел в залу и скрылся в темноте. Через несколько времени, сквозь стеклянные двери спальни, видно было, как в зале засветился слабый огонек.

«Верно пошел приготовляться к экзамену!» — подумал я, несколько изумленный та-

инственностью, с которой он совершал свое путешествие по спальне. Мне долго не спалось. Я хорошо слышал, как часы медленно пробили два, три, четыре... Огонек все еще мерцал в зале... Наконец послышались те же осторожные шаги, и я увидел Ракушкина, с теми же предосторожностями возвращавшегося назад. Я кашлянул. Он вдруг замер на месте, обратил свое лицо в мою сторону и еще тише прокрался далее, разделся и лег в постель.

Меня это заинтересовало. Наутро я подошел к Ракушкину и неожиданно спросил его:

— Куда это ты ходил ночью?

Он весь вспыхнул до корней волос и, заикаясь, ответил:

— Ночью?.. Я никуда не ходил!.. Да... ходил воду пить... Ужасная была жажда!

Я было хотел наотрез сказать ему, что он врёт, что в течение трех часов воды не пьют, но, когда взглянул на его смущенное лицо, на его большие голубые глаза, растерянно глядевшие куда-то вкось, мне стало жаль Ракушкина, и я больше ни о чем его не спрашивал.

Через несколько дней я встал в четыре часа утра, чтобы позаняться перед экзаменом. Смотрю: кровать Ракушкина пуста. Я вышел в залу. В самом конце ее, при свете мерцающего огарка, я увидел знакомую фигуру товарища. Я подошел ближе... Ракушкин спал, склонившись над столом. Перед ним лежала большая толстая тетрадь, а сбоку руководство астрономии, раскрытое на предисловии автора. Ясно было, что он не астрономией занимался. Я заглянул в тетрадь: на открытой странице были написаны стихи; перевернул страницу, другую, третью, — везде стихи и стихи, редко попадалась, впрочем, и проза...

Я прочел еще не совсем засохшую страницу стихов, но каких стихов! Ужасных! Я и теперь хорошо помню следующее двустишие, блестящее свежими чернилами, написанное в честь Петра Великого. Оно врезалось в мою память, и никогда ничем не выбьешь его оттуда:

*О, Петр, Петр, ты великий гений,
Мы о тебе хороших мнений!*

Я понял все. И таинственные ночные экс-

курсии, и крайнюю скрытность приятеля. Тогда же припомнилось мне, как год или два тому назад, однажды в классе, когда не было преподавателя, сосед Ракушкина вырвал у него листок бумаги и, несмотря на протесты Ракушкина, громко прочитал перед классом стихотворение, начинавшееся, сколько помнится, так:

*Вчера во сне свою Гликерию я видел,
Полураздетую, с распушенной ко-
сой...*

Я позабыл дальнейшие строки, но помню, что в конце концов Гликерия звала поэта следующими стихами:

*Идем... Идем!.. Сокроемся под кипарисной тенью
И предадимся там любви и наслаждению!*

Общий взрыв хохота двадцати трех молодых саврасов приветствовал эти строки. Все безжалостно гоготали, нисколько не заботясь о том, что в это время делалось с бедным Ракушкиным. Я взглянул на него. Он был смер-

тельно бледен. Его странные голубые глаза с какою-то мольбой глядели перед собою. Губы дрожали... Весь он как-то съежился... Вдруг из глаз его брызнули слезы. Он закрыл лицо руками и бросился вон из класса, под звуки оглушительного хохота.

— Господа!.. — заговорил один товарищ, которого все звали «математиком», презиравший литературу и называвший «бабой» или «литератором» всякого, кто выказывал трусость, слабость характера, или не понимал поэзии аналитики. — Господа! Это подло! За что мы обидели Ракушкина?..

Резкие эти слова подействовали на класс. Все затихли и решили извиниться перед Ракушкиным. Послали за ним двух депутатов, и, когда Ракушкин пришел красный, как пирон, класс торжественно извинился, и дело было кончено.

С тех пор я никогда не видал, чтобы Ракушкин писал стихи, никто его не дразнил, и все забыли об его стихах... Он сделался еще скрытнее, всегда аккуратно запирает ключом свою конторку в зале и часто удалялся от товарищей, просиживая где-нибудь в сторонке

за чтением какого-нибудь романа или стихотворения.

Оказывалось, что он писал стихи по ночам, тайно от всех, выбирая такое время, когда никто не занимается.

Я хотел было отойти, как вдруг Ракушкин проснулся, посмотрел на меня сонным взглядом, потом быстро вскочил, взглянул на тетрадь и, схватывая мою руку, спросил:

— Ты читал?

— Читал...

— Не говори им... пожалуйста... Не говори! — сказал он умоляющим голосом.

Я обещал никому не говорить.

— Ты сам пишешь стихи, — продолжал он застенчиво, — и поймешь, что смеяться над этим глупо... Я тебе правду скажу... Помнишь, третьего дня, ночью, ты кашлянул, а потом утром спросил меня, куда я ходил?.. Я ходил сюда... Я каждую ночь сюда хожу... Я много написал... Ты не выдашь меня?.. Нет?.. Вот сколько я написал! — быстро, словно захлебываясь, проговорил он с скрытым торжеством в голосе.

И он показал мне, кроме толстой тетради,

лежавшей на столе, еще две таких же толстых тетради.

— Все стихи?

— О, нет!.. У меня есть тут и повести, и рассказы... есть даже один роман. Хочешь, я тебе прочту? Только не здесь... Здесь нас могут увидеть. Приходи как-нибудь в воскресенье ко мне домой.

Я обещал прийти. С этого времени мы сблизились с Иваном Ракушкиным. Он, бывало, часто декламировал мне свои стихи, говорил о своих задуманных поэмах и спрашивал, как передать их в редакцию так, чтобы никто не узнал имени автора.

В одно из воскресений я целый день слушал роман Ивана Ракушкина. Роман был ужасный. Ни проблеска дарования, ни одного сколько-нибудь правдивого положения, ни фантазии, ни здравого смысла, так что я удивлялся, как мог неглупый Ракушкин сочинить такую непроходимую глупость.

— Ну, что? — спросил он меня, когда кончил, и вдруг побледнел.

— Я, брат, плохой судья...

— Ты не решаешься сказать?..

— По моему мнению... нехорошо.

Он опустил голову.

— Но ведь это твой первый роман? — поспешил я утешить Ракушкина.

— Первый...

— Сокрушаться нечего... Может быть, второй будет лучше.

Он вдруг повеселел и торжественно сказал:

— Я тебе прочту повесть! Увидишь, какая это повесть!

Повесть была не лучше романа, и я высказал ему откровенное мнение. Ракушкин переменял разговор, и мы возвратились вместе в заведение, не проронив ни слова во всю дорогу. На следующий день он подал мне следующую записку:

«Не сердись, если я тебе выскажу правду. Ты сам пишешь; мне показалась в твоём отзыве завистливая нотка. Я понимаю это чувство в писателе и не сержусь на него, но проверь себя... так ли это?»

Я был просто сконфужен. Я сам тогда мараю бумагу и, быть может, отнесся к Ракушкину строже, чем бы следовало... «А что, если в

самом деле зависть?» — подумал я и тотчас же ответил ему:

«Ты прав, Ракушкин. Я, быть может, отнесся несправедливо. Я не уверен, но мне кажется, что не следует авторам читать свои произведения друг другу».

После этого мы пожали друг другу руки. Вскоре Иван Ракушкин, выдержавший отлично выпускные экзамены, объявил, что выходит из заведения.

— Что же ты думаешь с собой делать?

— И ты еще спрашиваешь? Я буду писать. Бабушка даст мне триста рублей в год, с меня этого довольно... Я во что бы то ни стало напишу достойную меня вещь!

— Да, кстати... — спросил я. — Ты посылал что-нибудь в редакцию?

— Посылал, — грустно ответил Ракушкин. — Ответили, что слабо... Это меня сперва огорчило, но потом... Ты ведь знаешь, что истинные таланты долго не признаются! — торжественно заключил он и с гордым видом прибавил. — Прощай! Ты еще услышишь об Иване Ракушкине!

Мы дружно простились с ним и обещали

писать друг другу. Я скоро уехал из Петербурга.

II

Прошло четыре года, в течение которых я ничего не слышал об Иване Ракушкине и не встречал его имени ни в одном из журналов. Я снова вернулся в Петербург, вспомнил о старом товарище и разыскал его. Он жил в маленькой комнатке очень бедно и по-прежнему писал ужасное количество романов. Мы обрадовались друг другу.

Он похудел, побледнел, редко обедал, но не унывал и бранил все редакции. Оказалось, что не было редакции, где бы не находилось его рукописи, так что под конец во всех редакциях боялись, как огня, имени Ивана Ракушкина.

Его дьявольское упрямство и уверенность крайне изумляли меня. Самолюбие и обидчивость его сделались несравненно щекотливее, чем были прежде, так что с ним трудно было говорить о предметах, касающихся литературы. Мы часто с ним виделись и нередко проводили время вместе с третьим товарищем, молодым актером, недавно поступившим на

сцену. Разумеется, при Иване Ракушкине мы избегали говорить об его произведениях, да и вообще о литературе. Он сам тоже редко начинал. Но, помню, раз кто-то из нас заметил, что Бальзак, прежде чем стал знаменитым романистом, написал несколько плохих романов. Вдруг Иван Ракушкин весь просиял и, краснея, проговорил:

— Великие писатели всегда так начинали!

Было ясно, что он думал о себе и не терял надежды.

Однажды Ракушкин принес к нам (я жил вместе с актером) толстую рукопись и просил прочесть. На рукописи стояли роковые слова: «ВОЗВ...»

— Я носил ее в три редакции, но там не приняли... Верно, и не читали! Известно, как относятся редакции к молодым писателям! Прочтите, господа, и скажите ваше мнение... Я в самом деле начинаю думать: не бросить ли мне писать!

На другой день мы стали читать рукопись. Этот роман был черт знает что такое.

Через несколько дней является Иван Ракушкин.

— Прочли?

— Прочли.

— Ну что же?

— Брось, Иван, писать! — заметил актер. —

Право, брось лучше!

— А ты что скажешь?

— Я подпишусь под его словами!

— Ну, брат, тебе нельзя в этом случае доверять... Ты тоже литератор! — заметил, хитро улыбаясь, Иван Ракушкин. — Да и он относится с предубеждением...

Мы стали его серьезно убеждать бросить писание и предложили следующее: мы сведем рукопись к одному известному критику, пользовавшемуся общим уважением, и пусть он скажет свое мнение.

Ракушкин согласился.

— Тогда ты бросишь писать, если он скажет, что роман твой плох? — спросил актер.

— Брошу! — сумрачно ответил Иван Ракушкин, уходя вон.

Мы поехали к известному критику и рассказали, в чем дело. Критик был так любезен, что охотно согласился внимательно прочитать рукопись и дать через неделю ответ.

— Только напрасно вы думаете излечить его от этой болезни. Это болезнь ужасная! — прибавил, улыбаясь, критик.

Через неделю мы получили обратно рукопись с замечаниями. В них, в крайне деликатной форме, был выражен совет автору никогда не писать беллетристических вещей.

На другой день Ракушкин пришел к нам. Он был взволнован. Голубые его глаза блестели... Лицо то и дело вспыхивало.

Он, как и все очень самолюбивые люди, не сразу повел разговор о том, что его занимало больше всего, а заговорил о каких-то пустяках... Только через полчаса он, как бы нечаянно, обронил:

— Ну что, X* прочел рукопись?

— Прочел... Вот и ответ.

Он стал читать. По лицу его пробежала горькая усмешка: не то тяжелое сознание, что критик прав, не то высокомерная уверенность непризнанного гения... Когда Ракушкин дочитал до конца, он взял рукопись и, уходя, сказал:

— Теперь шабаш... Больше писать не буду!

— Слава богу! — заметил актер. — Бедный

Иван излечился!

— Едва ли он сдержит слово. Ты видел, как он усмехался? — заметил я.

И я был прав. Не прошло и двух месяцев, как Ракушкин снова написал два романа, но уже под псевдонимом Ракитина. Ни одна редакция его романов не приняла, и он продал их одному рыночному книжному торговцу за пятьдесят рублей. Очень уж громкие были заглавия!

Оба романа были жестоко обруганы, но Иван Ракушкин равнодушно-презрительно отнесся к статьям и сказал:

— Много они понимают!.. Везде зависть и кумовство!

Ракушкин был неисправим.

III

Прошло еще несколько лет, и Ракушкин куда-то исчез из Петербурга.

Однажды я получаю по городской почте письмо с знакомым почерком. Письмо было от Ивана: «Приходи, пожалуйста, ко мне, — писал он, — я болен, лежу в Мариинской больнице».

Я тотчас же поехал к нему и застал его за

работой. Он писал новый роман. Увидав меня, он горько-горько улыбнулся и сказал:

— Я, как видишь, не исправим.

Он был совсем худ, изнурен и истомлен, в последнем градусе чахотки. В эти годы он бедствовал по разным местам России, но нигде не устраивался, отдавая большую часть своего времени писанью... Жизнь его была настоящим бедованием; бабушка давно умерла, и он перебивался кое-как. От мест он отказывался.

— Видишь ли, на местах надо тратить много времени на скучную работу, и мне не было бы времени писать...

Я долго просидел около него. Он с лихорадочною поспешностью говорил о своих новых работах, о своих мечтах...

— Я верю, что могу создать большое произведение... Ты читал, как сперва Золя не признавали?.. И однако же в конце концов...

От долгого разговора он ослабел и склонился на подушку...

— Послушай... — тихо проговорил он спустя несколько времени, — если я умру... снеси мои произведения к N (он назвал имя одного

известного писателя) и попроси его прочесть.

Я обещал.

— А пока прочти вот эту вещь и приходи сказать мне... какова она?.. Ты только, смотри, не церемонься... не жалей больного... говори правду!

Он протянул руку, взял со столика рукопись и передал мне.

Я взял тетрадь и скоро простился с ним.

В тот же вечер я принялся за рукопись. Меня поразило, что она была написана не рукой Ивана, а чьей-то другой рукой... Я стал читать и пришел в восторг... Это была замечательно талантливая вещь. Я был обрадован за моего приятеля и рано утром спешил к нему.

— Поздравляю... поздравляю тебя! Ты наконец написал прелестную вещь!

Ракушкин весь просиял. Глаза радостно блеснули... Румянец покрыл его бледное, худалое лицо.

Я подал ему рукопись. Он взглянул на нее и вдруг печально поник, точно ему объявили смертный приговор...

— Это не моя рукопись... Это рукопись одного молодого человека здесь в больнице... Я

дал тебе ее по ошибке, — глухо прошептал он.

Я молча сидел, точно виноватый.

Наконец он несколько оправился и тихо сказал:

— Молодой человек читал мне свою повесть. Я удивляюсь, что ты в ней нашел особенно хорошего!..

Я ничего не ответил.

Через несколько времени бедный мой приятель стал бредить и в бреду рядом с именами Бальзака, Тургенева и Толстого повторял имя Ивана Ракушкина.

Когда на другой день я пришел в больницу, моего приятеля уже не было на свете. Он умер в ту же ночь и перед смертью говорил своему соседу, что придет время, когда Россия оценит произведения Ивана Ракушкина.

Непонятный сигнал*

I

На «Орле» все господа офицеры носы повесили и только что спустились вниз, в кают-компанию, после парусного учения, словно в воду опущенные. Рассердился адмирал, начальник эскадры, собравшийся в Нагасаки, — известный в те далекие времена, о которых идет речь, как отчаянный «разноситель», вспыльчивый и необузданный человек, приходивший иногда в раздражение из-за пустяков.

Парусное ученье на всей эскадре прошло, казалось, хорошо, и адмирал был доволен, но под конец он вдруг насупился и стал мрачен. Густые брови адмирала сдвинулись.

А когда адмирал сердился и начинал, по выражению моряков, «штормовать», то даже самые храбрые, с воловьими нервами, люди испытывали некоторый страх и мысленно зывали ко господу богу: «Господи! За что это он рассердился? Успокой, боже, адмиральскую душу!»

Но несмотря, однако, что подобные моле-

ния искренне и горячо возносились решительно всеми офицерами на корвете, где «сидел», то есть имел свое местопребывание, адмирал, — начиная с капитана, пожилого, смелого моряка, не боявшегося океанских штормов, но трусившего, как огня, начальства, и кончая младшим механиком, — господь бог адмиральскую душу не смягчил.

Состояние духа адмирала, видимо, приближалось к «штормовому». Барометр быстро падал, предвещая бурю.

Быстрой и нервной походкой ходил адмирал взад и вперед по шканцам среди царившей вокруг тишины, наблюдаемый зорким и испуганным взглядом молодого вахтенного офицера, замершего на мостике. Адмирал ходил, словно негодующий зверь в клетке, весь вздрагивал, крикал, снимал с своей седой, остриженной под гребенку, головы фуражку и судорожно мял ее в своих толстых коротких пальцах, словно желая уничтожить эту белую фуражку.

«Начинается!» — подумал молодой офицер, не спуская очарованных глаз с адмирала, словно робкая антилопа перед страшным боа*

, готовым схватить ее.

Но адмирал не обращал ни малейшего внимания на трепетавшего в ожидании «разноса» мичмана и продолжал ходить. По временам с его уст вылетали отрывистые выражения самого морского характера. Он был по этой части настоящий виртуоз и такой, что боцмана и матросы только ухмылялись, дивясь его неистощимой фантазии.

Из себя адмирал был кряжистый, сутуловатый, небольшого роста, сильный и крепкий человек, лет за пятьдесят, пользовавшийся репутацией лихого и бесстрашного моряка. Лицо энергичное, резкое, крупное, загорелое, гладко выбритое, с колючими усами и с парой черных круглых глаз. Глаза эти, выпуклые, с кровяными жилками на белках, казалось, вот-вот сейчас выскочат и съедят вас живьем... По крайней мере такое впечатление производили они на моряков, когда адмирал начинал штормовать. Во время штиля глаза эти, напротив, были мягкие, добрые и приветливые.

Матросы благоразумно удалились на бак и оттуда посматривали, что будет дальше. И

страшно и в то же время любопытно было смотреть на гневного адмирала. Матросы хоть и боялись его, но были расположены к нему. Он не порол, не дрался, заботился о людях и был главным образом лишь грозой офицеров.

— Гляди, ребята, — шепотом говорил молодой рыжий матросик Аким Чижов, попавший из деревни в «кругосветку», — как ен шапку-то дерет. Гляди, братец ты мой! — возвысил голос Аким.

— Тише, дурень, тише... Неравно услышит! — отвечал чуть слышно товарищ, толкая Чижова в бок.

— Нет... Да ты, Егорка, погляди... Ишь ведь...

Проходивший в эту самую минуту боцман съездил молодого матроса по шее и прервал дальнейшую речь Чижова.

Адмирал в это время на секунду остановился и крикнул вахтенному офицеру:

— Господ офицеров наверх!

— Есть! — ответил мичман и послал вахтенного унтер-офицера передать адмиральское приказание.

Через минуту офицеры стояли, выстроив-

шись, на шканцах. Никто не знал причины адмиральского гнева. Все знали отлично лишь одно: что адмирал в штормовые минуты разносил вообще и без какой-либо непосредственной причины, и каждый более или менее испытывал гнетущее ощущение служебного страха, ожидая, что именно его разнесет адмирал, любивший-таки огорошивать подобными сюрпризами.

Капитан, весь красный, пыхтел и отдувался, нервно теребя длинные усы. Старший офицер недоумевающе поглядывал своими рачьиими глазами и в сотый раз припоминал: мог ли адмирал заметить какую-нибудь неисправность на корвете или не мог?.. Казалось, на корвете все в исправности. Старый штурман был покорно-угрюм, а старший артиллерист весь замер в какой-то трепетной истоме, находя в этом состоянии, по-видимому, даже некоторое удовольствие и умея трепетать перед начальством с замечательной виртуозностью, полагая, что излишний трепет дела не испортит. Милейший первый лейтенант Андрей Петрович, рыхлый, пухлый и краснощекий, на которого каждый «разнос» адмирала

производил действие сильного слабительно-го, совсем пал духом, и толстые его губы шептали «укрощающую» молитву. Он хвалился, что знает такую, и нередко прибегал к ее помощи, хотя и не всегда с успехом.

Нужно ли говорить о других? Даже сам неустрашимый мичман Сережкин, пописывавший про адмирала юмористические стишки и легкомысленно хваставший не раз в кают-компании, что он нисколько его не боится, — и тот слегка побледнел, хоть и старался сохранить хладнокровный и даже несколько небрежный вид, и на его юном лице ясно проглядывала мысль: «Попадет или нет?»

В эту минуту палуба корвета представляла собою картину недоумения и страха. И только два существа относились, казалось, безразлично к адмиральскому гневу: адмиральский камердинер Тимошка и корветский пес, из породы водолазов, Милордка. Он довольно комфортабельно устроился на припеке, у пушки, и, не обращая ни малейшего внимания на адмирала, лениво вылизывал свои мохнатые черные лапы.

Адмирал продолжал ходить и, вдруг остановившись перед офицерами, начал:

— Не раз уже я замечал... э... э... э... замечал, что вы, господа... э... э... э... относитесь к службе не с должною серьезностью.

Адмирал, вообще не отличавшийся ораторскими способностями, сделал длинную паузу и продолжал:

— Прошу помнить, что служба не шутка... э... э... э... Наши незабвенные учителя, Павел Степаныч Нахимов и Владимир Алексеич Корнилов*...э... э... э... оставили нам завет, как нужно служить... служить... э... э... э... чтобы быть примерными офицерами... Многие из вас не являются к подъему флага... Срам-с!.. Многие не бывают у своих мачт, когда идет работа... Стыд! А я приказывал... Берегитесь!.. Шутить не буду! — вдруг крикнул адмирал. — Служба не шутка-с... Не шутка-с, господа!

Все «господа» внимательно слушали, приложив пальцы к козырькам фуражек. Пальцы артиллериста заметно дрожали.

Адмирал, видимо, затруднялся продолжать далее речь и сердито поводил на всех глазами. Как вдруг он весь побагровел и быст-

ро наскочил на юного гардемарина, который почтительно слушал адмирала, но в его быстрых и лукавых глазах играла невольная улыбка. Эта улыбка, говорившая, казалось, что юнец понимает затруднительное положение оратора, и привела адмирала в бешенство.

— Вы что? — крикнул он, как оглашенный, наступая на гардемарина.

— Ничего-с, ваше превосходительство! — отвечал тот самым почтительным тоном.

— Под арест его!.. Я по-ка-жу... э... э... э... как служить... Я по-ка-жу! — гремел адмирал.

Адмирал смолк и, отойдя от гардемарина, снова заходил. Минуты через две он сказал, обращаясь к офицерам:

— Можете идти, господа, но прошу помнить, что я вам сказал. Служба не шутка-с!

Никто, разумеется, не сомневался в этом, и потому все довольно стремительно спустились в кают-компанию, продолжая недоумевать, что именно вызвало гнев адмирала.

«Гардемарина с улыбкой» посадили под арест, то есть в каюту.

— За что это вас? — спрашивали офицеры.

— Спросите у адмирала.

— Не улыбайтесь вперед! — пошутил кто-то.

Когда офицеры разошлись, адмирал крикнул:

— Флаг-офицера послать!

Перед адмиралом тотчас же предстал флаг-офицер. Адмирал любил этого бойкого и расторопного молодого человека и называл его исполнительным. И правда: лицо и немного подавшаяся вперед фигура флаг-офицера в эту минуту выражали готовность не только исполнить приказание, но даже и броситься немедленно в синеву моря, омывающего красивые берега Нагасаки.

— Сейчас поезжайте к командиру, у которого не поняли сигнала «менять марселя» и потому запоздали... Попросить его ко мне!

— Есть, ваше превосходительство!

И флаг-офицер было пошел.

— Да бегом, бегом-с! — крикнул вдогонку адмирал, и так крикнул, что молодой флаг-офицер, словно лошадь, получившая шенкеля*, сделал весьма грациозный скачок, пробежал средним галопом к трапу, вскочил в

шлюпку и отвалил от корвета.

Отъехав этак сажен тридцать от корвета, флаг-офицер несколько пришел в себя и вслед за тем подумал: «Куда же ехать? За каким капитаном? Где не поняли сигнала?»

Кроме адмирала, никто этого не видал — не заметил и флаг-офицер, наблюдавший за сигналами. Казалось, на всех судах эскадры вовремя подымались сигнальные ответы... В порыве служебного усердия флаг-офицер не спросил адмирала, какого он требует капитана. Да и как было спросить? Он должен был знать и без спроса!

«Господи! Куда ж я поеду? — терзался бедный исполнительный молодой человек. — Корветов на рейде целых четыре. Ну, была не была, еду к Анисову... Верно, его требует! У него, кажется, позже всех переменили марселя — и вообще адмирал его чаще всех разносит!» — решил вдруг флаг-офицер и направил вельбот на корвет «Проворный».

Петр Дмитриевич Анисов в это время благодушествовал в своей каюте. Толстый, с большим брюшком, он лежал без сюртука на диване и пил чай. Самые радужные мысли

бродили в голове толстяка капитана. Через два дня его корвет отделится от эскадры и будет плавать отдельно. Можно будет отдохнуть без адмирала... А то эти постоянные разносы!..

Столь приятные думы были прерваны неожиданным появлением флаг-офицера.

Он поздоровался и испуганно проговорил:

— Адмирал очень сердится, Петр Дмитриевич.

— Что вы? За что?

— Да у вас поздно переменяли марсея! — продолжал флаг-офицер.

— Ну, положим, чуть-чуть опоздали...

Флаг-офицер ожил.

— Вас требует адмирал! — проговорил он, довольный, что не ошибся и нашел именно того, кого требовал адмирал.

— Так и знал! — воскликнул Петр Дмитриевич с тоскою в голосе. — Так и знал... Минутой позже и сейчас — выговор... Это черт знает что такое! Что, как он? Очень того? Штормует? — допрашивал капитан.

— В самом разгаре...

— А фуражку топчет?

Адмирал, случилось, в минуту сильного возбуждения бросал фуражку на палубу и топтал ее ногами.

— Нет еще...

— Эй, Липкин! — крикнул Петр Дмитриевич.

Явился вестовой.

— Бегом наверх... Приготовить вельбот!..

Флаг-офицер вышел из каюты и, вернувшись на «Орел», доложил адмиралу, что приказание исполнено.

Несколько минут спустя громко стукнувшая дверь адмиральской каюты привела в радостное настроение вахтенного мичмана. Адмирал ушел к себе.

В это же время толстый капитан, мысленно призывая господ бога на помощь и тихонько крестясь, приставал на щегольском вельботе к адмиральскому корвету. Как-то осторожно ступая, шел он к адмиральской каюте.

— Что, как он? — спросил он мимоходом у вахтенного офицера.

Мичман безнадежно махнул головой и промолвил:

— Шторм двенадцать баллов, Петр Дмитрич!

Перед тем как войти к адмиралу, Петр Дмитриевич заглянул в его буфетную и спросил у адмиральского камердинера Тимошки:

— Где, братец, адмирал?..

— У себя-с.

— Очень он... того... сердит?

— Есть-таки! Да мне-то что! — с нахальной развязностью отвечал Тимошка.

Этот Тимошка, вольноотпущенный, из дворовых, наглый и дерзкий, с плутовским круглым лицом, покрытым веснушками, был прохудившая бестия. Зная все привычки барина, ловкий и расторопный, он умел угождать ему и сделаться необходимым, не боялся грубить и немилосердно обирал своего барина, старого холостяка. Адмирал был большой хлебосол и не жалел денег. Он любил, чтобы у него все было отлично, и приглашал каждый день к обеду, кроме штабных и капитана, еще несколько человек офицеров и гардемарин. Тимошка распоряжался всем хозяйством и, разумеется, охулки на руки не клал.

— Что, можно к нему войти? Как он?

— Известно, зверствует... Разве его не знаете? Вот сейчас графин кокнул с сердцов! — проговорил Тимошка.

Петр Дмитриевич струсил. В голове его ментально пролетела мысль: «Ну, будет, значит, форменный разнос!»

— Доложи! — как-то оборвал толстяк.

И, внезапно почувствовав прилив отваги, словно бы он шел на abordаж с сильнейшим неприятелем, Петр Дмитриевич приосанился и, по возвращении Тимошки, решительно и храбро вошел в адмиральскую каюту.

Адмирал ходил. Петр Дмитриевич поклонился. Адмирал остановился, пожал руку капитану и смотрел недоумевающе своими круглыми глазами на капитана.

Оба несколько мгновений молчали. Адмирал продолжал безмолвно смотреть на Петра Дмитриевича. Тот чувствовал легкое обмирание и усиленно сопел.

— Честь имею явиться, ваше превосходительство!

— Зачем?

— Изволили требовать, ваше превосходительство.

— Нет-с, не требовал!

Петр Дмитриевич отвесил поклон, пожал протянутую адмиралом руку и исчез из каюты со скоростью десяти узлов.

— Эй, Тимошка! — крикнул адмирал.

Никто не отзывался.

— Тимошка!.. Заснул, каналья?..

— Ну, чего вам? — проговорил, входя, Тимошка.

— Ивана Петровича послать!

Явился трепещущий флаг-офицер.

— За кем я вас посылал?

Молчание.

— Глухи вы? За кем я вас посылал?

Флаг-офицер безмолвствовал.

— Я вас посылал за Наумовым. Какого же черта вы мне Анисова подали, а?..

— Я, ваше превосходительство, думал...

Едва только молодой человек произнес последнее слово, как адмирал, начинавший было успокоиваться, внезапно побагровел.

— Думали? А кто просил вас думать?

Флаг-офицер молчал. Вся его поза выражала покорное сознание вины.

— Он думал?! Надо исполнять приказания,

а не думать-с! А то: думал! Я вообще заметил... э... э... э... что вы последнее время стали думать...

— Я, ваше пре-вос-хо-ди-тельство, стараюсь не думать! — коснеющим языком лепетал флаг-офицер.

— Стараетесь, а все-таки думаете, — смягчился адмирал. — Оттого и делаете глупости... Размышления там разные годятся на берегу, а не в море... Прошу помнить-с... Ступайте и не думайте!..

— Прикажете съездить за Наумовым?

— Не надо! — резко оборвал адмирал.

Флаг-офицер улепетнул из каюты и, придя в кают-компанию, объявил, что шторм проходит. Адмирал его разнес совсем легко.

— Советовал не думать? — иронически заметил кто-то из молодежи.

III

Чудный вечер сменил жаркий день и принес с собою прохладу. Адмирал вышел из каюты и стал гулять по палубе. Он мало-помалу стихал.

Матросы толпились на баке и лясничали. В одной из кучек, примостившейся у орудия,

старый матрос Никулин рассказывал о том, какие бывают начальники в гневе.

— У всякого, братец ты мой, свой характер... Всякий пылит по-своему. Наш осерчает, то ровно ведьмедь... ломит все... ну и ревет, словно его под микитки рогатиной шаркнули... Однако отходчистый, и нет того, чтобы драться...

— Это ты правильно, отходчистый... Загорится, запылит, а потом и забыл!.. — заметил кто-то из слушателей.

— Другой сердце свое больше на матросских зубах срывает, — философствовал на эту тему Никулин, — как отжарит с десяток морд, пыл-то и пройдет... Знавал я такого начальника... Уж и лют же был на зубы, ах лют, а вобче ничего себе... адмирал был форменный... А то, братцы, был у нас на корабле капитаном Севрюгин... Нонче он, сказывали, в отставку ушел... Жаловаться нечего, командир был добрый, порол с большим рассудком, а опять же свою привычку имел: в сердцах плевался. Ты, примерно, на руле стоишь, и уж не зевай, братец ты мой, ежели Севрюгин сердит. Рыскнул на четь румба, а уж он и плюнул

сверху, да так и норовит в самую морду по-пасть, так и норовит... И наловчился же по-падать...

— Ишь ты...

— Сам этто плюнет, да и кричит: «Что, мол, такой-сякой, попал?» — «Точно так, вашескобродие!» — отвечаешь и оботрешься. Исплюется — и ничего... Сердце и отойдет.

— А страшной наш-то... у-у-у, страшной! — замечает Аким Чижов, тот самый молодой матросик, простодушный и впечатлительный, которому попало от боцмана за слишком живое выражение своего мнения насчет адмирала.

— Это кто?

— Да адмирал.

— Деревня ты, Акимка. Ты настоящих страшных еще и не видал... Наш-то добер с матросом.

— Я, братцы, на его даве глядел... Страшной! Этто как озлился... Такой глазастый... буркулы заходили, как у волка. Сам весь дрожит... А ус евойный так и ощетинился... Глядеть было страшно... Кула...

Вдруг голос Акима осекся на полуслове, и

сам он стоит ни жив ни мертв. Перед самым его носом, в вечерней темноте, обрисовалась плотная фигура адмирала в белом кителе.

Невообразимый страх обуял молодого матросика. Мурашки забегали по спине. Он инстинктивно присел, пробрался за пушку и, ровно мышонок, что прячется от кота, проскочил к люку, спустился в палубу и заметался там, испуганный и бледный.

— Ты это что, Акимка? — спросил его матрос из кантонистов Петров, известный на корвете зубоскал, любивший поднимать на смех и морочить молодых матросов.

Аким рассказал и испуганно спросил:

— Что теперь мне будет?

Петров мрачно покачал головой и с самым серьезным видом ответил:

— А будет тебе то, что адмирал сейчас крикнет: «Кинуть, мол, грубияна Акимку Чижова за борт!» Вот что будет... Эх, жалко мне тебя, Акимка!

Аким совсем замер в страхе. Он и верил и не верил словам Петрова. Ему было жутко.

«Что будет с ним? Ведь что он сделал, о господи!» — думал молодой матрос, считавший

себя в эту минуту великим преступником.

И, охваченный паническим страхом, он бросился к корветскому образу и припал ничком в горячей молитве.

А в ушах его раздавался страшный голос: «Кинуть Акимку Чижова за борт!»

Но прошло несколько минут, а адмирал не приказывал кидать Акимку за борт и не отдавал насчет его никакого приказа, хоть и слышал мнение матроса о себе. Совсем уже стихший, он сказал капитану, чтобы освободили из-под ареста наказанного гардемарина. Затем в раздумье прошел в свою каюту, приказал Тимошке подавать чай, достать кексов и варенья и пригласить к чаю только что освобожденного из-под ареста «гардемарина с улыбкой».

Матросы скоро успокоили «деревенскую простоту» — Акимку, поверившего «кантоничине». Страх простодушного матросика прошел совсем, когда он убедился, что наказывать его не намерены. И с той поры Аким почувствовал расположение к адмиралу и находил, что он «добер», хоть и страшен в гневе.

На уроке*

I

Глухая осень. Дождь зарядил с ночи и мелкой дробью барабанит по крышам и окнам. Пасмурное, мокрое, петербургское утро, такое, когда, ворча и хмурясь, с неохотой расстаешься с теплою постелью, гонимый нуждою на мокрую улицу.

Сумрачно показалось утро на улице, но еще сумрачней заглянуло оно в узкий переулочек на Петербургской стороне и пробралось через мокрый серый забор в небольшую комнату надворного строения. Серым полусветом осветило оно бедную обстановку в комнате: стол, прислонившийся к стене, о трех ножках, этажерку с книгами и маленький клеенчатый диванчик... На нем, свернувшись клубком, лежал молодой человек, покрытый шинелью.

Из себя молодой человек худощав, чуть-чуть бледен. Глаза неглупые, серые с блеском; волосы темные, кудреватые, откинулись назад, оставляя открытым большой широкий лоб. Общее впечатление: энергичное, хоро-

шее лицо с добродушной, несколько лукавой улыбкой, показывающей в характере долю юмора.

Ворошилов только что проснулся. Он протер глаза, приподнялся и взглянул в окно. Увидав дождь, Ворошилов слегка поморщился и, взяв с полу сапоги, внимательно их осмотрел. Подметки на сапогах были истерты, и огромные дыры на каждом сапоге зияли темными пропастями.

— Эка, как скоро носят! — проговорил Ворошилов и стал одеваться.

Скоро Ворошилов был готов. Исправив свое старенькое, много поношенное платье, молодой человек подошел к этажерке и не без аппетита принялся за ломоть ситника.

«Чай, Агафья опять самовар предложит!» — подумал он.

И только что пробежала эта мысль, как в комнату вошла кухарка Агафья и сказала:

— Давать, что ли, самовар?

— Нет, Агафья, не давать. Что-то не хочется сегодня чаю.

Однако Агафья заподозрила искренность отказа. Она находила несколько странным не

желать по утрам (особенно по таким сырым, холодным утрам!) горячего чаю или кофе, а жилец (вспомнила Агафья) вот уже дней с десять как на вопросы агафьины: «давать ли самовар?» — отвечал: «не хочется».

Агафья нерешительно мялась на пороге. Ее рябое, покрытое оспенными ямками, рыжеватое, доброе лицо выражало некоторую внутреннюю борьбу. Заскорузлые ее пальцы вовсе без пути шмыгали по стене, а глаза — тусклые, старые такие глаза! — не в меру часто моргали.

— Вы бы, Николай Николаич, — наконец сказала кухарка, — выпили бы чайку, право. У меня чай и сахар есть, коли не побрезгуете. Лишние! — добавила старуха.

— Спасибо, Агафья. Не хочется.

— Ведь этак и заболеть недолго. Встамши, надо горячее. Без горячего — нельзя.

— Можно! — улыбнулся Ворошилов. — Вот на урок пойду — там выпью.

— Ну, как знаешь! — с сердцем воркнула Агафья и вышла вон.

На кухне Агафья стала чистить сапоги другим жильцам и вспомнила про то, что у Воро-

шилова сапоги худы.

«Эка сиротливый!..» — подумала кухарка.

Молодой человек внушал Агафье большое участие, и она словно бы мать заботилась о Ворошилове. То без просьбы с его стороны лачку к его жилетке прикинет, то украдкой рубашку ему выстирает, то — случилось — побольше дровец в его комнату принесет, несмотря на хозяйкину воркотню. Агафья сама была одинокая старуха — родные были далеко, в Пермской губернии — и искренно жалела одинокого Ворошилова.

— И не дает бог ему счастья!.. Все доброта! — не без злобы к этому качеству, проговорила Агафья и остановилась чистить сапоги.

С минуту она раздумывала. Потом подошла к своей кровати, оглядываясь, достала из-под нее маленький красный сундучишко и, сняв с образка ключ, отперла сундук. В агафьином сундуке было много всякой дряни, которую тем не менее Агафья очень берегла и не без гордости звала своим именем. Имя это было разнообразно; в сундуке была всякая всячина: старый подсвечник из томпаковой меди, несколько тряпья, дырявая таль-

ма*, несколько изорванных детских сорочек, бронзовая цепочка, купленная несколько лет тому назад для некоего городского, обещавшего на ней жениться, две-три пустых помадных банки, словом, немало всякого хлама, собранного Агафьей во время мыканья «по людям». Раскопав этот хлам, Агафья добралась до заветного уголка и вытащила оттуда старое порыжелое портмоне. В нем было на десять рублей бумажками и рубля на три мелочи. Агафья, крадучись, пересчитала деньги, прикопленные несколькими годами подневольного житья, и тут же ей вспомнилось:

— Кабы не этот рыжий дьявол, было бы шестнадцать рублей!.. Эх, мазурики!

Воспоминание это относилось, конечно, к городовому, который, заняв у Агафьи три рубля и поклявшись перед образом, что на будущей же неделе женится, мало того что не женился и не отдал денег, но даже с тех пор и не показывался на глаза.

— Без них и лучше! По крайности имение целое будет! — вздохнула Агафья, пересматривая свои капиталы.

Сперва кухарка отложила на кровать си-

ненькую с твердою решимостью в глазах, но через минуту сердце ее сжалось тоской. Она жалобно посмотрела на пятирублевую бумажку, словно бы, расставаясь с ней, она расставалась с любимым ребенком изо всего семейства.

— Довольно с него и трех! — блеснуло в агафьиной голове, и кухарка положила пятирублевую бумажку обратно в портмоне.

Бережно уложив имение и замкнув сундучишко, Агафья положила зелененькую в карман и несколько робко вошла в комнату Ворошилова.

— Николай Николаич. А что я вам скажу? — начала Агафья.

— А что, Агафьюшка? — спросил Ворошилов.

Кухарка опять заметалась и стала снова без пути скрести пальцами о стену.

— Я бы вас, Николай Николаич, попросила... (Тут Агафья поперхнулась, точно у нее кусок в горле засел.) Я говорю, Николай Николаич, что так как теперича... Но только вы... (Агафья решительно стала заикаться, и ее добрые глаза моргали без зазрения совести.)

Зачем же быть гордыми? Я, то исть, от сердца... И сам господь бог повелел... Возьмите вот три рубля! — наконец выговорила старуха и, вся покрасневшая, подала дрожащей рукой бумажку Ворошилову.

Молодой человек ничего не сказал, только пожал агафьину руку и заметил спустя несколько времени:

— Спасибо, Агафья. Только, чай, у вас у самой не густо денег?

— Есть еще. Только вы, Николай Николаич, не обидьте. Отдадите, когда бог поможет.

Капли пота струились по лицу кухарки, когда она вышла из комнаты к себе на кухню. Точно она какое-то трудное дело свершила. Но, свершив его, — она боялась, что Ворошилов откажется, — она повеселела и весь остальной день сносила хозяйкину воркотню, не огрызаясь, хотя огрызаться была мастерица, и даже вычистила маленькому хозяйскому сынишке башмаки, что делала крайне редко и что свидетельствовало о ее добром расположении духа.

Ворошилов ходил из угла в угол и только повторял:

— Экая деликатная! И откуда только набралась она этой тонины!

Потом подошел к столу и заглянул в свою расходную книжку. В ней было изображено следующее:

Расходы (примерные) на ноябрь.

Матушке отослать 5 р.

За квартиру 6 "

На стол 5 "

Фуражку новую 1 "

Сапоги 3 "

На покупку книг 3 "

Четверку чаю — 25 к.

Три фунта сахара — 50 "

Стирка белья — 75 "

Табак и гильзы — 75 "

За чтение в библиотеку — 50 "

Уплатить долгу 2 —

Разные расходы 3 —

— — — — —

Итого. 30 р. 75 к.

— Надо сократить расходы! Эх, кабы Буковнин дал сегодня денег! — подумал молодой человек.

Немного спустя Ворошилов шел на урок, на Английский проспект. Дождь не унимался

и заставлял молодого человека прибавить шагу. Через час Ворошилов позвонил у дверей квартиры Петра Ивановича Буковнина.

II

Семейство Буковниных сидело еще за самоваром, когда в столовую вошел Ворошилов. Петр Иваныч — пожилой господин, лет сорока пяти, в халате, с сигарой в зубах, поспешил приветливо пожать Ворошилову руку и добродушно пригласил его выпить чаю.

— На дворе холодно. Вы, Николай Николаевич, верно, озябли, — заметил он и обратился к жене:

— Соня! Налей-ка поскорей Николай Николаевичу чаю...

Молодая и красивая брюнетка в белом пеньюаре налила чаю и, подавая молодому человеку, улыбнулась и сказала:

— Смотрите, не обожгитесь. Горячий!..

— Не обожгусь!..

— Ну, батенька, каково мои гвардейцы успевают? Только вы не хвалите их, а правду говорите.

Два маленькие мальчика — сыновья Буковнина — посмотрели на Ворошилова и по-

краснели.

— Небось, заранее стыдно, что Николай Николаевич побранит? — засмеялся Петр Иванович.

— Ничего. Учатся хорошо, — ответил Ворошилов.

— Ну, а Соня как?.. — спросил Буковнин.

— Софья Ивановна только присутствует при уроках...

— И меня, Pierre, в ученицы записал?.. — надула губки молодая дама.

— Усердна уж очень стала... Видно, охота учиться! — несколько сухо сказал муж.

Ворошилов хотел было ответить, что Софья Ивановна не учится, а только ему мешает, но промолчал и усердно допил свой стакан.

Через несколько времени дети с Ворошиловым пошли в классную комнату. Скоро туда пришла и Софья Ивановна.

Ворошилов и не подозревал, что имел несчастье понравиться молодой женщине. Правда, он несколько удивился и даже сконфузился, когда, месяца три тому назад, Софья Ивановна пришла в классную комнату и про-

сила позволения присутствовать при уроках. «Верно, от скуки», — подумал Ворошилов и спокойно продолжал урок. Но, когда Софья Ивановна и на следующий день пришла в классную, Ворошилов даже несколько осердился. «Чего ей надо? Уж не за благонамеренностью ли уроков наблюдать?» Но барыня продолжала аккуратно приходить на уроки и сидела очень смиренно. Мало-помалу Ворошилов привык к присутствию молодой женщины и не обращал на нее внимания.

Раз только он заметил, что молодая женщина на него пристально смотрит. Он взглянул на нее. Она сконфузилась.

Что-то неопределенное, не то насмешка, не то сочувствие, промелькнуло у Ворошилова.

«Какой красивый однако этот учитель!» — подумала Софья Ивановна.

И молодая женщина стала мечтать далее. Конечно, мечты эти касались молодого человека. Софья Ивановна мысленно сравнивала красивую молодую фигуру Ворошилова с толстым, не совсем уклюжим, седоватым Петром Ивановичем и находила, что Ворошилову бы-

ло бы лучше на месте Петра Ивановича. «Если б его одеть в мужнин мундир да повести на бал, он бы произвел впечатление... Экие у него густые волосы!»

— Да не так! — раздался голос Ворошилова, внимательно следящего за задачей. — Ну, помножьте дробь на дробь. Как помножить дробь на дробь?..

— Надо числителя одной дроби помножить на знаменателя другой... — запищал мальчуган.

«Все дроби на уме. Экий медведь! На меня и не смотрит!» — подумала Софья Ивановна.

Ворошилов поднял голову, встретился со взглядом молодой женщины и невольно проговорил про себя:

— Чего она все...

И продолжал рассказывать о дробях. Впрочем, искоса раза два взглянул на молодую женщину.

«Хороша!» — промелькнуло у него в голове.

— Что же дальше будет? — спросил он у ученика.

Брюнетка улыбнулась, точно этот вопрос

относился к ней.

«В самом деле, что ж дальше будет? — подумала она. — А ничего. Отчего ж и не пококетничать с этим медведем?» — пронеслось в ее хорошенькой головке.

Ворошилов хмуро сидел за уроком, а Софья Ивановна, как нарочно, все улыбалась да шутила.

— Отчего вы все моих пасынков мучите, Николай Николаевич?

— Как мучу?..

— Да так. Все уроки да уроки. Вы бы что-нибудь веселей умножения рассказали.

— Петр Иванович мне не за сказки деньги платит! — проговорил Ворошилов и продолжал занятия.

Софья Ивановна несколько времени помолчала и потом спросила:

— Неужто, мосье Ворошилов, у вас все математика на уме?

— Нет, не все!..

— А я думала, что только математика! — проговорила молодая женщина и рассмеялась.

«Кокетничает! — подумал Ворошилов... И если муж ревнив...»

— Впрочем, я уйду... я вам мешаю! — снова начала Софья Ивановна.

— Да. Время на разговоры уходит...

— Ну, я буду сидеть смирно... Дети! И вы сидите смирно и слушайте ученого человека.

Когда кончился урок и Ворошилов было хотел уходить, Софья Ивановна остановила его и сказала:

— Куда ж вы, уж бежать?

И так ласково взглянула на него.

— Пора домой! — отвечал молодой человек и снова подумал: «А ведь хороша эта кокетка!»

Ворошилов шел домой недовольный. Во-первых, у Петра Ивановича он не спросил денег — как-то не пришлось, — а во-вторых, вместо математических выкладок, которые предстояло ему сделать дома (он был студент математического факультета), в голову его лезла «все несообразность», как он в сердцах назвал образ красивой женщины, закрадывавшийся, помимо его воли, в голову.

— Экий я глупый! Ну что изо всего этого

выйдет? — поставил он себе ясный вопрос, придя домой.

И в тот же вечер отвечал на него, рассмеявшись:

— Всего верней, что добрейший Петр Иваныч откажет мне от урока, и тогда опять зубы на полку... Надо держать ухо востро!..

В тот же самый вечер Петр Иваныч, сидя за вечерним чаем, очевидно, был не в духе и косо глядел на жену. Сперва он, было, ничего не хотел ей говорить, но наконец не выдержал и сказал:

— Соня!.. Неужели тебе не надоело сидеть в классной?..

— А это тебе мешает, Pierre?

— Это мне, Соня, не нравится!..

— А отчего? позвольте вас спросить, — улыбнулась Софья Ивановна.

— Оттого... — сконфузился Петр Иванович, — оттого... Ну, я этого не хочу!..

— Опять сиена ревности? — подсмеялась жена.

— И ты не будешь сидеть, или я откажу Ворошилову! — вспыхнул Петр Иваныч и, отодвинув стакан, быстро встал со стула и по-

плелся в кабинет, где долго просидел, задумавшись.

III

На другой день Ворошилов сидел на уроке суровой обыкновенного и, когда явилась Софья Ивановна, он ей поклонился и затем ни разу на нее не взглянул. Когда она спросила его: «отчего он такой сердитый?», он довольно сухо ответил, что не совсем здоров, и продолжал объяснять ученикам положение городов на карте. А Софья Ивановна, как нарочно, облокотилась на руки и упорно глядела на Ворошилова.

«Экая беспокойная! — подумал молодой человек. — Тебе хорошо шутить, а мне ведь от уроков откажут!»

«И не взглянет медведь!» — думала молодая женщина и продолжала кокетничать, довольная, что убьет часа два времени.

Отворилась дверь, и вошел Петр Иваныч. Он был краснее обыкновенного и несколько смутился, подавая руку Ворошилову. Буковнин сердито взглянул на жену и спросил Ворошилова:

— Что, Николай Николаевич, успевают мо-

лодцы?

— Успевают!

— Скоро и в гимназию можно... Соня! — обратился Петр Иванович к жене. — Ты бы пошла распорядилась, тебя повар ждет в столовой...

Молодая женщина улыбнулась и вышла из комнаты. Петр Иванович, понуря голову, поплелся за ней, потрепав по щекам обоих сыновей.

«Решительно потеряю урок. Петр Иванович ревнует. При чем же я-то тут?..» — подумал Ворошилов.

А в столовой в это время шла супружеская сцена:

— Софья Ивановна! Вы хотите, чтоб я отказал Ворошилову?

— Опять? — упрекнула жена.

— Да, опять! Это стыдно!

— Что стыдно?

— Да сидеть с ним...

— Ха-ха-ха... Вот Отелло!..

— К чему же вы меня раздражаете?..

— А к чему вы мне мешаете учиться?

— Не говорите вздору... Он вам нравится.

— А хоть бы и нравился?..

— Софья Ивановна! — крикнул муж.
— Петр Иваныч! — ответила жена.
— Если завтра я вас увижу в классной...
— Что тогда?
— Ты увидишь! — крикнул рассердившийся муж и хлопнул дверью.

IV

«Ну, слава богу, нет ее сегодня!» — подумал Ворошилов, усаживаясь на следующий день с детьми за стол и приготавливая тетрадки для диктовки.

— Ну, господа, готовы? — спросил он мальчиков.

— Готовы!

— Пишите: У бурмистра Власа...* «Верно, после бала спит и хорошо делает!» Написали?

— Власа... — повторили дети.

— Бабушка Ненила... «Сегодня попрошу у Петра Иваныча десять рублей! — мечтал Ворошилов. — Верно, даст, завтра первое число!..» Починить избушку... «Куплю сапоги... Этот старший туповат!..» Лесу попросила... Точка.

Из спальни слышались рыдания.

— Лесу попросила... Написали? — громко

повторил Ворошилов. «Верно, семейная драма! — подумал он. — Петр Иванович с Софьей Ивановной вовсе не пара!»

Из-за двери доносился резкий голос Буковнина. Слышались отрывочные фразы:

— Я от жены требую... Я вас взял в одной юбке... Я не позволю шутить!

— Отвечал, нет лесу... — диктовал Ворошилов.

— Ведь это бог знает что! — раздавался голос в спальне. — Постыдитесь!..

Рыдания становились сильнее.

— «Шибкая сцена ревности...» И не жди, не будет, — громко произнес Ворошилов, желая показать, что он ничего не слышит.

— Скандал в доме! Вешаться на шею!.. Дети! — бушевал голос Буковнина.

Нет ответа. Слезы.

— «Минуй меня сия чаша!..» Вот приедет барин, — продолжал Ворошилов еще громче. — Написали?..

Но дети остановились, и младший заметил:

— Это папа мамашу бранит?

— Пишите же: вот приедет барин...

Но мальчик не слушал и продолжал:

— Папа иногда сердитый бывает...

В спальне стихло. Дети продолжали диктовку. Когда урок был окончен, лакей попросил Ворошилова в кабинет к Петру Ивановичу.

Когда Ворошилов вошел в кабинет, Петр Иваныч заговорил смущенным голосом, опустив глаза вниз:

— Вы извините меня, Николай Николаевич... Но я нашел более удобным... Конечно, вы прекрасно преподаете, но я бы хотел...

Буковнин остановился и жалобно взглянул на Ворошилова.

— Я бы хотел...

— Вы, вероятно, желаете определить детей куда-нибудь в заведение? — пришел к нему на помощь Ворошилов.

— Да... именно!.. — весело сказал Петр Иванович.

— Так я больше не приду...

— Извините меня... так внезапно...

— Что ж делать! Имею честь кланяться!..

— Прощайте, Николай Николаич, мне, право, совестно... но только детей в заведение по-

ра!..

И, когда Ворошилов ушел за двери, у Буковнина точно гора с плеч свалилась, и он сказал:

— Баста учителей приглашать! Как раз жена сбежит, как описывают в романах.

V

«Разыгралось-таки драматическое представление», — думал Ворошилов, возвращаясь на Петербургскую сторону. Дождь хлестал ему прямо в лицо, но он не замечал этого, думая о случившемся. — «Эка кого приревновал! А я-то чем виноват? Опять ищи уроков! Фу, ты!»

И Ворошилов даже выругался.

Вернувшись домой, Ворошилов сел писать письмо к матери, в котором извинялся, что третьего числа она не получит ежемесячно посылаемых пяти рублей. «Случай такой вышел, — писал он, — нежданно-негаданно отказали от урока, но ты, матушка, не беспокойся; я опять найду урок; только постараюсь найти урок там, где жена любит мужа и с нашим братом, голяком, не балуется». Затем, в письме Ворошилов не без юмора рассказал о

случившемся и прибавил: «Верно, супруги помирятся, и барыня плакать не будет, а успокоится, найдя отраду своему сердцу в более изящном юноше, чем твой сын. Опыт заставит ее обманывать своего мужа остроумнее».

В тот же день Ворошилов пошел к приятелям и рассказал о своей горе. Приятели обещали сыскать урок.

С полмесяца поголодал он и хоть утверждал, что чаю не хочется, тем не менее Агафья заставляла его пить лишней ее чай и изредка приносила ему обедать.

Через полмесяца Ворошилов получил урок за тридцать рублей в месяц и снова ожил. Живет он по-прежнему впроголодь и скоро будет держать экзамен. Так живут многие из учащихся молодых людей. Еще хуже живут! Куда хуже!

Елка*

I

В этот поистине «собачий» вечер, накануне сочельника, холодный, с резким ледящим ветром, торопившим людей по домам, в крошечной каморке одной из петербургских трущобных квартир подвального этажа, сырой и зловонной, с заплесневевшими стенами и щелистым полом, мирно и благодушно беседовали два обитателя этой каморки, попивая из кружек чай и закусывая его ситником.

Эти двое людей, чувствовавшие себя в относительно тепле своего убогого помещения, по-видимому, весьма недурно, были: известный трущобным обитателям под кличкой «майора» (хотя «майор» никогда в военной службе не служил) пожилой человек трудно определимых лет, с одутловатым, испытанным лицом, выбритым на щеках, с небольшой, когда-то рыжей эспаньолкой*, короткой седой щетиной на продолговатой голове и с парой юрких серых глаз, глядевших из-под нависших, взъерошенных бровей, и прие-

мыш-товарищ «майора», худенький тщедушный мальчуган лет восьми-девяти с бледным личиком, белокурыми волосами и оживленными черными глазами.

Мальчик только что вернулся с «работы», прозябший и голодный, и, утолив свой голод горячими щами и отогревшись, рассказывал майору о тех диковинах, которые он видел в окнах магазинов на Невском, куда он ходил сегодня, по случаю ревматизма, одолевшего «майора», надоедать прохожим своим визгливым, искусственно-жалобным голоском: «Миленький барин! Подайте мальчику на хлеб! Миленькая барынька! Подайте милостинку бедному мальчику!»

Майор с сосредоточенным вниманием слушал оживленный рассказ мальчика, переполненного впечатлениями, и по временам ласково улыбался, взглядывая на своего сожителя с трогательной нежностью, казавшейся несколько странной для суровой по внешнему виду наружности майора.

— Так ты, братец, находишь, что эта елка очень хорошая? — спрашивал майор своим сиплым, надтреснувшим баском, наливая

мальчику новую кружку чая.

— Страсть какая хорошая, дяденька! — с восторгом воскликнул мальчик и лениво отхлебнул чай.

— Какая же она такая? Рассказывай!

— Большущая... а под ей старик весь белый-пребелый с длинной бородой... а на елке-то, дяденька, видимо-невидимо всяких штук... И яблоки... и апельсины... и фигуры... И вся-то она горит... свечей много... И все вертится... Я так загляделся на нее, что чуть было черта-фараона не прозевал... Однако, небось, вовремя дал тягу! — с веселым смехом прибавил мальчик и плутовато сверкнул глазами.

— А зазяб очень?

— Зябко было... Главная причина: ветер! — проговорил, напуская на себя серьезный, деловитый вид, мальчуган с черными глазами. — А то бы ничего... Два раза бегал чай пить... Да работа была неважная... Всего тридцать копеек насобрал... Погода!.. Вот что завтра бог даст!

— Завтра ты не ходи! — после минутного раздумья сказал майор. — Завтра я выйду на

работу!

Это известие, по-видимому, не особенно обрадовало мальчика, и он заметил:

— Да ведь ты нездоров, дяденька.

— За ночь нога отойдет. А ты не ходи! — внушительно повторил майор. — Нечего шататься, да и заболеть по этой погоде недолго. Ты ведь у меня дохленький! — прибавил майор. — И то сегодня в своей кацавейке, небось, попрыгал... Никак уж простудился?

И с этими словами майор, одетый в какую-то обтрепанную хламиду, заменявшую халат и покрывавшую его бурое голое тело, поднялся с табурета и приложил свою вздрагивавшую, грязную, но маленькую, видимо дворянскую руку к голове возбужденного и покрасневшего мальчика.

— Ишь... горячая! — сердито проворчал майор и спросил: — Болит?

— Не болит!

— И нигде не болит? Смотри, Федя, говори правду.

— Вот-те крест, нигде не болит! Только будто жарко немного.

— А ты спать ложись. Я тебя укрою. Вы-

спишься, и ладно будет!

Мальчик послушался и, сняв с себя навернутое тряпье, лег на постель, устроенную из пустого большого ящика, поверх которого лежал соломенный тюфяк. Майор заботливо укрыл ребенка рваным одеялом и своим так называемым «пальто», изображавшим собой нечто рыжее, неизвестно какой материи.

— Ну спи, спи теперь.

— А ты?

— И я скоро лягу.

Несколько минут в маленькой каморке, освещенной скупым светом небольшой лампочки, царила тишина. Майор сидел на своем табурете у кривоногого стола, погруженный в какие-то думы.

Товарищу его не спалось. Голова его полна была впечатлениями сегодняшнего дня, и он проговорил:

— Дяденька!

— Что тебе?

— А должно быть, такая елка дорого стоит?

— А ты думал дешево? — усмехнулся майор.

— То-то я и говорю. Поди, рублей десять.

Майор вместо ответа протяжно свистнул.

— Двадцать, что ли?

— И сто платят.

— Ишь ты. Богатые покупают?

— Да, брат. Нам с тобой такой елки не купить. А ты спи лучше!

— Не хоцца, дяденька...

— А ты все спи.

Мальчуган замолк и вздохнул.

Тем временем майор стал считать небольшую кучку медных денег, лежащую на столе. Оказалось всего сорок две копейки. Майор задумчиво покачал головой и тоже вздохнул.

— А у тебя была елка, когда ты был маленький? — снова заговорил мальчик.

Этот неожиданный вопрос, по-видимому, возбудил в майоре кучу воспоминаний из далекого прошлого, представлявшего такой резкий контраст с настоящим. Счастливое детство пронеслось перед ним каким-то светлым, радостным призраком и потонуло во мраке позднейших лет постепенного падения, воровства, пьянства и нищеты.

И он раздумчиво ответил:

— Была.

— Каждое Рождество была?

— Да... В сочельник всегда была...

— И хорошая?

— Чудесная... вроде той, какую ты сегодня видел...

И майор, невольно увлеченный нахлынувшими воспоминаниями, стал подробно рассказывать, какие у него бывали елки, и как он, одетый в шелковую красную рубашку, танцевал и веселился вместе с другими детьми, такими же нарядными, и сколько было на елке игрушек, фруктов и конфет, и как их раздавала его мать, красивая, статная бабыня...

Мальчик слушал, как очарованный, словно сказку, этот рассказ, наполовину правдивый, наполовину прикрашенный фантазией павшего человека, желавшего осветить лучезарным блеском хоть далекое прошлое.

И, когда майор замолк, мальчик несколько минут спустя спросил:

— Это ты, дяденька, все наврал? У тебя таких елок не было?

— Были!.. — ответил майор.

— Ну? — с сомнением протянул мальчик.

Майор понял, почему сомневался его товарищ, и пояснил:

— Прежде я, Федя, богатый был...

— Ишь ты... А теперь, значит, нищий! — недоумевал мальчик и вдруг грустно проговорил: — А у меня так никогда елки не было!

— А ты хотел бы елку?

— А то нет?

— Так, может, и у тебя будет елка! — решительно произнес майор, и его сиплый басок зазвучал нежностью.

В ответ на это мальчик недоверчиво усмехнулся, словно бы хотел сказать своему старому сожителю: «Ври, дяденька, больше!»

— Однако довольно-то нам языки чесать. Давай лучше, братец, спать.

И, потушив лампочку, майор улегся на свою убогую койку, прикрывшись всем своим гардеробом.

В скором времени мальчик заснул, и громкое его дыхание раздавалось среди тишины. Но майор долго еще кряхтел и ворочался на жестком ложе. Мысль об елке для этого бездомного сироты, скрасившего печальные дни горемычной жизни майора, гвоздем засела в

его голове. Недаром же он, старый пропойца, так привязался к маленькому существу и излил на него всю любовь своего сердца. Недаром же он стал менее пить с тех пор, как этот сирота был взят им от пьяной, развратной бабы, тетки мальчика, которая его била и с охотой отдала майору. И мальчик скоро полюбил своего доброго товарища и пестуна, никогда не обижавшего своего «дохленького» маленького приемыша...

Разные планы о том, как добыть рубля два-три, чтобы устроить завтра елку, бродили в голове майора и казались несбыточными. Надежды на его засаленное прошение, с которым он ходил иногда по домам и в котором изъяснялись беды престарелого майора, отца многочисленного семейства, раненного на войне, казались слишком рискованными, ввиду скептицизма петербуржцев, бессердечия швейцаров, торчащих перед праздниками у дверей, и ввиду собственной его, далеко не респектабельной наружности, в особенности его сиво-багрового мясистого носа, не внушавшего большого доверия... А эти уличные подачки слишком малы, чтобы набрать та-

кую сумму, какая требовалась.

Но чем более казались недостижимыми мечты майора об елке, тем сильнее загоралось желание осуществить их и доставить радостный сюрприз единственному в мире существу, привязанному к нему, давно всеми забытому и презираемому.

И майор заснул наконец беспокойным, тяжелым сном, но полный решимости, словно Наполеон перед Бородинской битвой.

II

Собрался он в поход рано утром, когда его маленький товарищ еще сладко спал. Перед тем майор, при свете лампочки, привел свою физиономию в возможно приличное состояние, закрутил усы по-военному и преобразился в раненого, т. е. подогнул колено и привязал его к деревяшке. После того он осторожно снял с мальчика свое пальто, накрыв спящего халатом, натянул пальто сверх дырявой жилетки, прикрывавшей голую грудь, повязал шею большим шерстяным шарфом и надел картуз с большим козырем. В общем получался военный вид, что и дало бывшему когда-то чиновнику кличку «майора»...

Квартирная хозяйка, бойкая вдова городского, уже возилась у плиты, когда в кухне появился майор.

— Что так рано, майор? — спросила она.

— Сами знаете... праздники... — сосредоточенно ответил майор, прикладываясь к козырьку и уже входя в роль военного человека. — Да и привык на службе-то рано вставать. Служба царская, сами понимаете!

Он вручил хозяйке пятнадцать копеек и, наказав купить ситника к чаю и накормить обедом мальчугана, попросил передать ему, чтобы он не выходил никуда из дому, пока майор не вернется, и вообще присмотреть за мальчиком, если он сделается нездоров.

— И то вчера прозяб! — прибавил он и, галантно приложившись к козырьку картуза, вышел вон.

Утро стояло морозное, такое же ветреное, как вчера, и прохватывало майора. Но он, казалось, не обращал на это внимания и твердыми, бодрыми шагами, серьезный и решительный, шел по направлению к кабаку, где был завсегдатаем. Войдя туда, он молча раскланялся с заспанным сидельцем, выпил ста-

канчик водки, крякнул и конфиденциально шепнул ему:

— А я к вам, Иван Филиппыч, сегодня с маленькой просьбой.

— Какая же будет ваша просьба, майор? — отвечал краснощекий ярославец.

— Тут есть одно обстоятельство... Мне бы рублик в долг... дней на пяток... Верьте...

— Ну уж это извините, майор... Насчет напиту, сами знаете, я вам завсегда оказываю кредит, а чтобы деньгами... Уж не прогневайтесь, майор... Небось, сегодня вы и больше рубля набираете.

Майор молча приложился к козырьку и вышел на улицу.

Сперва он обходил лавки и собирал копейки. Много обошел он таким образом лавок и набирал копеек сорок. А мороз крепчал, и майору становилось жутко от холода. Надо было согреться, и к полудню он зашел в закусочную, выпил еще стаканчик, съел порцию селянки, приготовленной бог весть из каких отбросов, и, обогревшись, снова вышел на улицу, рассчитывая «работать» теперь, обращаясь к проходящим, и при удобном случае

заходить в квартиры.

Майор благоразумно избегал очень бойких улиц и шатался более по улицам глухим, где не бывало городских. Завидя какую-нибудь даму, майор не без достоинства прикладывал руку к козырьку и тихо, словно желая сообщить какой-нибудь секрет, говорил: «Отставному военному, мадам. Не откажите?»

Но дамы по большей части пугливо прибавляли шаги и озирались: нет ли поблизости городского. Что же касается до мужчин, то они как-то безучастно внимали и русским и французским фразам майора, и трагическим и комическим его обращениям. Таким образом, пробродив часа два, бедный майор собрал еще всего двадцать копеек, поданных ему одною купчихой и каким-то подвыпившим господином, которого майор абордировал фразой: «на сорокоушку», *s'il vous plait* [10], что, видимо, очень понравилось веселому господину, давшему майору целый гривенник. Вообще «работа» шла плохо. Погода стояла дьявольская, и некогда было подавать милостыню.

Майор начинал снова зябнуть и падать ду-

хом при мысли об елке. Он пробовал было обращаться к швейцарам, чтобы его пустили подать прошение, но швейцары не пускали и посмеивались над его костюмом и над его серьезным видом, полным чувства собственного достоинства.

Тем не менее майору удалось-таки проникнуть во двор одного большого роскошного дома, минуя дворников, прочитать на доске фамилии жильцов, войти с черного хода в большую, светлую, теплую кухню и, поклонившись дебелой, краснощекой «кухарке за повара» самым любезным манером, сказать с изысканною вежливостью, стараясь придать своему сиплону баску возможно нежное выражение:

— Осмелюсь, мадам, беспокоить вас вопросом: генеральша Тонкоусова изволит быть дома?

Несмотря на столь любезное обращение, «кухарка за повара», быстро оглядев и костюм и физиономию неожиданного посетителя, весьма сухо спросила:

— А вам зачем нужно генеральшу? По каким-таким делам?

— По своим собственным, к прискорбию... По семейным делам... Я имел честь прежде служить под начальством генерала и потому осмелился... Не извольте, мадам, сомневаться! Я... отставной офицер... майор от армии... ранен пулей в ногу... Болезнь довела меня до несчастья... Пятеро детей... последний малютка... Не откажите подать генеральше это свидетельство...

И с этими словами, кинув на кухарку быстрый взгляд, словно бы испытующий степень произведенного впечатления, майор вытащил из-за пазухи засаленное прошение, в котором собственноручно изложил свои боевые заслуги, наделив себя многочисленным семейством, и протянул бумагу к кухарке, видимо несколько смягчившейся после красноречия майора.

— Напрасно только докладывать! — проговорила она. — Наша генеральша без рекомендации никому не подает.

Майор не без трагизма указал правой рукой на свою деревяшку и произнес с горькой усмешкой:

— А это разве не рекомендация?!

И, выдержав паузу, прибавил:

— Доложите, мадам, будьте снисходительны к несчастному майору. Быть может, генеральша соблаговолит пожаловать рубликом...

— Ни за что! Она у нас карахтерная и чистый скарעד! — с внезапным раздражением ответила кухарка. — Много-много двугривенный даст и то вряд ли. Вы подождите. Вот придет лакей. Он доложит...

Майор снова упал духом и думал уж уходить пытаться счастья в следующем этаже, как вдруг быстрый его взгляд заметил, что в жестяной лоханке, совсем близко от него, лежит целая куча серебряных ложек, ножей и вилок, предназначенных для мытья. И внезапная мысль осенила майора.

«Две ложки совсем бы устроили его дело. Сбыть их можно за два рубля, и елка готова!» — пронеслось в его голове с быстротой молнии в то время, как он в мрачной позе трагического актера едва заметно подвигался к соблазнительной лоханке. Он испытывал и страх неудачи и сладкое волнение при мысли о радости мальчугана, и зорко наблюдал за кухаркой.

Прошла минута, другая, третья. Кухарка отвернулась. Майор в это мгновение страшно закашлялся, и пара ложек была уже у него за пазухой, а сам он в почтительном отдалении от лоханки все в той же трагической позе.

Все обошлось благополучно. Кухарка ничего не заметила.

— Простите, мадам, еще слово: быть может, лакей не скоро придет? — осведомился наконец майор.

— Верно, гости. Он и торчит там...

— В таком разе уж лучше я завтра, с вашего позволения, приду, а сегодня в другие дома наведуясь... Позвольте вас чувствительно поблагодарить за готовность и пожелать вам всего хорошего в жизни. Adieu![11]

Раскланявшись еще с большей любезностью, майор, надев картуз, вышел из кухни и не без некоторой тревоги прошел двор. Выйдя за ворота, он торопливо зашагал вдоль улицы, и, только очутившись на значительном расстоянии от большого дома, облегченно и радостно вздохнул, с торжеством победителя нащупывая в кармане будущую елку.

В седьмом часу майор вернулся в свою трущобу озябший, слегка выпивший и радостно взволнованный. На плече у него была небольшая елочка с красными бумажными обручами и розанами, а в большой суме, подшитой под пальто, лежало несколько свертков и полштоф водки.

При виде майора с елкой, квартирная хозяйка разинула рот — до того это было неожиданно и ни с чем несообразно. Она, впрочем, любезно разрешила майору убрать елку в своей комнате, чтобы порадовать мальчика неожиданностью.

— Кстати он и спит! — сказала она и прибавила: — Ишь ведь выдумали! Видно, майор, сегодня хорошо работали?

— Ничего себе... недурно! — не без гордости отвечал майор, вынимая свертки.

И вслед затем он приступил к уборке елки. Делал он это с самым серьезным и торжественным видом, весь погруженный в свое занятие. Хозяйка помогала ему, перевязывая нитками разные вкусные вещи, которые майор развешивал сам, стараясь придать елке пышный и элегантный вид.

— Ай да майор! Сколько накупил! — удивленно восклицала по временам хозяйка.

— Нельзя... Уж елка так елка! — весело замечал майор, не отрываясь от работы.

Наконец елка была убрана и свечи укреплены. Майор обошел елку со всех сторон и, видимо, остался доволен.

— Ведь хороша, Матрена Ивановна?

— Уж на что лучше, майор. Хоть бы генеральскому сыну! — одобрила хозяйка.

Майор зажег свечи и осторожно внес елку в маленькую свою каморку. Следом за ним квартирная хозяйка несла водку, колбасу, кусок ветчины и булки и все это расставила на маленьком трехногом столе, составлявшем главную мебель майорского помещения.

— Федя... вставай, братец! — будил майор своего товарища.

Ослепленный светом, мальчик встал и, протирая глаза, изумленный смотрел на маленькую елочку, горевшую огнями и убранную десятком яблоков, копеечными пряниками, мармеладом, золотыми орехами и разными дешевыми украшениями.

Мальчику казалось, что он во сне, и он сто-

ял около елки, словно очарованный, не смея к ней подойти.

Майор любовался и восхищением мальчика и произведением своих рук.

— Я обещал тебе елку, Федя... Ну вот она и есть! — проговорил радостно майор, и в голосе его звучала бесконечная нежность...

Мальчик пришел в неописанный восторг. Приблизившись к елке, он жадными блестящими глазенками оглядывал ее во всех подробностях.

— Да ты ешь, Федя... Что хочешь ешь... Все — твое! — говорил майор, поднося Матрене Ивановне стаканчик.

Мальчик не заставил себя просить и стал уписывать за обе щеки и сладости, и ветчину, и колбасу, не особенно заботясь о последовательности.

В не меньшем восторге был и майор. Он довольно скоро распил с Матреной Ивановной полштоф и любовно поглядывал на своего товарища и на елочку, осветившую радостным светом их убогую каморку и горемычную жизнь.

Из-за пустяков*

I

Вдова подполковника, более известная, Впрочем, в Коломне под именем полковницы, Марья Ивановна Кропотова, бодрая, деятельная, подвижная дама, с вечно сбитым набок черным чепцом, попеременно прикрывавшим одну половину сильно поседевших, некогда темных волос, здоровая, высокая и прямая, несмотря на пятьдесят четыре года, которые она с честью носила на своих широких плечах, стойко и храбро выдерживая житейские невзгоды, — вот эта-то почтенная дама только что, как она выражалась, «пришла в себя» после обычных хозяйственных забот, волнений и мелочных дрызг утра.

Отпустив подростка-дочь в гимназию, а сына на должность, она, по обыкновению, вдосталь накопилась в рынке, обнаруживая неизменный ужас, обратившийся в привычку, при объявлении цен провизии, волновалась, выбирая огузок, корила торговцев, спокойно слушавших ее обычные философско-экономические соображения, пересыпан-

ные энергическими приветствиями — следями прежнего близкого знакомства с лагерной жизнью в качестве офицерской жены, — и торговалась до остервенения, мужественно отстаивая каждую копейку, стараясь выгадать лишний кочанок капусты, лишний пяток картофелин. И когда ей это удавалось — что бывало довольно часто, — она шла домой, мимо лавок, имея позади себя кухарку с корзиной на руках, а впереди мохнатую собачонку «Буяшку», торжествующая, с покрасневшимся лицом и пересохшим горлом, в съехавшей на сторону шляпке и порыжелой тальме, словно полководец, возвращающийся после одержанной кровопролитной битвы, сопровождаемая почтительными приветствиями торговцев Литовского рынка, видевших неизменно каждое утро, вот уж пятнадцать лет, Марью Ивановну, которую остроумие рынка давно уже окрестило «генерал-полковницей».

Дорогой Марья Ивановна давала краткие указания насчет жаркого и кисленького соуса и, возвратившись домой, в Прядильный переулок, немедленно принималась за дела. В те-

чение сегодняшнего утра она успела, конечно, несколько раз поссориться и примириться с кухаркой, пожурить дворника за дрова, знакомую селедочницу за подлые селетки, и придать своей маленькой квартирке тот вид образцового порядка и чистоты, которым она по справедливости гордилась. Наконец после педантической «уборки», после залезания со щеткой во все недостижимые для других углы, где могла быть паутина, после генерального осмотра «детского белья» (о своем она не заботилась) — осмотра, заставлявшего ее не раз застывать перед какой-нибудь дырявой сорочкой или иной принадлежностью белья, приходившей в разрушение, — в позе Наполеона во время Аркольской битвы* или Архимеда, углубленного в решение задачи, — она наконец в первом часу дня, утомленная и разбитая, несколько успокоилась, поправила чепец, привела себя в более приличный вид и почувствовала потребность выпить чашку кофе.

Три комнаты ее квартиры, с перемытыми цветами на окнах, кисейными занавесками, чижиком и канарейкой, с чистенькой мебе-

лью, сияли, как стеклышко; кухня с сверкавшей на солнце медной посудой, расставленной по ранжиру на полках, с выскобленными добела двумя кухонными столами, не оставляла желать лучшего и ни одним своим углом не оскорбляла взыскательного и зоркого взгляда хозяйки; требовавшее ремонта белье сложено отдельно и план действия относительно него составлен. Все и везде блистало порядком, сверкало чистотой. Чижик и канарейка заливались вперебой. Буяшка, после дарового завтрака в мясной, сладко спал в своей корзине, свернувшись мохнатым клубком; и Марья Ивановна, с сознанием исполненного долга и с чувством утомления во всех членах, считала возможным наконец «придти в себя» и присесть за чашку кофе в своей маленькой, загроможденной разнокалиберной мебелью комнатке, которую дети и близкие знакомые не без некоторого основания звали «музеем редкостей».

В самом деле, чего только не было в разных ящиках, бесчисленных шкатулках и коробочках, аккуратно расставленных на старомодном туалете красного дерева, к которому

подходил всякий нуждающийся в пуговице, костяшке, ленте! Начиная с кульмского креста* и медали двенадцатого года — единственного, кажется, наследства, доставшегося полковнице после смерти ее родителя — и кончая машинкой от галстука и заржавевшей пряжкой от жилета, — все годные и негодные в хозяйстве предметы можно было бы найти в каком-нибудь из этих хранилищ. Литографированный портрет Марии Стюарт*, крышка от фарфоровой чашки, нитки, половина ножниц, старая бонбоньерка, закоптелый мундштук — все это хранилось про случай. Марья Ивановна любила все прибирать к месту, спрятать, рассчитывая, что все пригодится; быть может, даже и медаль двенадцатого года. И когда к ней приходили за чем-нибудь, она всегда, смеясь, говорила: «Видишь — и музей пригодился!»

И теперь, на отдыхе, за чашкой кофе, голова ее не переставала работать в хозяйственном направлении. Трудно, ах, как трудно сводить концы с концами при маленьком пенсионе и при этой дьявольской дороговизне. «Чего только правительство не обуздает мясни-

ков и булочников!» Приближался май месяц и предстояли кое-какие экстраординарные расходы, не вошедшие в смету ее скромного бюджета, и ей предстояла задача, пожалуй, более трудная, чем министру финансов, изыскать новые источники дохода или сократить расходы. Последнее, по совести говоря, было бы гораздо легче сделать министру финансов, чем ей, и как она ни ломала свою голову, а приходилось возложить некоторые надежды на ожидаемую прибавку к жалованью сына. Тогда можно сделать у него маленький заем, обновить гардероб подростка-дочери, сделать запас дров и т. п.; погасить же заем придется в конце года из получаемого ею ежегодно пособия из инвалидного капитала. Не век же Мите сидеть на пятидесяти рублях! Давно обещали прибавить!.. Однако могут и не прибавить!.. Конечно, она могла бы обратиться к старшему сыну или замужней дочери, они не отказали бы, но полковница почему-то энергическим движением головы отогнала эту мысль. Они должны и сами догадаться, а она кланяться не намерена. Если они думают, что она когда-нибудь заикнется им о своих за-

труднениях, то ошибаются... Очень ошибаются!

Пока мысли ее витали в области финансовых вопросов и она успела уже приняться за вторую чашку, как в передней раздался звонок.

— Кто звонил?

— Дмитрий Алексеевич вернулись! — отвечала Ирина, возвращаясь в кухню.

— Дмитрий Алексеевич?

Лицо Марьи Ивановны съежилось в вопросительный знак. Тревога загорелась в глазах. В нетерпении поскорей узнать, почему вернулся Дмитрий Алексеевич, когда ему следовало быть в должности, она хотела было лететь к нему, как в соседней комнате раздались знакомые шаги медленной походки и на пороге появился белокурый молодой человек, невысокого роста, с добродушным, не особенно красивым лицом, поросшим редкой русой бородкой.

II

Несмотря на улыбку, на спокойный, даже развязный вид, с каким молодой человек вошел в комнату, можно было заметить, что он

несколько смущен и взволнован. Быстрый, зоркий и встревоженный взгляд матери мгновенно прочел это в глубине больших, мягких, серых глаз сына, глядевших из-под длинных ресниц с каким-то едва уловимым оттенком тревоги, — в розовой краске румянца, еще не отлившего от нежно-бледной кожи лица, в нервном подергивании углов рта, в неестественной развязности движений, совсем не подходившей к общему складу этой скромной, непритязательной, флегматической фигуры молодого человека, стоявшего перед полковницей.

Сердце Марии Ивановны сжалось от недоброго предчувствия при взгляде на сына. Голосом, в котором тревога преобладала над сдерживаемым нетерпением и в то же время смягченным надеждой, она задала сыну вопрос, видневшийся в ее глазах, в нетерпеливом выражении ее лица и всей подавшейся с дивана вперед фигуре:

— Ты что это, Митя, так рано из должности?

Митя попробовал улыбнуться, махнул рукой и медленным голосом проговорил:

— Вы, маменька, заранее не тревожьтесь... Ничего особенного... Я... видите ли... покончил с занятиями...

— Да не тяни душу-то!.. — воскликнула полковница, с шумом отодвигая чашку и кофейник, — как покончил?

— Очень просто. Да вы не волнуйтесь, маменька, — снова повторил он, замечая, как лицо полковницы начинало краснеть...

— Да что же, что же?.. Говори, бога ради!..

— Я оставил сегодня место, правильнее сказать, меня уволили...

— Опять?!

Несколько секунд протекли в безмолвном взгляде, полном гневного остолбенения. В первую минуту этого известия полковница не находила подходящих слов.

«Опять!» — повторила она. И это уж был не возглас, а крик, имевший действие электрического тока, приставленного к заряженной гальванической батарее. «Который это раз... Ах, ты... дурак, дурак!..» Она вспыхнула, словно бочка, начиненная порохом, и — не слушая, как сын несколько раз повторил было: «Да вы не тревожьтесь, маменька», — вскочи-

ла с места и, захлебываясь от волнения, то останавливаясь на ходу, то присаживаясь на стулья, разразилась одним из бессвязных, длинных монологов, известных дома под именем «бенефисов» и который, по-видимому, нисколько не удивил Кропотова. Напротив, как только он увидал первый взрыв, выразившийся в потоках упреков, в брани, он как будто вздохнул спокойнее; тревожное выражение в его глазах сменилось обычным флегматическим спокойствием, и при первых же словах он плотно уселся в кресло, словно заботясь выслушать не предотвратимую теперь ничем сцену с возможно большим удобством.

— Умница... болван, — продолжала между тем полковница, багровая, словно бурак. — «Оставил место!» — передразнивала она медленный голос сына, растягивая ноты своего звонкого голоса, — точно генерал какой, у которого места в запасе, что грибы после дождя... «Уволили!»! Еще бы не уволить такое сокровище... Верно, опять с своими дурацкими рассуждениями сунулся. Очень его спрашивали! Нечего сказать: стоит такого блажного

слушать! Как же — нужно! Как угодно Дмитрию Алексеевичу? Нравится ли Дмитрию Алексеевичу?.. Который это раз ты места-то бросаешь? Все по себе, вишь, не нашел... Не хочешь ли быть китайским императором? Да и то, пожалуй, нам не по вкусу... Разборчивый... Невозможно... Не подходит... Из деревни тогда прогнали — эка нашел занятие! У нотариуса служил — не нравится; в банке — ушел; зять, спасибо, в таможне предлагал — не хочу... Дали на железной дороге место, кажется, место хорошее, считай себе и молчи, с цифрами нечего мудрить-то... восемь месяцев прослужил, видно, долго очень, и вот тебе на — уволили!.. Только ты меня не уверяй — «уволили», верно, ты опять с своей фанаберией? Недавно еще обещали прибавить жалованье; бухгалтер-то ваш — этот верзила-немец — дяде Андрею говорил, что тобой довольны, и вот-таки порадовал! У человека ни платья, ни белья, сам ляляка какая-то, а он туда же, места разбирать! У других людей цель в жизни есть, а он... Выродок какой-то! Вот старший брат Федя. Кончил, как следует, ученье, служит, полковник уже... Сестра На-

денька... да все люди как люди, а ты-то — балбес балбесом!

Она перевела дух, чтобы снова продолжать тот же монолог. Между тем Дмитрий Алексеевич по-прежнему сидел безмолвно, не пытаясь даже возражать, зная по опыту, что возражать в такие минуты все равно, что лаять на луну; он привык с малолетства к этим бестолковым вспышкам и продолжал слушать всевозможные варианты брани с покорным равнодушием, сменявшимся по временам, когда мать выдумывала уж очень смешные эпитеты, невольной усмешкой. Эта невозмутимость и пойманная ею усмешка привели полковницу в еще большую ярость.

Она подбежала к нему и остановилась, заложив руки назад и подавшись вперед всем корпусом.

— Скажи, пожалуйста, в кого ты такая телитина? Ну, полюбуйся на себя... Полюбуйся-ка на свою фигуру!.. У матери из-за него разрывается сердце — ведь мне что, хоть нищим шляйся по улице, я что могла — сделала, вывела тебя в люди! — а он развалился себе, как свинья, и горя ему мало!.. Нет — это ка-

кой-то урод, ей-богу, уродина, а не мужчина... Да ты и на настоящего-то мужчину непохож. Настоящий мужчина сейчас виден: у него самолюбие, гордость; он к чему-нибудь стремится, действует, чего-нибудь желает... осязательного... карьера, ну, средства... одним словом... А вы... кто вы такой? Ни чина, ни звания, ни места... Как собака — сегодня здесь, завтра там, и ему как с гуся вода... Да ты уж не воображаешь ли о себе? Ах, как умен... Ума твоего и видели... Нечего сказать — умник, большой умник... Поди, в самом деле воображает, что орел! Орлы, сударь, не такие!

Достаточно было взглянуть в эту минуту на Дмитрия Алексеевича, чтобы убедиться, что он не орел и не воображал себя таким, да вряд ли склонен был много воображать о себе. Он теперь уже не слушал с прежним спокойствием и, с увеличением азарта полковницы, взглядывал на нее с некоторым беспокойством, замечая, что лицо ее багровеет все более и более.

— Маменька, да вы не волнуйтесь...

Не волноваться? Легко было сказать это, но когда полковница «задавала бенефис», то

доводила его до конца... Еще не вся грозовая туча была разряжена, еще кровь клокотала...

— За тебя-то и замуж ни одна дура не пойдет, — между тем гремела она. — Очень нужно... нищих плодить... да и какой ты можешь быть муж? Ты, верно, думаешь, что эта стрекоза Анна Николаевна тобой интересуется? Как же!.. Жди кулик Петрова дня! Да ты каменный, что ли?.. Ну, что выпучил глаза? Тьфу ты! — плюнула с сердцем полковница. — Чурбан какой-то, а не человек!

И, задыхаясь от волнения, чувствуя, что слова уже исчерпаны, она вдруг выбежала из комнаты, неистово стукнув дверью, и скрылась в кухню, к немалому испугу Ирины.

Дмитрий Алексеевич тоже поднялся с кресла, прошел в свою комнату и присел, взяв со стола книгу. Но ему не читалось. Из всего монолога матери ему припоминалось только обидное мнение, что он не настоящий мужчина; и Дмитрий Алексеевич находился в большом сомнении относительно этого вопроса в применении к Анне Николаевне... Он долго занимал его, пока не был наконец решен в том смысле, что мать права, и что Анна

Николаевна действительно им нисколько не интересуется, да и вообще никакая женщина им заинтересоваться не может. С этим скромным и горьким для него решением он примирился, однако не без сердечной боли, но — увы! — все факты были налицо, и даже зеркало — маленькое зеркало, стоявшее на комод, в которое он взглянул, вероятно, по совету матери «полюбоваться на себя», и оно внушило ему такую же скромную оценку относительно своей наружности, какую только что сделала мать. С кличкой чурбана он не мог, по справедливости, согласиться, но нечто вроде этого... пожалуй... Он припоминал теперь — именно после взгляда — свои беседы с Анной Николаевной, и снова его брало сомнение: не отличаются ли матери пристрастием к своим детям и в отрицательную сторону?

III

Надо признаться, все эти мысли занимали нашего молодого человека гораздо больше, чем потеря места. С ним не в первый раз бывали такие казусы; он уже привык к этим потерям мест и никогда не рассчитывал, что где-нибудь придется долго оставаться. Как-то

все так случилось, несмотря на искреннее его желание иметь возможность честно зарабатывать себе кусок хлеба. Впрочем, он имел в виду на первое время уроки, ему обещал достать один сослуживец, а там — будет видно, он станет хлопотать, место, пожалуй, и подвернется. Во всяком случае, он мать никогда не стеснит — об этом смешно было и подумывать...

«И ругалась же в этот раз она! — усмехнулся Дмитрий Алексеевич. — Она так близко принимает мои интересы к сердцу, да и вообще кипяток!» — подумал он, чувствуя к матери горячую привязанность и глубокую благодарность за светлое и радостное детство...

Так размышлял Кропотков, пока наконец не почувствовал аппетита. Вследствие этой «истории», заставившей его бросить службу раньше того, как подавался в правлении чай с булкой, он ничего с утра не ел и весьма соблазнительно вспомнил теперь о стакане кофе с куском ситного хлеба с маслом. Но выйти из комнаты не решался: пожалуй, встретишь мать и только ее раздражишь опять; надо дать ей время успокоиться. Он было попробо-

вал заглушить голод чтением; однако это средство не помогло. Но в ту самую минуту, когда стакан кофе занял первенствующее место в его мыслях, дверь комнаты отворилась и в дверях неожиданно появилась сама полковница с ветвью мира — стаканом горячего кофе в одной руке и целым пеклеванником в другой.

— Не хочешь ли кофе? — произнесла значительно уже остывшая полковница, хотя и сухо, но с оттенком мягкости в голосе.

Дмитрий Алексеевич не заставил повторять просьбы и не отказался от второго стакана. Марья Ивановна, очевидно, чувствовала угрызение совести (что всегда бывало у нее после «бенефиса») и желание загладить свою вину, хотя и с соблюдением некоторой постепенности в переходе от ссоры к миру. Не говоря уже о густых пенках, которых она совсем не пожалела, ее миролюбивые стремления выразились и в нескольких ругательствах, адресованных в правление, где служил сын, и в отрывочных замечаниях, что на нее сердиться нельзя, что она иногда наговорит лишнего, у нее такой дурацкий характер... Ко-

гда, таким образом, начало было положено, полковница спросила:

— Ты толком-то расскажи, Митя, что у тебя там вышло. За что они придрались?

Сын рассказал. Он и сам не ожидал, чтобы из разговора, который он вчера вел с некоторыми из служащих, произошли такие последствия.

— Разговор был частный... Я высказал свое мнение...

— И зачем ты сунулся разговаривать... Считал бы себе цифры!.. — вставила мать, вздыхая. — О чем же ты разговаривал? — прибавила она, понижая голос. — Может быть, что-нибудь такое... Ах, Митя, Митя!

— То-то что ничего такого, маменька! — усмехнулся Дмитрий Алексеевич. — Просто говорили в конторе между собой... интимно. Очень уж исключительно, можно даже сказать, безжалостно высказывались там двое... Я возразил, меня многие поддержали... вот и все.

— Но как же начальство узнало? Слышало, что ли?

— Верно, какой-нибудь негодяй донес...

Подслужиться, что ли, захотел.

— Мерзавец! — вставила от себя с обычной энергией полковница.

— А сегодня директор правления призывает и черт знает чего не наплел. В конце концов объявил, что я уволен... Вот и вся история.

— И какие, господи, подлецы нынче развелись! — воскликнула Марья Ивановна. — Один на товарища шпионит, другие — слушают и человека оставляют без куска хлеба! О-о-ох, времена!

Помолчав, она спросила:

— Выдали ли тебе хоть месячное жалованье вперед?

— Черт с ними! Я не спрашивал.

— Вот это напрасно. Они обязаны выдать. Нельзя же так человека на улицу выбросить. Хорошо, у тебя вот есть мать, а у другого ни души-то нет. А ты, Митя, не тревожься, — вдруг прибавила она, — насчет там меня... Проживем, пока место найдешь. Слава богу, справимся! Только послушай моего совета, голубчик. Молчи ты лучше, молчи! Ни с кем не разговаривай, а то долго ли до греха. Захочет-

ся тебе поговорить, приходи ко мне и поговори.
Молчи, Митя, право, молчи!

IV

Действовавшая всегда и при всяких обстоятельствах с решительностью и энергией, нередко приводившими в смущение даже чиновников правительственных учреждений, с которыми полковнице, в течение ее долгого вдовства, приходилось вступать в непосредственные сношения — хлопоты о пенсии, о пособии из инвалидного капитала, об определении детей в учебные заведения, всего было! — Марья Ивановна в тот же день обдумала за починкой белья некоторый план.

Теперь, когда она остыла от первых взрывов гнева и первого впечатления, вся эта история представлялась ей такой вопиющей мерзостью, которую так оставить нельзя. И она не оставит, не такая она женщина, чтобы оставить — нет! Пусть этот тюлень Митя относится к этому делу с своим непостижимым для нее равнодушием, но она не согласна.

Тот самый Митя, которого она час тому назад ругала с таким ожесточением, в эту минуту преобразился в ее глазах совершенно. Он

был невинной жертвой, кротким ребенком, соединением всех хороших качеств — только бы не такой рохля! — таким «бедненьким мальчиком» (полковница в это время забыла о летах Дмитрия Алексеевича и чуть ли не представляла Митю в ситцевой рубашке), что святая обязанность матери заступиться за него, если он сам не может. По его робости и простодушию, всякий его обидит, но мать не позволит обижать. Она найдет управу!

И в ее довольно пылком воображении уже рисовалась картина свидания с директором правления, с главным начальником, кто там у них есть. Она изложит ему тихо, скромно, как следует порядочной даме — горячиться она не будет, нет! — как было все дело и, конечно, выяснит это недоразумение. Разумеется, директор правления был введен в заблуждение, но, когда узнает истину, он поправит ошибку, и Митя не только будет приглашен опять с извинением, но и получит давно обещанную прибавку. Если у «него» есть хотя капля совести, он не может иначе поступить.

Фантазия полковницы разыгрывалась на эту тему, пока ее ловкие пальцы быстро рабо-

тали над штопанием чулка. Разумеется, она прежде всего посоветуется с братом Андреем, расскажет ему об этой подлости и разузнает, какие там в правлении главные начальники. При всяких затруднениях она советовалась только с ним, чувствуя большое уважение и привязанность к этому старому холостяку, оставшему адмиралу, несмотря на то, что ни одна почти встреча брата и сестры не обходилась без горячей схватки между ними.

Тотчас же после обеда она поспешно надела шляпку, накинула на себя тальму и, не говоря ни слова сыну, посматривавшему с некоторым удивлением на ее решительный вид, вышла из комнаты, проговорив на ходу детям:

— К чаю не ждите... Да смотри, Люба, со свечой осторожней, когда будешь ложиться спать...

Однако, прежде чем идти на Васильевский остров, к адмиралу, она завернула к Покрову, где шла в это время вечерня. Поставивши свечку образу Николая Чудотворца, она стала сзади, между несколькими старухами, обычными посетительницами церкви, и минут де-

сять усердно молилась богу, несколько раз становясь на колени, припадая ничком к полу... После этого она вышла из храма; на паперти перекинулась двумя-тремя словами с псаломщиком, приветствовавшим ее почти-тельно-радушным поклоном, как обычную посетительницу Покрова и приятельницу всего клира, осведомилась у попавшейся навстречу дряхлой салопницы, которая по привычке плелась в церковь провести время службы, дан ли ход наконец ее прошению о принятии в богадельню, и, получив один и тот же, в течение десятилетних встреч, ответ, что «на днях велели наведаться», — полковница сердито повела бровями, сунула ей в руки пятак, быстро спустилась с паперти и понеслась на всех парусах на Васильевский остров.

V

Такой же высокий, прямой, как и сестра, брат Андрей, совсем седой, но бодрый и румяный старик с запущенной бородой, в коротком морском пальто-буршлате, сидел в своем кабинете, погруженный в занятия с большим черным водолазом «Понтом», который раз-

влекал только что проснувшегося старика своими фокусами. Он подавал адмиралу поноску, недвижно лежал перед куском сахара, схватывая его не раньше, как раздавались слова хозяина: «Из бухты вон, отдай якорь!», умирал, оживал по команде и выслушивал замечания старика, иногда даже и не касавшиеся непосредственно собачьих интересов, с таким вниманием хорошего собеседника, что старик недаром гордился своим старым Понтом и рассказывал об его уме и понятливости чудеса.

Полковница застала брата в ту самую минуту, как Понт, хотевший было броситься на звонок, по приказанию адмирала «умер» и лежал неподвижно, пока Андрей Иванович облобызался с сестрой, усадил на диван и приказал лакею поставить самовар; тогда только он разрешил Понту «ожить» и облизать руки полковницы.

— Пить чай вместе будем, сестра? Останешься?

— Останусь, братец. Здоровы?

— Как видишь. Утром только мозоль ныла, верно, к погоде. Барометр опускается, термо-

метр показывает четыре градуса, к вечеру еще опустится. А у тебя все, надеюсь, благополучно?

— Не совсем благополучно. Митя потерял место!

Старик покачал головой. Дело было серьезное.

— Как же это случилось?.. Однако непоседа твой Митя. Сколько уж он мест переменил!..

Полковница, позволявшая себе в минуту вспышек обвинять детей во всевозможных пороках и преступлениях, не позволяла никому, даже брату Андрею, сделать какое-нибудь не совсем благоприятное о них замечание. При словах брата она внезапно вскипела.

— Сколько мест потерял!? И вы, братец, готовы обвинить Митю?.. Да разве он виноват? Разве он по своей воле места-то терял... Не делать же в самом деле подлостей. Вы за это тоже не похвалите... Вспомните-ка... Ведь вы, братец, знаете Митю...

— Да полно, полно... Уж и загорелась! Ну, как не знать Митю — мальчик хороший... только, жалко, курса не кончил... Оно и трудней теперь с местами...

— Не кончил?.. С этими строгостями по-ди-ка кончи... Спасибо графу Толстому*, большое спасибо... за эту зрелость! Ну, да что говорить... Нет, вы лучше выслушайте-ка, братец, какую сделали подлость с Митей... Ведь если б я Митю не знала, так не поверила бы...

И полковница рассказала происшествие с сыном.

— Ну, что вы скажете на это, братец? — заметила она, когда старик, выслушавший рассказ с большим вниманием, молчаливо покачивал головой.

— Ддда... — протянул он, словно затрудняясь приискать надлежащее слово для выражения чувства гадливости и отвращения, которое ясно выразалось в гримасе, искривившей его лицо. — Ддда... Что тут сказать? По моему, эту гнусную тварь, этого (адмирал произнес очень резкое слово)... этого подлеца, предавшего частный разговор товарища, мало выдрать как Сидорову козу. Вот что я тебе скажу, сестра! Хороши товарищи, нечего сказать! В наше время знаешь что делали в корпусе с фискалами?.. Правда, таких немного было... Я помню, как в тысяча восемьсот два-

дцать шестом году...

— Вы рассказывали, братец, этот случай, — перебила сестра, зная, что адмирал, раз отклонившись, очень долго будет бродить в воспоминаниях.

— Рассказывал? То-то... Еле живого подлека снесли в лазарет. Хорош и директор правления, нечего сказать, хорош! Слушает наушника и гонит со службы не доносчика, а оговоренного... Приди ко мне такой молодец, я бы тотчас его выгнал со службы, как паршивую собаку. Помнил бы! А ему, пожалуй, за это там повышение дали, а? Нынче, сестра, на это иначе смотрят! — заметил старик с презрительной усмешкой.

Помолчав, он прибавил:

— А ты сердись не сердись, сестра, но я тебе скажу, что Мите все-таки не следовало разговоров на службе вести... Хотя и частная служба, а все служба, и коль скоро служишь — служи, а мнений не высказывай...

— Уж слова нельзя сказать! — вставила полковница.

— Быть может, он и в самом деле там что-нибудь такое говорил, за что похвалить нель-

зя? — продолжал адмирал.

— Ах, братец, что вы! Я передавала вам его разговор. Митя никогда не лгал... Я знаю его.

— То-то знаешь. И я знаю... Положим, в словах его ничего такого нет. Ну, молодость, сердце доброе, поневоле жалость вырвется. И я вот старик, слава богу, государю и отечеству пятьдесят лет служил верой и правдой, и я, говорю, мог бы то же сказать... Все это ничего, а как вдруг да твой Митя... — прибавил Андрей Иванович, понижая голос, и необыкновенно строго и серьезно взглянул на сестру.

— Митя-то? — проговорила полковница, внезапно пугаясь. — Да бог с вами, братец! К вам иногда такая мысль взбредет в голову, что даже испугаешься! Эка что выдумали!.. Да куда Мите! Он и знакомств-то таких никогда не водит, и характера не такого... Да и пуглив он на эти дела... Поговорить он иногда — это точно, поговорит там насчет разных несправедливостей, а чтобы... Господь с вами! Придет же вам в голову, братец Андрей... даже напугали!..

— Ну и слава богу. Нынче ведь, сама знаешь, всякая мысль придет в голову. Вот еще

сегодня в газете пишут...

Адмирал пустился в политику. Ах, что такое делается! Что пишут! Он искренно возмущался разрушительными стремлениями, имевшими целью, как он полагал, добросовестно цитируя передовую статью, уничтожить решительно все: дворцы, памятники, дома, магазины, лавки, отобрать у всех имущество и деньги, словом — не оставить ничего в целости и затем перерезать, повесить, перетопить всех, несочувствующих такому решительному образу действий. Когда Андрей Иванович прочитывал такие статьи, он приходил в негодование, хотя и решительно отказывался понимать, как все это может быть, и иногда даже подозревал, не хватил ли автор статьи через край, приписывая такие намерения.

— Теперь я получаю восемьсот пятьдесят рублей пенсии! — говаривал старик, пытаясь на конкретном примере уяснить себе вопрос. — Получаю я за какую ни на есть, а все за службу. Хорошо. И что же? Так вот придут ко мне они и скажут: «Шабаш твоей пенсии, а тебе, адмиралу, капут!» Разве это справедли-

во? Уж если отнимать по совести, — фантазировал, бывало, старик, — то отними ты у тех, кто там разными хапанцами да арендами, да землями, да мало ли чем несправедливо набил себе мошну, но за что же у меня?.. За то, что я по чести прожил свой век!? Шалишь, братцы!

Но так как никто к старику за пенсией не приходил, то он, помечтавши после прочтения передовой статьи на эту щекотливую тему, скоро успокаивался насчет всеобщего разрушения. Тем не менее нельзя сказать, чтобы он оставался совершенно равнодушным, когда от таких статей переходил к вопросам, имеющим отношение к более близким интересам. Старик нередко негодовал и возмущался, что много несправедливостей и несовершенств творится в божьем мире и что дела на свете идут не так, как бы им следовало идти.

— Но все это поправимо и без того, чтобы отнимать у него пенсию, — философствовал адмирал. — Ну, можно, пожалуй, сократить ее, что ли, — жертвовал он самоотверженно pour le bien public[12] частью пенсии, — если находят, что она велика; вероятно, и другие согласятся на это... Все поправимо, стоит

только всем действовать по совести, по чести, не обижая никого. Тогда и разрушать ничего не придется...

— Каждый поступай по совести, а у кого совести нет, того на Сахалин! Не так ли, сестра?

Таким вопросом обыкновенно заканчивались политические соображения старика, на склоне жизни получившего вкус к политике. Прежде он о ней и не думал.

И теперь адмирал, несмотря на нетерпение сестры, не охотницы до рассуждений о предметах, не имеющих непосредственного интереса, — заставил сперва сестру выслушать себя, прежде чем задать ей вышеприведенный вопрос.

Она, конечно, не задумалась бы в эту минуту не только сослать на Сахалин, но даже и куда-нибудь подальше директора правления, выгнавшего со службы ее сына, — о том мерзавце и говорить нечего, — но, как практическая женщина, очень хорошо понимала, что это невозможно. И потому на «философию» брата ответила без всякого философского спокойствия:

— Когда еще это все будет, а пока Митю-то

выгнали!.. Но я этого дела так не оставлю.

— Что ж ты думаешь делать? — спросил адмирал, взглядывая с некоторым беспокойством на сестру.

Она рассказала о своем плане идти в правление и спрашивала совета.

— О, когда нужно, я сумею, братец, говорить самым дипломатическим языком! — прибавила она в успокоение брата Андрея и при этом взглянула на него с такой самоуверенностью, что после этого, казалось, усомниться в ее дипломатических способностях было преступлением.

Однако брат отрицательно и энергично покачал головой. Она только напрасно пойдет туда. Уж если директор уволил, не разобравши даже дела, то нечего с таким человеком и разговаривать.

— Но, быть может, ему наплели на Митю.

— Тем хуже. Зачем слушает!

— Так неужели так и оставить эту подлость? Нет, братец, я не согласна. Если директор оказался мерзавцем, я ему выскажу это, — она уж забыла в эту минуту о дипломатии, — а потом пойду к другому. Кто там выше?.. Вы

знаете, братец? У них Совет еще есть... Так я найду и туда дорогу.

— Не ходи, сестра! Уж если ты так хочешь, я сам схожу к директору, хоть, признаюсь, и не надеюсь на успех, но попытаюсь. По крайней мере, я поговорю толком, объяснюсь.

— Отчего же мне не сходить? Точно я дура какая, толком не умею говорить. Слава богу, вы знаете, братец, детей определила я, из invalidного капитала четыре года не хотели выдавать пенсии, все говорили: выйдут новые правила! — а я все-таки получила. Говорить-то я толком умею. Меня, слава богу, знают там. Спросите-ка у них, как я говорю!.. — отстаивала свои права полковница.

— То-то очень уж ты говоришь... Кипяток! Да ты там, пожалуй, директору такого напоешь, что потом к мировому. Ведь у тебя язык, когда ты вспылишь, известный!

— А у вас, братец, не язык, что ли?..

— Все-таки я хладнокровнее тебя, сестра Мария.

— Ну, братец Андрей, а вспомните-ка ваше хладнокровие, когда вы... Ну, да что вспоминать... У нас в крови это...

Дело, по обыкновению, чуть было не дошло до горячего спора между братом и сестрой. Адмирал стал горячиться, доказывая, что он владеет собой и что морская служба приучила его к этому; полковница тоже горячилась, ссылаясь на правительственные учреждения, которые хорошо знают: умеет ли она говорить. По счастью, лакей доложил, что подан самовар, и старик прекратил спор, заметив:

— Тебя не переспоришь. Пойдем-ка чай пить...

За чаем однако полковница согласилась, чтобы адмирал отправился к директору и поговорил с ним, так как «мужчина мужчину более слушает» — этот мотив старик придумал для успокоения сестры; если же будет неудача, тогда полковница пойдет к председателю Совета. Кроме того, брат обещал хлопотать за Митю у одного старого товарища, который имеет связи с разными банками. Завтра же он пойдет и попросит. Бог даст, что-нибудь и удастся.

— Спасибо вам, брат Андрей! — с чувством проговорила Марья Ивановна, останавливая

нежный взгляд на брате, всегда принимавшем горячее участие в ее судьбе, — вы...

— А Митя как... философом? — перебил старик, торопясь замять излишние сестры.

— Именно философ... Пожалуй, если он и недоволен, что остался без места, так больше из-за меня. Вы знаете, какой Митя деликатный; скорее все мне отдаст, чем от меня возьмет. Недавно завелись у него какие-то десять рублей, он принес: «нате, говорит, маменька, Любе платье сделайте». Теперь вот, верно, об уроках хлопочет... Всем хорошо, только одно: совсем он тюлень какой-то, и нет у него никакой амбиции, как у других. Точно ничего он и не хочет!.. Я иной раз дивлюсь даже...

— Да, мальчик он добрый! — согласился старик. — Не эгоист, как бывают другие дети.

Кто эти «другие», старик не прибавил, а полковница благоразумно сделала вид, что не слышала последних слов.

Разговор перешел на другие предметы, и адмирал, между прочим, поднял вопрос о даче.

— Какая дача! — воскликнула Марья Ивановна.

— Разве Федя не догадался об этом? Он, слава богу, получает — шутка сказать — три тысячи жалованья, один, и его не разорило бы прислать каких-нибудь сто рублей, чтобы мать и маленькая сестра отдохнули летом.

— Он предлагал, братец, он предлагал! — с внезапной быстротой возразила Марья Ивановна, — еще на днях писал об этом.

Несмотря на похвальбу полковницы своими дипломатическими способностями, только что сказанная в защиту сына ложь была заметна. И торопливость, с которой она тотчас же отвела взгляд с брата на самовар, и какая-то неестественная быстрота ее возражения выдавали ее совсем. Однако адмирал, в свою очередь, сделал вид, что не заметил смущения сестры, и, помолчав, проговорил:

— Нынешним летом и я собираюсь, сестра, на дачу!

— Вы? — изумилась Марья Ивановна, хорошо знавшая, что старик терпеть не мог дач и всегда летом оставался в своей квартирке во дворе, в четырнадцатой линии.

— Чему ты удивляешься? Ну да, я! Не все же киснуть в городе. Давеча и доктор совето-

вал; вам, говорит, морской воздух нужен. Вот собираюсь на неделе съездить в Мартышкино посмотреть дачу. Там и воздух, и дачи, говорят, дешевые... Ты ведь жила там?

— Да, там можно дешево найти дачку.

— Но только одному жить скучно. Если бы ты согласилась вместе с Любочкой и Митей, а? Я бы очень был рад.

У полковницы наверху на глаза жгучая слеза. Но старик опять-таки ничего не заметил и, вставая из-за стола, проговорил:

— Смотри же, сестра, это дело решенное. Переезжайте ко мне на дачу; так и крестнице моей, Любочке, скажи... Надо и мне подышать свежим воздухом. И то по временам так ломит поясницу, так ломит... Эй, Понт, едем на дачу! Слышишь? — весело крикнул старик.

VI

Дня через два, в самый разгар домашних хлопот полковницы, когда она, возвратившись с рынка, стояла посреди гостиной, с засученными рукавами, в переднике, со щеткой в одной руке и тряпкой в другой, только что окончив перемывку цветов, — вслед за звон-

ком, в гостиную вошла элегантно и со вкусом одетая, красивая и изящная молодая женщина, высокая, стройная, резкая брюнетка с матовым цветом нежной кожи, правильными чертами прекрасного, но несколько холодного и безвыразительного лица. Сходство с полковницей невольно бросалось при взгляде на эту даму, но какая разница между матерью и дочерью! Она резко сказывалась в сдержанности и мягкости манер, спокойном, строгом даже, взгляде блестящих черных глаз, в этой выхоленности, свидетельствующей, что мелкие и тяжкие заботы недостаточной жизни незнакомы молодой женщине. Улыбка, появившаяся на ее лице при виде полковницы в таком наряде и вооружении, не скрыла озабоченного выражения ее лица.

— Наденька, это ты! А я думала, кто бы это? — воскликнула полковница, обнимая дочь.

— Вы, маменька, по обыкновению, вечно чиститесь.

— Нельзя же... У меня прислуг нет. Ну, садись, снимай шляпку да рассказывай, что у вас... Все здоровы? Кофе будешь пить?

— Я, маменька, ненадолго. У меня тоже дом на руках! — проговорила она с важностью молодой хозяйки. — Я приехала к вам на минуточку — поговорить о Мите.

— Разве место какое есть? Муж нашел?

— Какое место! Коле, маменька, не до того. Он так занят, так занят!.. Ему теперь дали новое поручение... Его, маменька, выбрали, как лучшего товарища прокурора, и, быть может, даже наверное, карьера его будет блестящая, если только...

Она остановилась на минуту и прибавила с ядовитостью:

— Если только братцу не угодно будет помешать нам!

Братцу! Какому братцу? Полковница ровно ничего не понимала. Она широко раскрыла глаза и даже выпустила незаметно из рук тряпку, которую захватила с собой, присев на стул возле дочери.

— Да говори ты, Наденька, толком. Что это у тебя за манера прежде напугать, а потом сказать, в чем дело? Прежде у тебя этого не было. Верно, от благоверного научилась.

— Я, кажется, маменька, говорю понят-

но! — усмехнулась чуть-чуть Наденька. — Я говорю о Мите. Точно вы не знаете, за какие хорошие дела он потерял место?

— Что ты врешь, Наденька. За какие дела!.. С ним подлость сделали, он и потерял!

Наденька, не спеша, вынула из кармана своего пальто номер газеты и проговорила:

— Не хотите ли прочесть, маменька, что пишут в московской газете, — серьезной, маменька, газете. Или, позвольте, я сама вам прочту.

Совсем ошалевшая при виде газеты, в которой почему-то пишут о Мите, полковница ничего не сказала, и Наденька твердо и не без чувства прочитала следующий параграф:

«Нам сообщают из верного источника, что на днях, в правлении такой-то дороги, служащие, возмущенные безнравственными мнениями одного из своих сослуживцев, не окончившего нигде курса молодого человека К., тотчас же решили исключить его из своей среды и подали заявление начальству, что они не желают служить вместе с таким господином. Молодого человека немедленно уволили, но почему-то дело это не получило

дальнейшего хода. Во всяком случае, честь и слава товарищам, не остановившимся перед честным исполнением своей патриотической обязанности из страха перед петербургским либерализмом, мишура которого, к несчастью, ослепляет наши глаза. Если б все поступали по примеру служащих *** правления, давно бы зло было сметено с лица русской земли».

Полковница выслушала и остолбенела от изумления.

— Когда я прочла это, маменька, мне чуть не сделалось дурно... Вы тогда иначе рассказывали...

— И ты веришь газете, а не веришь брату!? — воскликнула мать. — Все, что здесь написано, все это вот что... тьфу, тьфу и тьфу!

С этими словами полковница даже забыла, что пол уже вычищен, вырвала из рук дочери газету и, бросая ее на пол, плюнула три раза.

— Ах, маменька, какая вы, право... Ведь нет дыма без огня! Даже и то, что Митя высказывал, очень не рекомендует его... Не перебивайте меня: дайте мне досказать, маменька, пожалуйста. Я приехала к вам не для ссоры, а

чтоб поговорить с вами, как дочь, как друг... Мне, конечно, жаль Митю, как брата, но, с другой стороны, за что его жалеть, если он всех нас не жалеет? Вообще Митя странно себя ведет: не окончил курса, был в деревне учителем, менял места, преднамеренно избегает положения, которое необходимо иметь каждому честному и порядочному человеку... одним словом...

У полковницы давно kloкотало в груди, но она сдерживала себя, желая выслушать до конца. Наденька продолжала:

— И вы, маменька, уж извините, слишком доверчивы. Станет вам Митя открываться, как же! Он, быть может, мало ли с кем видится, мало ли что замышляет!.. Ему терять нечего, а нам с мужем... И теперь! Могут узнать, что брат жены товарища прокурора исключен за предосудительные взгляды. Очень приятно!.. Вы хорошо бы сделали, маменька, если б поговорили с Митей, чтоб он, знаете ли, лучше куда-нибудь уехал отсюда... мы бываем у вас... вы понимаете, маменька, наше положение?.. И, наконец, мало ли что может случиться! Ни за кого нельзя ручаться... Для

таких людей нет ничего святого, маменька... К сожалению, и за брата нельзя ручаться... Он всегда...

— Это ты что? Мужнины слова повторяешь! — не могла уже более слушать полковница. — Такой подлости сама ты не выдумала бы... И ты смела приехать ко мне предлагать выгнать Митю?.. — проговорила, задыхаясь, полковница.

— Я, маменька, не маленькая, понимаю вещи... Я ничего не предлагаю, но только приехала сказать, что из-за какого-нибудь безумного дурака мы не желаем рисковать своим положением, будущностью детей... Как вам угодно, но только не сердитесь, маменька, мы должны отказаться от удовольствия посещать вас, если брат будет жить с вами. Я сама мать...

— Вон, сию же минуту вон!.. — разразилась наконец полковница, не помня себя от бешенства. — Ишь, с чем пожаловала!.. Прогони сына... Ах, ты... Да если бы он в самом деле был преступник, так я не отреклась бы от него, а то для вас... Вы с муженьком уже давно от меня глаза воротите... Вон... вон, подлая

тварь!

И полковница заметалась, как бешеная, по комнате.

— Что за выражения! Вы, кажется, по-прежнему заимствуете их на Сенной*! — презрительно сказала Наденька, с достоинством выходя из гостиной.

— Вон, подлая!.. Ирина! — гремела полковница, — эту даму никогда не принимать... Слышишь!

— Очень нужно приезжать!

Долго еще не могла придти в себя полковница. Долго еще она ходила по комнате... «Родная дочь... Хороша! Такая подлость... Недаром брат Андрей всегда ее не любил...» В голове у бедной полковницы был какой-то хаос. Родная дочь, газета, Митя, «дальнейший ход», все эти слова проносились бестолково в ее голове, раздражали и хватали ее за сердце. Поступок дочери поразил ее своей неожиданностью. Этого она не ожидала. Даже и такая крепкая старуха, как полковница, не выдержала и, после сильного припадка гнева, пришла в свою комнату, бросилась в постель и зарыдала, как беспомощный ребенок.

VII

Но мысль о «подлой» газете, которая лежала там, в гостиной, скоро подняла на ноги полковницу и возвратила к ней обычную энергию. Она еще раз перечла ненавистный параграф и сожалела, что не она, а адмирал будет объясняться с директором правления. Вот какую гадость напечатали!.. Решить самой написать опровержение, чтобы послать в газету, было делом недолгого раздумья... Однако и беседа дочери и эта газета несколько смутили ее. «А что, если в самом деле, Митя?..» — подумала она с ужасом.

Когда Митя вернулся домой, она пошла к нему в комнату и сделала ему следующий краткий допрос:

— Послушай, Митя, ты правду мне сказал: ничего такого не говорил там?

— Я вам объяснил. Сами видите, что ничего такого.

— Хорошо. А с какими-нибудь подозрительными лицами ты не знаком?

— Что вы, маменька! У меня и вообще-то мало знакомых, вы знаете их. Что в них подозрительного?

— А каких-нибудь там запрещенных книг не держишь?

— Да что вы!

— Читаешь, может быть? Ты от матери, Митя, не скрывай.

— Ей-богу, ни разу не читал. Где их достать!

— Ну, ладно, Митя. Так посмотри-ка, какую пасквиль про тебя напечатали. Сегодня твоя сестрица привезла. Ты к ним не ходи, Митя, слышишь... Она боится... карьеру, видишь ли, ты им испортишь.

Молодой человек улыбнулся, пожав плечами, взял газету и стал читать.

— Все вздор. Никакие товарищи не возмущались, напротив все, большинство меня же поддерживало в споре... Вся статья — вранье, — проговорил он. — Теперь много, маменька, пакостей печатают! И из-за чего только историю раздули!.. — прибавил Дмитрий Алексеевич, на которого однако слова статьи «дальнейший ход» произвели не особенно приятное впечатление. — Еще слава богу, что всю фамилию не напечатали.

— А вот я сама их пропечатаю!.. — вдруг за-

явила полковница.

— Что вы, маменька? — испугался Дмитрий Алексеевич.

— Я покажу — какая я маменька, если ты такой рохля! — проговорила мать, выходя из комнаты сына.

Целый вечер она сидела взаперти у себя в комнате, сочиняя ответ. Много листов она перепортила и наконец остановилась на следующем литературном произведении, которое перечла не без некоторого авторского удовольствия:

«Господин редактор!

Я удивляюсь, как в такой серьезной газете, как Ваша, Вы решились поместить подлую и нелепую ложь, касающуюся моего сына, выдуманную каким-нибудь негодяем, благоразумно скрывшим свою фамилию. Тень, кидаемая на моего сына, ложится и на меня, а потому, милостивый государь, как мать и вдова подполковника, кровью доказавшего преданность престолу и отечеству, я уведомляю Вас, что все Вами лживо напечатанное есть гнусная и презренная выдумка. Ника-

ких возмутительных разговоров сын мой, обозначенный в статье буквою К., не вел и вести не станет, и никогда товарищи его не просили сына оставлять службу. Уволил его, без всякой причины, директор правления, получивший презренные сведения по доносу наушника. Предоставляю судить о благородстве такого поступка Вам, г. редактор, а я с своей стороны могу присовокупить, что вышеизложенное могут подтвердить все служащие в правлении, конечно, кроме наушника, лишившего неповинного сына места. Прошу письмо мое напечатать, дабы исправить вред незапятнанной репутации как моего невинного сына, так и моей, а равно успокоить прах моего мужа, прослужившего тридцать пять лет беспорочно и умершего от ран на поле чести. Печатать такие пасквили довольно подло, многоуважаемый редактор. Остаюсь вдова-подполковница, Мария Кропотова».

— Что ты скажешь, Митя, насчет этого письма, а? — спрашивала полковница сына, прочитав ему свое произведение.

Сын испугался.

— Вы хотите его послать?

— А ты думал как? Не для себя же я его писала.

— Что вы, маменька... Бросьте лучше его в печку.

— Это почему? Разве худо написано?

— Право, бросьте... Написано оно недурно, но не поднимайте вы этой глупой истории.

— Ах, ты, трус, трус!.. Какая тут история? Разве можно так оставить это дело... Или, может быть, ты в самом деле говорил возмутительные речи?

— Ничего я не говорил, уверяю вас, а все-таки прошу вас, не посылайте письма. И наконец я сам могу написать... я не малолетний, чтоб за меня вы писали.

Больших трудов стоило сыну уговорить полковницу хоть посоветоваться с дядей Андреем.

— На это я согласна. Но, во всяком случае, так оставить нельзя... Эх, ты... тюлень, тюлень... Даже на пасквиль не умеешь ответить, а тоже фанаберия!..

«История» с Дмитрием Алексеевичем ста-

ла известна среди родных и знакомых. Они приходили, под видом участия, узнать, в чем дело, и Марья Ивановна несколько раз повторяла, какую подлость сделали с Митей. Однако многие родственники были убеждены, что Дмитрий Алексеевич, в самом деле, подозрительный человек, и Дмитрий Алексеевич очутился в глазах некоторых в положении зачумленного. Полковница негодовала, узнав как-то стороной о таких сплетнях. К довершению всего, через неделю после происшествия, полковница получила от старшего сына, Фе-ди, письмо, начало которого было следующее:

«Дорогая маменька!

С прискорбием узнал я из вашего письма, что брат Дмитрий опять лишился места, и хоть вы пишете, что по проискам других, но стороной я узнал, что тут не одни происки, а также и вина брата. Как мне ни жаль его, маменька, я принужден откровенно сказать, что с его стороны наконец просто недобросовестно до сих пор вести неопределенное существование и, таким образом, быть вам в тягость. Нельзя же в самом деле оставаться

век свой младенцем! Хоть брата бог не наградил большим умом, но не настолько обидел его, чтобы он не мог сообразить нелепости всех своих поступков. Я слышал, что он лишился места, позволив себе высказывать мнения, едва ли уместные и своевременные. Это похоже на него, и я, как любящий брат, решаюсь просить вас, маменька, внушить брату, — он вас слушает и уважает, — что его поведение компрометирует всех его близких и может окончиться печально для него самого. Все мы понимаем, не хуже, если не лучше его, что жизнь представляет многие несовершенства; но несовершенства эти, во-первых, условны, а во-вторых, вовсе и не таковы, какими их желают представить люди, знакомые с жизнью по книгам и пустым односторонним статьям или вовсе ни с чем не знакомые, а воображающие себя умнее других. Едва ли глупый идеализм брата, его неумение обойти подводные камни практической жизни и примириться с необходимым злом жизненной карьеры, не способен увлечь его на путь очень опас-

ный. К прискорбию, мы видим, к чему он приводит. Да сохранит нас всех господь бог от этого несчастья, но я боюсь, что бедный брат уже стоит на этом пути. Если мои предположения справедливы, то пусть он не считает меня братом, как ни больно мне лишиться брата.

Еще другая нерадостная весть, маменька: бедная сестра Наденька очень огорчена вашим к ней отношением...»

Дальше полковница уже не читала... С нее было вполне довольно прочитанного, чтобы из груди ее вырвался отчаянный крик: «Подлец!»

Она с этих пор еще более привязалась к Мите, словно в отместку, что ее хотят непременно отдалить от него. Митя сделался ее кумиром. Она перессорилась со всеми родными, которые только осмеливались отзываться о нем двусмысленно. Своей двоюродной сестре она даже так энергично показала дверь, что в Коломне долго еще ходил рассказ об этом происшествии.

Но замечательнее всего в этой трагикомической истории было то, что виновник этой

бури, о котором, благодаря сплетням, в Коломне слагались целые легенды, ни малейшим образом не был причастен ко всем этим обвинениям и предостережениям родных и знакомых. Это был самый скромный и неприязнительный господин, меланхолик по натуре, скорее робкий, чем смелый, не предъявлявший к жизни никаких особенных претензий. Никогда и ни в каких «предосудительных» поступках он не был замешан, с «подозрительными» людьми знакомств не водил, в своих мечтах летал невысоко, словом — этот Дмитрий Алексеевич Кропотков, выброшенный в один день на улицу, был один из тех многих, самых обыкновенных смертных, простых, слабых, ничем особенно не выдающихся, у которых только еще не заглохли инстинкты правды, совесть не подвела итогов, и сердце не потеряло способности биться и трепетать при виде бесчеловечия и несправедливости и наконец, переполненное, порой давало о себе знать робким словом негодования, участия, сожаления...

Вот вся вина этих людей.

VIII

Андрей Иванович не ошибся в своем предположении. Он потерпел полную неудачу в своей миссии, несмотря на мундир и ордена, надетые им для свидания с г. директором правления. Не старый еще, пухлый, подслеповатый директор объяснился с ним весьма любезно, но вежливо дал понять, что решение, принятое относительно Кропотова, бесповоротно. Он дипломатически отвергал какую бы то ни было «политическую причину» увольнения, но зато и уклонился от объяснения других причин. Адмиралу, как он потом рассказывал, «очень хотелось плюнуть этой каналье в морду», но он благоразумно от этого воздержался, к искренней горести полковницы. Она однако вовсе не намерена была оставить дело так. «Я доберусь до него!» — объявила она и решительно потребовала адрес председателя совета, чтоб изложить ему обстоятельства дела. — «Пусть он узнает!» Напрасно брат отсоветовал ей даром «портить кровь». Она была непреклонна, и адрес ей дан.

Вместе с известием о неудаче своей миссии адмирал принес и более приятное изве-

стие: в одном частном обществе открывается вакансия, и старый товарищ его дал рекомендательное письмо Дмитрию Алексеевичу, которое тут же и было вручено Мите. Полковница, конечно, обрадовалась и поблагодарила брата, а сыну она по этому поводу сказала:

— Смотри, Митя, если поступишь на место — молчи, так-таки и молчи... Никаких разговоров. Оно лучше!

— Д-да... Помалчивай, брат, помалчивай, Митя! — подтвердил и адмирал, прощаясь и обещая завтра придти узнать о результатах.

На следующий день полковница облеклась в шелковое платье, которому было, кажется, лет двадцать, надела новые перчатки, праздничную шляпку и вышла вместе с сыном из дому. Сын на дороге пробовал было ее остановить от визита к председателю совета, но она была неумолима. Она так дело оставить не может.

— Ты иди себе, Митя, в Общество, а меня оставь... Я еще зайду в церковь! — прибавила она, перекрестив незаметно сына. — Пошли тебе господь удачу!

Во втором часу полковница вернулась до-

мой. Адмирал, дожидавшийся ее, сразу догадался по взволнованному, возбужденному лицу сестры, что поход ее не был удачен. Она сбросила с себя тальму, швырнула на стол шляпку и крикнула:

— Ну ж и люди, братец!..

— Неудача?

— Я сперва рассказала ему, — продолжала она прерывающимся голосом, — все как следует, самым деликатным тоном; он внимательно слушал, а потом, когда я кончила: «Не мое, говорит, дело»...

— Что же дальше? — с беспокойством спросил брат.

— Дальше? Что дальше?.. Дальше я начала говорить. Ну уж, признаться, не выдержала, братец, и наговорила ему... Он будет помнить. Пусть хоть раз выслушает правду от матери-старухи!

Адмирал хорошо знал, что могла «наговорить» полковница, но не смел спросить о последствиях, тем более, что полковница о них умолчала и, передавая все подробности, не сочла нужным рассказать, как от генерала ее вывели торжественно два курьера под руки

до самого подъезда.

Скоро вернулся и Дмитрий Алексеевич.

— Ну, что?

— Место уже занято, — проговорил он, — опоздал.

Он тоже скрыл истину, не желая огорчать мать и дядю. Его сперва хотели принять, но когда узнали, что он тот самый Кропотков, о котором было напечатано в газетах, довольно неловко извинились и объявили, что место уже занято.

— Ну что ж, занято так занято! — проговорила неожиданно спокойно полковница. — Еще найдем место!.. А я, братец, так это дело не оставлю, нет! — снова загорелась она, вспоминая свою неудачу. — Неужели же, в самом деле, так из-за людской подлости пропадать человеку?..

— Нет, уж вы лучше, маменька, оставьте...

— Как бы хуже не вышло, сестра!.. — задумчиво промолвил старик.

— Хуже?! Да чего может быть хуже того, что с сыном сделали?.. Безвинно... выгнали... Лишили куска хлеба... Нет!.. Я пойду к самому министру!..

Беглец*

I

Чуть-чуть покачиваясь на затихавшей зыби и вздрагивая от быстрого хода, подходил наш клипер к берегам Калифорнии.

Было прелестное сентябрьское утро. Солнце уже высоко поднялось на ярко-голубом небе, подернутом белоснежным кружевом убегающих перистых облачков, и заливало палубу ярким блеском. От присмирившего океана веяло свежестью и прохладой. Дышалось полною грудью.

Обрывистые красные берега, окутанные по верхам золотистой дымкой тумана, уж отчетливо видны простым глазом. Вдали, на высоком холме, у входа в бухту, белеется башня маяка. Все чаще и чаще попадаются навстречу суда, и малютка-пароходик, с ярким флагом на мачте, поднимаясь с волны на волну, несется к клиперу. Это — лоцман, и с ним, конечно, пачка последних американских газет.

Все вышли наверх из душных кают, и палуба забелела множеством матросских чи-

стых рубаш. Все празднично настроены. Все просветлели, охваченные радостным ожиданием «берега».

После тридцатидневного бурного перехода с постоянной качкой, тревожными вахтами со шквалами, дождем и нередкими окриками боцмана среди ночи: «Пошел все наверх третий риф брать!», — после прискучивших консервов за обедом и однообразных разговоров в кают-компании, надоевших всем, как и физиономии друг друга, после скучных стоянок в китайских портах, — эта «жемчужина Тихого океана», как называют янки Сан-Франциско, сулила немало удовольствий. Всем хочется поскорей увидеть этот диковинный город, выросший со сказочной быстротой, и среди молодых офицеров уже идут оживленные толки о съезде на берег.

И на баке — этом матросском клубе, где устанавливаются репутации и обсуждаются все выдающиеся явления судовой жизни, — вокруг кадки с водой для курильщиков (в другом месте курить матросам нельзя) собралась толпа. И там разговоры, разумеется, о «береге».

Общий любимец, добродушный, веселый и смелый до отчаянности марсовой Якушкин, которого все почему-то зовут Якушкой, хотя Якушке уж под сорок лет, — передает свои впечатления о Сан-Франциско, где он был три года тому назад, когда в первый раз ходил в кругосветное плавание.

По словам Якушки, город веселый, народ бойкий и живет вольно, кабаков много, и водка хорошая — виска по-ихнему; табак — дрянь против нашего, зато шерстяные рубахи можно похвалить: носки и дешевы.

— А насчет чего другого-прочего, братцы, так дорого...

Он ухарски подмигнул бойким черным глазом из-под темных взъерошенных бровей, придававших его смуглому, широкому, скуластому лицу с шапкой на затылке забубенный вид заправского лихого матроса, прижал корявым, почерневшим от смолы пальцем огонь в своей трубочке, цыкнул по-матросски в кадку и, расставив свои короткие, крепкие босые ноги фертом, не торопясь, прибавил:

— Зато и форсисты шельмы, я вам скажу!

— Ну?! — раздалось из толпы.

Очевидно, довольный произведенным эффектом, Якушка продолжал:

— Но только пьяного, братцы, не пуцают... ни боже мой! А ежели ты пришел пьяный, тебя сейчас мамзель честью по загривку... И не пикни! Потому у их бабам уважение. Какая ни есть, а уважать!

В толпе смеются. На многих лицах недоверие, и кто-то иронически замечает:

— Чудно что-то, Якушка!

— Чудно и есть, а только я верно вам говорю — бабу обидеть не смей!

Молодой белобрысый матросик с большими добрыми голубыми глазами, не успевший еще потерять на службе своей деревенской складки, все время необыкновенно внимательно слушавший Якушку, вдруг спросил, застенчиво улыбаясь:

— А какой державы, Якушка, народ?

— Американской, паря, державы.

И хотя этот ответ ровно ничего не объяснил молодому матросу, тем не менее он кивнул головой с видом удовлетворения, затаился окурком и, бросая его в кадку, заметил в форме вопроса:

— Тоже, значит, у их свой король есть?

— То-то вот, братцы, нету! — отвечал Якушка, обращаясь ко всем, таким тоном, словно бы он извинялся за американцев. — Оголтелый народ! — неожиданно прибавил он, как бы вдруг сам проникаясь странностью сообщенного факта.

— Нечего сказать, народ! — заметил кто-то в толпе.

— Однако тоже и у них есть свое начальство. Выберут промеж себя какого-нибудь сапожника, вроде будто начальника, вот тебе и вся недолга!

— Без начальства шалишь, брат! — раздался чей-то голос.

— А живут, надо правду говорить, хорошо. Хо-ро-шо, братцы, живут! — продолжал Якушка. — Взять к примеру: простая мастеровщина, а харч у него завсегда мясной, и виску трескает, и хлеб пшеничный... И насчет одежды чистый народ! Это шляпу на затылок надел, сам в пинджаке и щиблетках, курит себе сигарку и поплевывает. Думаешь: господин какой, а он всего-навсего — рабочий человек!.. Да у их и не узнать: кто из господ, кто из

простых...

— Ишь ты! Видно, житье? — дивуются матросы.

— Житье и есть! Земли много у них — земля вольная. И опять же: копают золото. Копай кто хочет, заказу нет. Раздобыл — твое счастье... Вольная сторона! В эти места, сказывают, со всего свету народ бежит.

— Который человек ежели бога забыл, тот и бежит! — проговорил строгим внушительным тоном старик плотник Захаров. — Правильный человек не побежит... Ты живи, где тебе назначено... На своей стороне живи... вот что!

— Да и пропадешь у этих идолов! Ни он тебя не поймет, ни ты его! — вставил другой матрос. — Недаром говорится: «На чужбинке словно в домовинке!»

— И как это бросить свою сторону да в эту даль! — раздумчиво промолвил белобрысый матросик. — Небойсь, наш российский сюда не побежит?

— Бога еще помнят наши-то! — опять строго произнес плотник.

— Однако один и наш сбежал, когда мы во

Францисках стояли! — значительно проговорил Якушка.

— Наш?!

— Наш и есть... Поди ж ты!

В эту минуту подходил лоцманский пароходик, и все обратили на него внимание.

Клипер приостановил ход. Пароходик подлетел к борту, приняв на ходу брошенный с клипера «конец», и, ссадив лоцмана, пошел прочь. Поднявшись по трапу, на палубу выскочил высокий сухощавый янки в черном сюртуке и высоком цилиндре, кивнул головой, проговорив приветствие, и поднялся на мостик. Там он поздоровался, первый протягивая руку, со стоявшими офицерами, отдал пачку газет, радостно сообщил, что на днях вздули южан (дело было во время междуусобной войны*), и, заложив руки назад, зашагал по мостику.

Клипер снова пошел полным ходом.

— Ишь ведь мужлан! — сердито проговорил старый плотник, видимо недовольный американцем за его слишком свободное обращение с капитаном. — А еще образованные люди.

И многие среди матросов были, по-видимому, шокированы, хотя и ничего не сказали.

— Так как же наш-то сбежал? Сказывай, Якушка! — нетерпеливо спросил кто-то.

Якушка оглянулся. Я стоял подле. Но присутствие юного гардемарина не смутило матроса. Он, не спеша, выбил золу из трубки, сунул ее в штаны, обвел взглядом теснее сдвинувшийся кружок и начал.

II

— Был, братцы вы мои, у нашего, у первого лейтенанта Прокудинова взят с собой из России крепостной лакей. Максимкой звали. Паренек молодой и, ничего себе, башковатый, но только, надо правду сказать, много он от своего барина понапрасну бою принял.

— Сердит барин был?

— Как есть, цепная собака! Чуть что не по нем или ежели какая неисправка, сейчас лезет в морду и норовит, чтобы до крови... И во все не жалел нашего брата — лют этто был на порку. У нас тогда, братцы, не то что теперь, при нашем «голубе»[13], шкуры матросской не жалели! Ребята так и звали Прокудинова Мордобоем... Мордобой и был! Многие из гос-

под, которые пожалостливей, бывало, довольно даже срамили его за зверство... да ничего не брало — сердцем был зол Мордобой! Другой, хоша и вдарит тебя, так с пылу, а этот дьявол всегда дрался от злого сердца, с мучительством...

— Да... Есть такие... У нас вот был тоже один, так все перстнем тыкал в зубы... Много их повышиб! — авторитетно вставил один коренастый пожилой матрос.

— Ну, и часто-таки попадало Максимке в кису, потому Максимка молчит, молчит, как покорный слуга, да вдруг и сдерзничает. А уж тогда только держись! Сейчас это Максимку на бак и прикажет всыпать... Максимка воем воеет, а Мордобой линьки считает про себя да приговаривает; «Жарь его, подлеца!» И раз, я вам скажу, здорово Максимке всыпали — очень уж он согрубил, и вовсе заскучил с той поры Максимка. Пришел это он вечером ко мне, смотрит на море и плачет, как дите малое, слезами. «Решусь, говорит, лучше жизни... Окиян, говорит, глыбок!» Известно, парнишко молодой, двадцати годов еще не было! А до того жил он у портного-немца в обуче-

нье, и был этот немец, сказывал Максимка, жалостливый и справедливый немец. Максимке, значит, и терпко после хорошей жизни да к Мордобою! Ну, я всячески обнадеживаю человека: потерпи, мол, Максимка, скоро, говорю, выйдет вам вольная воля — уж тогда про волю слух прошел, — а пока знай себе молчи и не дерзничай... Что, мол, с этим зверем связываться! И пустяков не ври, говорю. Решиться жизни — большой грех. Бог дал, бог и возьмет ее, когда захочет! Мы, мол, не хуже тебя, а тоже терпим. Слушал это он, утер слезы, да и говорит, «Я, говорит, потерплю, но только долго, говорит, терпеть, Якушка, не согласен. Силушки моей на то, говорит, нет!» Хорошо. Ходили, мы таким родом, братцы, по разным местам и пришли это во Франциски. Вскорости после того побывал Максимка на берегу, и как вернулся — диковина: совсем быдто другой стал Максимка — веселый такой. Пришел он на бак, у самого под глазом синяк — Мордобой вечер съездил, — а Максимка куражится. — Что, Максимка, смеются ребята, никак твой Мордобой доллар тебе на гулянку дал? «Даст, дьявол, жди!», а сам ска-

лит зубы... В те поры мне и невдомек, что он выдумал.

Якушка помолчал, затянул наскоро, взяв у соседа трубку, сплюнул и продолжал:

— Ладно. Простояли мы этак ден пять, вытянули ванты, выкрасились и, как справились, отпустили нашу вахту на берег. Отпросился у своего Мордобоя и Максимка. Обрядился в новый пинджак, как следует — любил он форснуть — на баркас. Сел около меня, а сам глядит на «конверт»[14] и будто глаз отве- сти не может. «Что, говорю, буркалы уставил? Конверта, что ли, не видал?» Смеется. Отвалили от борта, а Максимка шляпу снял и кланяется. «Кому ты, дурак?» — «А всем, говорит, землякам родимым». Куражится, думаю, парень. Рад, что на берег урвался. А он и взаправду тогда прощался!.. Хорошо. Пристали мы к пристани. Ребята разбрелись по салунам — это у них вроде как кабаки наши, только почище будут наших, — тут же по близности, а я с двумя товарищами собрался перво-наперво в лавки — покупать рубахи. Максимка увязался с нами. И только чудной он был какой-то в тот день! Идем это мы по ули-

цам, глаза пялим, а он вдруг об России вспоминает, про деревню, как при матери рос, какая у него мать была... совсем не к месту разговор... Купили мы себе рубахи, пошлялись малость по городу и пошли назад к пристани и зашли в салун, где наши собрались. Народу пропасть! Шумят, гуляют, значит, матросики! Ну, сейчас это мы потребовали виски этой самой, сели за столик, сидим, пьем и рыбкой сладкой закусываем, слушаем, как наши песни поют, а Максимка ничего в рот не берет. «Не хочу», говорит. Сидит и все только на двери поглядывает. Только спросил, когда на конверт велено ворочаться? «К восьми», говорю. Прошло этак с час времени. Отошел я к ребятам, вернулся, а уж Максимки нет. «Где Максимка?» Товарищи не знают. Кто-то говорит, «Верно, Максимка с ребятами к мамзелям ушел». Ну, ладно. Выпили мы еще бутылку и тоже пошли мамзелей здешних смотреть... Хороши, шельмы!

Якушка усмехнулся, повел глазом и продолжал:

— К вечеру повалили на пристань... По дороге еще выпили. Идем это человек пять... Я

иду, маленько поотставши, и вдруг слышу, кто-то тихо окликает: «Якушка!» Гляжу, а сбоку, в узком таком проулочке, у фонаря стоит Максимка. Я к нему, и хоть был я, братцы, здорово треснувши, а вижу, что с Максимкой что-то неладное: с лица побелел, весь ровно дрожит, а только все зубы скалит — себя куражит. «Ты что тут делаешь, Максимка? Валим, говорю, на баркас. Опоздаешь — Мордобой не погладит, небойсь!» — «Тише, говорит, Якушка... Я, говорит, давно поджидаю тебя, хочу проститься, потому ты добер был. Давече я побоялся при других открыться, а теперь откроюсь: на баркас я не пойду и на конверт меня больше не ждите!» Весь хмель выскочил у меня из головы. «Ополоумел ты, что ли, Максимка. Идем скорей, глупая голова!» А он свое: «Не пойду, довольно, говорит, терпеть, я здесь останусь!» Тут я давай его уговаривать: «Опомнись, Максимка! Что выдумал? Пропадешь, говорю, как собака, на чужой стороне!» — «Не уговаривай, говорит, Якушка. Уж я, говорит, стоворился здесь с одним поляком... Я, говорит, не пропаду, а вольным человеком стану, буду по портной своей части. И

есть, говорит, у меня прикопленных сорок долларов, что за починку от господ насбирал. Нарочно, говорит, для такого случая копил. А затем прощай, говорит, голубчик... догоняй своих и не поминай лихом!..» И не успел я, братцы, Максимку силком удержать, как он фукнул в проулок, и след его простыл.

— Эка отчаянный, прости господи! — вырвалось чье-то восклицание среди притихших слушателей.

— Догнал я, братцы, своих и ничего не сказываю. И самому боязно, как бы в ответе не быть, и Максимку жалко: пропадет, думаю, ни за грош. Хорошо. Пришли на пристань. Мичман проверил. «Все, кажется?» — «Все, ваше благородие, кроме Максимки, лейтенантского камардина!» — отвечает унтер-офицер. «Его, видно, барин ночевать отпустил! — смеется мичман. — Не казенный он человек — садись, ребята, на баркас!» Сели и отвалили. Пристали к конверту и сейчас же нам роздали койки. Спустился я в палубу, подвесил койку, разделся, лег спать, но только нет у меня сна, братцы... Все Максимка в мыслях. А как беднягу поймают? Ведь Мордобой не простит.

— Шкуру спустил бы! — вставил кто-то.

— Шкуру — шкурой, да потом в Сибирь или в солдаты... Злопамятный он, Мордобой... Только лежу это я в койке и слышу вскорости он кричит: «Максимку послать!» (Мичман-то был добрый и не сказал, что Максимка не приехал.) «Так и так, ваше благородие, доложил вестовой, Максимка с берега еще не вернулся». — «Ах, он такой сякой! Завтра узнает, как без спросу опаздывать! Как вернется, тую ж минуту ко мне послать подлеца!» Ему и не в догадку, что Максимка вовсе остался. Ладно. Прошел этак день!.. Максимки нету, и тут уже, должно, Мордобой догадался, что дело неладно. Вестовые после сказывали, что озверел он в те поры совсем, забегал по кают-компани и кричит: «Со дна морского достану и на смерть заporю неверного раба!» Другие офицеры ему по-французски, стыдили, значит. После того он шарахнулся в каюту, как угорелый — давай проверять, целы ли деньги и вещи...

— Целы? — вырвался нетерпеливый вопрос у многих слушателей.

— Все, как есть, целехонько...

— То-то! — вдруг проговорил белобрысый матросик, и все его доброе лицо озарилось радостной улыбкой.

— Не такой Максимка был человек... Бывало, окурка попросишь, и то отказывал, чтоб не связываться, а не то, чтобы... Хорошо... Вышел это Мордобой из каюты и марш к капитану с докладом, что камардин, мол, пропал. Что они там с капитаном говорили — никому неизвестно, но только вышел он от него, как говядина, красный. Видно: напел ему. Командир хоть и сам любил драться, но отходчивый был и зря не обижал, нечего говорить... Сейчас после того стал Мордобой доискиваться: с кем да с кем был Максимка на берегу. Призвал и меня. «Видел, говорит, Максимку?» — «Видел, говорю, ваше благородие, вместе в салуне сидели». — «А потом?» — «Не видал, говорю, ваше благородие!» — «Куда он после ушел?» — «Не могу, мол, знать!» — «Сказывал тебе, что бежать собирается?» — «Никак нет!» — отвечаю. — «Ой, говорит, правду показывай, а не то Сидорову козу из тебя сделаю, так твою так!» И с этим словом в зубы... Раз... другой... Молчу. — «Все вы, говорит, под-

лецы!» И опять чешет. Кровь идет... «Не могу знать!» Насилу отстал, спустился вниз, оделся в вольную одежду[15] и на берег, к концырю*, чтоб объявку в полицию подать... Ну, думаю, беда... поймают теперича Максимку... Однако к вечеру Мордобой вернулся ни с чем... сердитый такой... После уж узнал я от людей, что здесь, братцы, не так-то легко разыскать человека. Почпортов нет, прозывайся, как знаешь. И если ты убежал, да ничего не украл — живи с богом, твоя воля!

— Ишь ты... Так и не искали Максимку!

— Искали. Мордобой, сказывали, сотни две долларов извел сыщикам, чтобы Максимку заманить и силком привезти на конверт. Каждый день съезжал на берег да только даром деньги извел. Вскорости приехал концырь и говорит этому самому Мордобойю: «Плюньте вы на вашего Максимку, ежели, говорит, он такая каналья, что от своего барина убежал, — не стоит он, подлец, чтоб из-за него хлопотать. И напрасно, говорит, вы меня не послушались, как я вам раньше объяснял. Денежки-то ваши ухнули, у вас их сыщики взяли, да Максимки не нашли. И не могли, гово-

рит... Здесь, говорит, свои права». — «Какие-такие права?» — Мордобой спрашивает. — «А такая, говорит, уж сторона американская, что всякого к себе принимают. Ничего, мол, не поделаешь!» А Мордобой в ответ: «Довольно подлая, говорит, господин концырь, сторона, ежели не могут мне возвратить собственного лакея!»

— Так, братцы вы мои, простояли после этого ден шесть и ушли из Францисок без Максимки! — заключил Якушка и стал набивать трубку.

III

Несколько минут длилось молчание. Все были под впечатлением рассказа.

— И решился, подумаешь, человек! — в раздумье, подавив вздох, проговорил, наконец, белобрысый матросик. — Не сустерпел, значит!

— Ддда... Видно, не вмоготу было, ежели решился! — заметил кто-то.

— Поляки сбили! — промолвил Якушка.

— Поляки?

— Тут есть их! — сказал Якушка и прибавил: — скоро, братцы, и бухта! Вот только в

проливчик войдем.

Все стали смотреть вперед. Клипер, плавно рассекая воду, быстро подходил к так называемым Золотым Воротам, соединяющим океан с заливом.

Толпа раздвинулась, пропуская боцмана Щукина. Он подошел к кадке, протянул руку к Якушке за трубкой и, сделав две затяжки, спросил:

— Ты это про что, Якушка?

— Да про Максимку Прокудиновского... Помните, Матвей Нилыч...

— Как не помнить? Еще твой приятель был! — усмехнулся боцман.

— А что ж?.. Максимка парень был тихий... Ничего себе...

Боцман помолчал и, передавая трубку Якушке, проговорил:

— Тихой? Жалко, тихого тогда не поймали! Прокудинов по-настоящему бы разделал шкуру твоему Максимке... Тогда еще нонешних вольностей не было... Всыпали бы штук ста три линьков — закаялся бы бегать... А то ишь ты... выдумал!

И Якушка, и другие матросы молчали, но

на многих лицах появились улыбки, не свидетельствовавшие о доверии к мнению боцмана насчет спасительности «разделявания» шкуры. Щукин отлично это знал и раздражительно прибавил, махнув головой по направлению к берегу:

— Поди, сдох у этих анафем?.. Тоже... барин какой... бегать!

Опять все молчали. Только чей-то льстивый голос раздался из толпы:

— Это вы верно, Матвей Нилыч... Это вы правильно... ей-богу...

Старый боцман повел презрительным взглядом на выдвинувшегося Трошкина, известного лодыря и подлипалу, имевшего репутацию скверного матроса, и, видимо, нарочно не обращая ни малейшего внимания на его слова, напустил на себя строгий вид и завел речь с подошедшим покурить фельдшером.

— Известно... пропасть должен человек! — лебезил Трошкин, желая подслужиться боцману и обратить на себя внимание. — Ты рассуди сам, Якушка! Что он будет здесь делать? И опять же совесть... это как?.. Потому, ежели

человек нарушил присягу и убежал от своего господина...

— Ну... ты... ври больше, шканечная мельница! Нешто Максимка присягал? — крикнул на Трошкина Якушкин.

И Трошкин тотчас же умолк.

— Бога, я говорю, забыл человек и пропал, как нечистый пес. И поделом! Не бе-гай... Живи, где показано. Терпи... Помни, что сказано в Писании: блаженни страждущие... Вот что! — проговорил снова назидательным тоном плотник, грамотей, любивший читать священные книги, и вышел из толпы.

— Ты-то терпелив очень? — проговорил кто-то ему вслед.

— Рассудили?! — раздался вдруг тихий, отчетливый, несколько взволнованный голос, и все обратили внимание на низенького белокурого человека, выделившегося из толпы. Это был унтер-офицер Лютиков.

— Рассудили?! Уж по-вашему и пропал? А по-моему, он должен бога молить, что сподобил его господь человеком стать, а не то что пропал! По вашему понятию, видно, только и жизни, где шкуру спускают? — иронически

прибавил он, взглядывая своими большими серыми, смотревшими куда-то вдаль, глазами на боцмана. — Человека тиранили, а он... терпи! В Писании сказано? Сказано в Писании, да не то... Эх... народ... народ!

Бросив эти слова и не дожидаясь ответа, словно бы на них и не могло быть ответа, Лютиков, взволнованный и слегка побледневший, вышел из круга и, облокотившись о борт, стал смотреть жадным взором на приближавшиеся берега.

Старик Щукин побагровел и насупился. Он исподлобья бросил взгляд на матросов и, принимая вдруг строгий начальнический вид, крикнул:

— Сейчас на якорь становиться, а вы тут лясы точите... Пошел по местам!

Матросы стали расходиться.

— Тебе, что ли, говорят, Трошкин! — неожиданно накинулся он на лебезившего матроса. — Что ползешь, как мокрая вошь! Пшел! — прошипел он, внезапно раздражаясь и рассыпаясь той артистической руганью, в которой не знал себе соперников.

— Иду... Ишь, дарма ругается! — прогово-

рил себе под нос, отходя, Трошкин, обиженный не столько руганью, сколько невниманием к его льстивым словам.

Это замечание привело боцмана в ярость. Он коршуном налетел на Трошкина и, поднося к его лицу свой здоровенный кулак, прошипел:

— Я те поговорю!..

Но Трошкин отскочил в сторону и, заметив подходившего офицера, проговорил нарочно громко, искусственно обиженным голосом:

— Нонче правов этих нет, чтобы зря драться!

— Ах ты... правов?!

И Щукин уж хотел было показать «права», но в эту минуту увидал офицера. Он только сердито крякнул, опуская кулак, и в бессильном гневе, пропустив сквозь зубы «анафему», заходил взад и вперед по баку, бросая по временам на Лютикова взгляды, полные ненависти.

— Свистать всех наверх, на якорь становиться! — раздался с мостика звучный, довольно молодой голосок вахтенного мичмана.

Боцман на ходу сделал скачок назад, рысью подбежал к люку и, расставив ноги и нагнув вперед голову, засвистал протяжным свистом в дудку и затем гаркнул во всю глотку своим осипшим, надорванным басом:

— Пошел все наверх, на якорь становиться!

На клипере воцарилась та благоговейная тишина, которая бывает на военных судах при входе на рейд.

— Приготовиться к салюту!

Бесшумно ступая по безукоризненно чистой палубе, матросы стали у заряженных орудий, готовых приветствовать гостеприимных хозяев.

IV

Пройдя Золотые Ворота (Golden Gate), названные так в честь вывезенного через них калифорнского золота, клипер вошел в большой, глубоко вдавшийся залив, окаймленный высокими, красноватыми, холмистыми берегами. Зеленые кудрявые острова с белеющими пятнами построек были рассыпаны по гладкому, чуть-чуть подернутому рябью, заливу. Сейчас за входом высился голый остров

с казармой. На нем развевается звездный американский флаг, и в зеленые амбразуры внушительно смотрят дула орудий. Это — форт, защищающий вход от южан. Города еще не видно из-за острова. Только громадное серое облако, поднимающееся направо, показывает близость человеческого жилья.

Все смотрят в ту сторону.

Но старый артиллерист Фома Фомич не смотрит. Ему пока не до города. Он стоит у первого орудия и то и дело взглядывает вопросительным взором на мостик, где стоят капитан, старший офицер и лоцман, и ждет приказа начать салют. Он несколько взволнован, как бенефициант перед выходом на сцену.

— Можно начать, Фома Фомич! — говорит старший офицер, когда клипер, немного уменьшив ход, проходил мимо форта.

— Первое... пли! — командует Фома Фомич с сладостным служебным замиранием в голосе.

И, считая про себя вроде того, как певцы считают такты, «раз, два, три, четыре...» до пятидесяти, чтобы между выстрелами были

одинаковые промежутки. Старый артиллерист перебегает от орудия к орудию, командуя все с большим оживлением: «Второе... пли! Третье... пли!..»

Выстрелы раздаются с правильными паузами, гулко раскатываясь по заливу и раздаваясь эхом в горах. Облачки белого дымка, вылетая из пушек, стелются по бокам клипера и, расплываясь, тихо тают в воздухе.

Прокомандовав свое последнее «пли» с особенным щегольством, словно певец, заканчивающий арию, Фома Фомич, сияющий и вспотевший, с видом именинника подходит к кружку офицеров, собравшемуся на шканцах. И в его красном, с выпученными глазами, лице, и в походке, и во всей невзрачной фигуре коренастого, короткошеего артиллериста чувствуется вопрос: «Каков был салют, а?» Но общее внимание поглощено берегом. Все равнодушны к торжеству Фомы Фомича. Только один иеромонах Виталий одобрительно пробасил:

— Важно палили, Фома Фомич!

Несколько обиженный, что салют не почувствован, как следует, Фома Фомич отходит

в сторону.

Когда дым рассеялся, и клипер, обогнув остров, повернул вправо, Сан-Франциско сверкало на солнце, среди зеленеющих куп. Лес мачт в гавани был, так сказать, у его ног. Чем ближе подходил, постепенно уменьшая ход, клипер, тем отчетливее вырисовывались дома и зеленые пятна парков и садов большого города, раскинувшегося на холмах и буграх, заканчивающихся вдали возвышенностями. Купеческие суда всевозможных форм и конструкций, начиная с быстроходного, стройного американского клипера и кончая неуклюжим, пузатым голландским «китобоем», стояли на рейде вместе с военными судами разных наций. Каждую минуту раздавались свистки, то пронзительные, то гудящие, с пароходов, пересекающих залив в разных направлениях. Вот один из них, трехэтажный, весь белый, как снег, похожий на плавающий дом, с балансирной машиной, мерно отбивающий такт, прошел близко от нас, полный пассажиров. С палубы несутся звуки веселой музыки. Куда ни взглянешь — везде оживление, деятельность. Маленькие буксир-

ные пароходики, с сидящими в будках рулевыми, словно бешеные, снуют по рейду, предлагая свои услуги большим парусным кораблям, еле подвигающимся, несмотря на всю поставленную парусину, при тихом ветерке, к выходу из залива. Клубы дыма стелются над горизонтом. Яхты и шлюпки с парусами, окрашенными в яркие краски, скользят по рейду с катающимися дамами. И над всей этой оживленной картиной — высокое, прозрачное голубое небо, откуда ласково светит солнце, заливая блеском и город, и бухту с кораблями, и острова, и окружающие пики сьерр.

Глядя на панораму большого города, на лес мачт в гавани, на шумное оживление рейда, с трудом верилось, что эта кипучая жизнь содалась со сказочной быстротой, и невольно вспоминалось, что еще пятнадцать лет тому назад места эти были пустынные. Тишина их нарушалась только криком белоснежных чаек, носившихся, как и теперь, над заливом.

Мы бросили якорь недалеко от города. Через несколько минут уж к нам явились поставщики, портные, китайцы-прачки, комис-

сионеры. Стол в кают-компании был завален всевозможными объявлениями. То и дело приставали шлюпки. С иностранных военных судов приезжали офицеры поздравить с приходом, и, исполнив этот обычай вежливости, существующий между военными моряками, то есть проговорив приветствие капитану и выпив затем бокал шампанского в кают-компании, — уезжали. Два репортера, явившись первыми, собирали сведения о клипере, записывали фамилии всех офицеров, осмотрели клипер и торопились на берег, чтобы напечатать отчет в вечерних газетах.

Скоро почти все офицеры, переодевшись в штатское платье, уехали на берег. На клипере остались те, кому приходилось стоять на вахте.

К вечеру уже из клубов, из библиотек были присланы всем именные билеты на право свободного входа и доставлены номера вечерних газет, в которых были помещены репортерские отчеты с перевранными русскими фамилиями.

V

Через несколько дней мне пришлось всту-

пить на ночную вахту.

Рейдовые вахты, когда решительно нечего делать и не за чем смотреть, тянутся как-то особенно долго и скучно. Ходишь себе взад и вперед по мостику, обойдешь палубу, проверишь часовых и снова ходишь, пока не утомишься и не задремлешь, прислонившись к поручням.

Скоро полночь. После дневной суеты рейд стих. Корабли, слабо освещенные бледным светом молодой луны, казалось, дремлют на серебристой глади вод. Каждые полчаса с кораблей раздаются тихие удары колокола, отбивающие склянки, и снова тишина. Только из ярко освещенного города доносится неясный гул, да по временам долетают звуки музыки. На клипере давно все спят. Несколько человек вахтенных, примостившись к орудию, коротают вахту, лясничая вполголоса, да сигнальщик похаживает по юту в ожидании скорой смены.

Давно уже чья-то маленькая, худощавая фигура словно приросла к борту. Это — Лютиков. Хоть он и не на вахте, а бодрствует и все поглядывает на берег. Накануне он был на бе-

регу, и город, судя по его восторженным, отрывистым словам, произвел на него сильное впечатление.

— Понравилось, видно, здесь? — спросил я, подходя к Лютикову.

Он повернул голову. Лицо его было бледно и задумчиво.

— А то как же! — проговорил он своим тихим внушительным голосом. — Вам хорошо, а нам и подавно!

И, видимо, отвечая на занимавшие его мысли, усмехнувшись, прибавил:

— А дураки вот говорят, что здесь пропадешь... Небойсь, он не пропал...

— Кто это?

— Да этот самый беглец... Максимка.

— Он здесь?

— Здесь. С тех пор, как ушел, здесь живет.

— Ты видел его?

— Видел!

Обыкновенно сдержанный и молчаливый, не любивший «лясничать» с офицерами, и если обращавшийся к нашему брату, юнцу-гардемарину, то по большей части с просьбой дать почитать книжки (до книг Лютиков был

охотник), он этот раз удивил меня сообщительностью. С каким-то, тогда непонятным мне, возбуждением расхваливал он жизнь беглеца на чужбине. По словам Лютикова, Максим (а по-здешнему «мистер Макс») живет отлично: зарабатывает портным мастерством более ста долларов в месяц, ни от кого обиды не терпит, недавно женился на чешке и не перестает благодарить господу за то, что наставил его на путь. И Прокудинова добром поминает: не будь, говорит, он такой зверь, не видать бы мне хорошей жизни.

— Как есть, человеком стал! И с понятием, не то, что наш брат... Здесь понял он, какова воля и каково без нее людям жить! А вы думали как? Нельзя этого понять темному мужику? — вдруг прибавил Лютиков с вызывающей, насмешливой иронией, обычной у него в беседах, которыми он изредка удостаивал некоторых гардемарин и — чаще других — меня.

— А по России не скучает? — спросил я.

— Может, и скучает, да Мордобоя не хочет. И кулик чужу сторону знает, и журавль тепла ищет — человек и подавно. Сладко, что ли, с

Прокудиновым было жить? В России что наш брат? Последний опорок, помыкай, кто хочет... А здесь он — вольный человек, свои права имеет. Всякому это лестно, как вы думаете?.. Это вот разве Щукину в обиду... Ему — плюй в глаза — все божья роса!

— Разве ты не скучал бы по родине?

— А не знаю, не пробовал! — усмехнулся Лютиков и продолжал: — по-аглицки так и чешет теперь Максимка... И газеты, и книжки читает: одно слово — человек с рассудком! При охоте, чай, не мудрость языку научиться. Как вы полагаете?

— Полагаю, не мудрено.

— То-то и я думаю... Ддда... живут же люди! — вздохнул он. — Как хочешь, молись гос-поду, никто твоей совести не неволит... — прибавил Лютиков строго. — И люди у них все равны... Президент-то ихний — дровосеком был*... Наши и не поверят!

Лютиков замолчал и, немного погодя, спросил:

— Долго мы простоим здесь?

— Кажется, недели полторы. А что?

— Ничего... Так спросил.

И затем Лютиков опять задал вопрос:

— Верно, команду еще отпустят на берег?

— Я думаю, отпустят.

— Не слышали, когда?

— Не знаю... Да если тебе хочется на берег, отпросись у старшего офицера. Тебя во всякое время и не в очередь отпустят. Хочешь, я скажу завтра старшему офицеру? — предложил я, зная щепетильность Лютикова.

— Нет, благодарю вас... Уж я со всеми съеду...

— Когда еще отпустят!

— Подожду...

Я хотел было продолжать разговор, но Лютиков, видимо, не желал этого. Он неохотно и скупно подавал реплики, под конец смолк и ушел вниз. Я опять зашагал по мостику и, наконец, задремал. Бой склянок пробудил меня. Я отправился на бак проверить часовых, гляжу — Лютиков стоит у борта, не спуская глаз с берега.

— Что это ты не спишь, Лютиков?.. Уж не собираешься ли остаться в Сан-Франциско? — пошутил я.

Лютиков резко ответил, что ему нездорово.

вится, ушел скоро вниз и больше не показывался.

Мне показалось, что шутка моя смутила его. Но в ту пору я не обратил на это внимания. Только потом я невольно припоминал и его смущение, и его разговор в эту ночь.

VI

Оригинальный человек был этот Лютиков. Он резко выделялся из общего уровня. И взгляды его, и суждения, вырывавшиеся случайно, и пытливый, несколько озлобленный ум, и характер его отношений к офицерам и матросам. Все это было не совсем обыкновенно в матросе, да еще в матросе крепостного времени. Недаром и дальнейшая его судьба была тоже не совсем обычайна.

Это был молчаливый, необыкновенно сдержанный человек, лет тридцати пяти, худощавый, низенький, крепкий блондин, с русыми волосами, окаймлявшими самое обыкновенное, скорее некрасивое, чем красивое, простое русское лицо. Обличьем он совсем не походил на обычные типы матросов. В его маленькой, словно подобранной в себя, фигуре не было ни выражения удали, ни того особого

забубенного матросского шика в манерах, речах, ношении костюма, который бывает у долго прослуживших лихих матросов. С виду Лютиков казался даже не бравым, но в первый же шторм, выдержанный клипером в Немецком море, он показал находчивость и бесстрашие видавшего виды моряка. Он не брал в рот ни капли вина, не курил, никогда не ругался, держал себя строго и серьезно и нередко в свободное время читал Евангелие и жития святых, пока впоследствии не увлекся и иными книгами. Ходили слухи, что Лютиков раскольник, но о религиозных вопросах он никогда не говорил и терпимо относился к чужим вероисповеданиям. Однажды он с сердцем упрекал двух матросов, вздумавших как-то смеяться над религиозными обрядами матроса-татарина.

Но более всего поражало в Лютикове — это чувство собственного достоинства, с каким он держал себя со всеми, и особенно с офицерами. В его сдержанных манерах, в твердом, серьезном выражении взгляда, в толковых, коротких ответах было что-то такое, что невольно внушало уважение; в то же время чувство-

валось, что под наружной сдержанностью Лютикова возможна буря, что этот, смирный с виду, человек не снесет безнаказанно оскорбления. И все обращались с Лютиковым не так, как с другими. Даже те офицеры, которые не привыкли стесняться в выражениях с матросами, стеснялись с Лютиковым и никогда не бранили его площадной бранью.

Впрочем, и трудно было придраться к нему. Своим безукоризненным поведением он, словно щитом, прикрывался от возможности каких бы то ни было столкновений. Натура самолюбивая, он точно всегда был настороже, особенно первое время плавания, пока Лютикова не узнали и к нему не установились известные отношения.

Он был лучший унтер-офицер, отличный рулевой, первый стрелок. Всякая работа как-то спорилась у него в руках и под его приглядом. На грот-марсе, где он заведовал, работали лучше, чем на других марсах, и работали основательно, а не напоказ. Лютиков был исполнителен до педантизма и усерден, но в его усердии не было и тени угодливости или желания отличиться в глазах началь-

ства. Он избегал всякой похвалы или принимал ее с суровым равнодушием человека, не придающего ей никакой цены.

Он держался особняком, не сближаясь с «баковой аристократией», т. е. с боцманами, унтер-офицерами, фельдшером и писарями; не сходился Лютиков и со старыми матросами, зато он необыкновенно мягко и тепло относился к молодым матросам, попавшим от сохи в море. Как-то случилось само собою, что он взял их в начале плавания под свое покровительство. Он учил их морскому делу, ободрял трусливых во время непогоды и нередко защищал безответных от нападков боцмана, причем громко говорил, что они сами виноваты, если позволяют боцману драться, несмотря на категорическое запрещение капитана. К Щукину, отчаянному ругателю и любителю драться, Лютиков относился с некоторым презрением и не удостаивал его споров. В свою очередь, и старик боцман ненавидел от всей души Лютикова.

— Ему, подлецу, в арестантских ротах быть за его понятия, а не то что унтер-офицером! — говорил он, бывало, в интимных беседах с та-

кими же стариками, возмущавшимися, как и он, новыми порядками.

Эта ненависть, помимо разницы взглядов, питалась еще и подозрительностью Щукина, видевшего в Лютикове конкурента. Не раз уже старший офицер страдал боцмана, что его за пьянство разжалуют из боцманов... Кому же в таком случае быть боцманом, как не Лютикову? Его хорошо знал и капитан по прежней службе, он же его и взял на клипер, и была молва, что Лютикову еще давно предлагали быть боцманом, но он отказался от этой чести.

Среди матросов Лютиков пользовался большим авторитетом, его уважали, но он был несколько чужой им, и эта разница чувствовалась сама собой в осторожно почти-тельных отношениях, установившихся к нему со стороны матросов.

— Башковатый человек, что и говорить! — говорил про него Якушка, — и жизни правильной... Ему бы не матросом быть...

— А кем? — спрашивал я.

— Да по другой какой части...

— Почему?

— Умен он очень для матросской жизни... Это не годится... И гордыня в нем есть, даром, что тих... Нашего брата обидь — оботремся, а Лютиков — нет!

— Разве это худо?

— Хорошо ли, худо, да не к нашему рылу! — отвечал Якушка.

Лютиков был из зажиточной раскольничьей семьи архангельских поморов*. Отец его, человек строгого благочестия, был одним из видных и влиятельных сектантов. С юных лет Лютиков выезжал с отцом на рыбачий промысел. Эти плавания на карбасе в открытом море развили в мальчике энергию, приучили к опасностям, заставили полюбить природу. По зимам он жил в глухом лесном скиту, где нередко подолгу живали беглецы, скрывавшиеся от преследований за веру. Там, у старой тетки, начетчицы*, суровой фанатички, мальчик выучился грамоте и письму и там же, в долгие зимние вечера, слушал, бывало, нескончаемые рассказы гонимых странников и бегунов о притеснениях, испытываемых русскими людьми, искавшими религиозной правды. В этой-то среде религиозного фа-

натизма, подвижничества и озлобления крепкого религиозный пыл впечатлительного мальчика и питалась ненависть...

Лютиковых долго не трогали. Благодаря взяткам местным властям, скит держался, и раскольники покупали право молиться по-своему. Лютиков, живший с отцом в ближней деревне, собирался было жениться, как в 1852 году, совершенно для раскольников неожиданно, случился погром. Ночью налетели чиновники, запечатали скит, арестовали живших там и наутро арестовали всю семью Лютикова. Дело тянулось долго при старых судах. Три года высидели Лютиковы в остроге.

— В те поры обо многом передумал я, — рассказывал однажды Лютиков, вспоминая эти годы. — Признаться, уж тогда я начинал смущаться в нашей вере... Очень уж мы были к другим строги... Кто не по-нашему молился, того ровно поганым считали... Не то Спаситель наш проповедовал...

Лютиков замолчал и посматривал на даль темневшего океана. Ночь была чудная, нежная, одна из тех прелестных ночей, какие бывают в тропиках. Мы стояли с Лютиковым на

вахте. Делать на вахте было нечего, не приходилось шевелить «брасом». Подымаясь с волны на волну, шел себе клипер под всеми парусами, подгоняемый ровно дующим пассатом, узлов по восьми, и вахтенные матросы, усевшись кучками, коротали вахту в тихих разговорах. Только вахтенный офицер ходил взад и вперед по мостику, посматривая по временам на горизонт, не темнеет ли где шквалистое облачко, да покрикивая изредка часовым на баке: «вперед смотреть!»

— Чем же кончилось дело? — спросил я после того, как Лютиков смолк.

— Известно, чем кончались такие дела!.. — с озлоблением промолвил Лютиков. — Много народу пошло в Сибирь, а меня сдали в матросы...

— Живы отец с матерью?

— Умерли... Никого почти из родных не осталось в живых. Брат старший есть, ну, да тот давно бога забыл...

Все это Лютиков рассказывал уж после того, как между нами установились более или менее близкие отношения. В начале плавания, когда я, заинтересованный Лютиковым,

обратился было к нему с разными вопросами, он отвечал сухо и неопределенно, с насмешливой улыбкой, говорившей, казалось: «тебе какое дело?»

Это меня обидело несколько. В качестве либерального юнца, искавшего сближения с матросами, я наивно полагал, что выражаю сочувствие, и не сообразил тогда, сколько было грубой неделикатности в этих расспросах молодого барчука. Все дальнейшие мои попытки вызвать Лютикова на разговор не имели успеха. Лютиков, видимо, относился ко мне с тем же подозрительным недружелюбием, сдерживаемым различием положений, в форме сухой почтительности, — с какими относился вообще ко всем офицерам. Только к одному капитану он, по-видимому, питал нежные чувства, а когда капитан обращался иногда к Лютикову с приветливым словом, Лютиков бывал доволен.

Вскоре, однако, неприязненность его мало-помалу прошла. Он сделался общительнее, сам вступал в разговоры, просил книжек и требовал объяснений, если не понимал прочитанного.

Эта перемена в Лютикове произошла после того, как он побывал первый раз в своей жизни в иностранном порте. Это был Лондон, куда клипер зашел на несколько времени для починки в доки.

Лондон произвел на Лютикова громадное впечатление. Он вернулся на клипер очарованный. На другой же день он первый заговорил со мной, восторгаясь всем виденным и расспрашивая, как живут люди в чужих землях и почему все там не так, как у нас.

Он побывал на берегу еще раз и вскоре после этого обратился с просьбой: дать ему почитать книжку о чужих землях. Я дал ему какое-то путешествие, бывшее в библиотеке. Через несколько дней он возвратил книгу и просил других. После того он то и дело обращался то ко мне, то к кому-нибудь из гардемарин с вопросами. Достоинно внимания, для характеристики Лютикова, что вопросы его главным образом касались общественного и религиозного устройства. Видно было, что мысль его деятельно работала.

Другие европейские порты усиливали первое впечатление. Лютикову все нравилось,

все казалось непохожим на то, что он видел прежде. Он пристрастился к чтению и особенно любил книги исторического содержания. В его уме все виденное и прочитанное складывалось в представление чего-то яркого и необычайного, и в разговорах его чаще прежнего прорывалась нота озлобления при рассказах о жизни на родине. Я не раз вступал с ним в споры, доказывая, что он слишком увлекается видимым блеском заграничной жизни, и что не все там так хорошо, как кажется, но он не верил моим словам. Лютиков принадлежал к числу тех самостоятельных натур, которые до всего доходят пытливостью своего ума.

Когда я, бывало, спрашивал Лютикова, чем думает он заняться по выходе в отставку (срок его службы кончался по возвращении в Россию), он обыкновенно отвечал, что и сам не знает.

— А в ластовые офицеры?.. Выдержать экзамен не важность...

— Нет, уж куда... Ни пава, ни ворона... Видал я ластовых и шкиперов... Тоже офицеры из нижних чинов... Федот да не тот!..

VII

Целую неделю на клипере была работа. Переменили и вооружили новую грот-марса-рею. Лютиков был занят с утра до вечера и работал с обычным своим усердием. Тем не менее я замечал в нем какую-то перемену. Нередко, проработавши весь день на марсе, Лютиков вместо того, чтобы идти спать, долго ходил наверху, серьезный, задумчивый, словно бы удрученный какими-то думами. Я спросил: «что с ним?» Он коротко и сухо отвечал, что ничего, видимо избегая разговоров.

Когда работы были окончены, и я узнал, что через несколько дней команду спустят на берег, я поспешил сообщить об этом Лютикову, рассчитывая обрадовать его этой новостью. Но, к изумлению моему, он принял это сообщение не только без радости, а, напротив, как будто с неприятным чувством.

— Разве тебе не хочется на берег? Сан-Франциско тебе так понравился?

Он промолчал:

— Правда, сегодня на баке рассказывали, будто капитан от нас уходит?

Действительно, пришедший накануне кор-

вет привез слух, будто наш капитан получает другое назначение, и что к нам на клипер будет назначен капитаном один из старших офицеров, известный на эскадре как человек крутой, суровый, школивший матросов по обычаю прежнего времени.

Я передал Лютикову, что слухи были.

— Другие порядки, значит, пойдут! — проговорил Лютиков. — Такого, как наш капитан, редко найдешь... Хороший капитан, и людям жить можно, а как попадет какой-нибудь зверь — мука пойдет... Опять пороть людей будут...

— Ведь ты знаешь, что телесные наказания отменены*. Недавно приказ читали...

— Мало ли что отменено, а небойсь, на других судах и порют, и в зубы бьют! — с насмешливой злостью возразил Лютиков. — И теснить людей по закону запрещено, и грабить запрещено, а люди людей и теснят, и грабят! И староверам по закону по-своему молиться можно, а небойсь, коли не заткнешь пасть деньгами, нельзя... Все можно, только не нашему брату! — прибавил он с каким-то страстным озлоблением. — Да и вам, господа,

все можно, да не очень! — с иронией продолжал он.

Через день в Сан-Франциско пришел адмирал, и слухи о новом назначении капитана подтвердились. Все, и офицеры, и матросы, искренно сожалели, что капитан оставляет клипер. Только один Лютиков, по-видимому, не разделял общего сожаления. После этого известия он даже повеселел, что крайне удивило меня в ту пору.

В тот же день команду отпустили на берег. Лютиков уехал необыкновенно веселый. Никогда не видал я его в таком хорошем настроении.

Вечером, когда мы сидели в кают-компании за чаем, гардемарин, ездивший с командой на берег, доложил старшему офицеру, что все вернулись, исключая Лютикова.

Старший офицер удивился, зная пунктуальную аккуратность Лютикова. Он предположил, что случилось что-нибудь особенное, если Лютиков опоздал на шлюпку, и приказал одному из офицеров завтра пораньше ехать в город навести справки о Лютикове через консула. Никто, разумеется, и не подозре-

вал, что Лютиков мог дезертировать.

Посланный офицер вернулся, не узнавши ничего.

Прошел еще день. Старший офицер начал беспокоиться. Уж не заболел ли Лютиков?.. Он хотел было снова посылать офицера на берег за справками, как капитанский вестовой доложил ему, что его просит к себе капитан. Через четверть часа наш милейший Василий Иванович вернулся взволнованный. Несколько времени он сидел молча, нервно теребя усы, и, наконец, таинственно сообщил на скверном французском диалекте, что Лютиков бежал.

Это известие поразило всех. В первую минуту никто не хотел верить, что Лютиков мог бежать.

— И я, господа, никогда не поверил бы... Такой отличный был унтер-офицер и вдруг...

Он рассказал, что капитан только что получил письмо от Лютикова. В письме он просит у капитана прощения за свой поступок и — вообразите! — сообщает, что давно задумал бежать и что намерение это ускорилося известием об уходе капитана.

Старший офицер просил нас держать бегство Лютикова в секрете от матросов, чтобы не произвести дурного впечатления.

— Если бы бежал какой-нибудь негодяй, а то лучший унтер-офицер. Черт знает, что такое! — прибавил в недоумении старший офицер.

На следующий день Василий Иванович объявил боцману Щукину, что Лютиков утонул, купаясь на берегу. Боцман выслушал молча, но с видимой недоверчивостью.

VIII

Дня через три после этого клипер ранним утром снимался с якоря. Опять все были наверху, но настроение всех было не такое праздничное, как при входе на рейд. Выйдя из оживленной бухты, клипер на минуту остановился, чтобы спустить лоцмана, затем мы прекратили пары и вступили под паруса. С ровным свежим ветром клипер быстро уходил от обрывистых, красных берегов Калифорнии.

Когда подвахтенных просвистали вниз, кучка матросов, по обыкновению, собралась на баке вокруг кадки с водой. Молча посмат-

ривали матросы на убегающий берег, изредка перекидываясь краткими замечаниями. Кто-то из молодых матросов заговорил было о Лютикове, но ни одна душа не поддержала разговора. Все сердито взглянули на говорившего, видимо избегая высказывать свои мнения.

— Беспременно сбежал, анафема! — проговорил вдруг Щукин, обращаясь к одному старику плотнику, но, очевидно, говоря для всех. — Чем отплатил за доброту, подлец! Сраму сколько одного... Русский унтерцер и подиты!.. Вот они, эти порядки новые... Распут один! — с злорадством прибавил боцман, окидывая суровым взглядом матросов. — Прежде матросы не бегали... не срамили флота... Как же! Грамотей был, тоже книжки читал... А выходит — сволочь!

И расходившийся боцман продолжал косить ненавистного ему Лютикова.

Но матросы слушали боцмана в угрюмом молчании. Один за одним уходили они прочь, и скоро Щукин остался в компании двух-трех человек.

— Так Григорьич, значит, не утонул, Якушка? — тихо спросил у Якушки тот самый бело-

брысый молодой матросик, который интересовался знать, какой державы американцы.

— А ты и поверил, простота, что господа говорили? — усмехнулся Якушка. — Григорьич недаром на берегу с Максимкой путался!..

— Помоги ему господь! — прошептал в ответ матросик и перекрестился.

— Небойсь, Григорьич не пропадет у американцев... Башковатый он человек, Григорьич. Он, братец ты мой, до всего дойдет... Однако, свежеет!.. Ишь, зайцы-то расходились! — вдруг круто переменил разговор Якушка, увидав подходявшего офицера.

Ветер крепчал, посвистывая в снастях. Словно птица, расправившая могучие крылья, клипер, накренившись набок, несясь все быстрее и быстрее, легко перепрыгивая с волны на волну и раскачиваясь. Седые гребешки волн, с шумом разбивающихся о бока вздрагивающего клипера, все чаще и чаще обдавали брызгами палубу... Скоро берега скрылись из глаз. Кругом одна беспредельная холмистая равнина бушующего океана да небо, покрытое бегущими облаками... Вдали, на гори-

зонте, собирались тяжелые свинцовые тучи.

В далекие края*

I

Когда я начал было составлять маршрут путешествия из Петербурга в страну золота и классического «Макара»*, где по делам мне предстояло прожить довольно продолжительное время, я мог сообразить свою поездку лишь до Урала. Дальше всякие соображения относительно времени и способов передвижения прекращались, и я находился в таком же недоумении, в каком очутился бы, собираясь посетить неизведанные места Центральной Африки. Я, правда, знал, что по некоторым сибирским рекам, названия которых еще со школьной скамьи неизгладимо врезались в память, ходят пароходы, что в последнее время и экспортация преступных элементов совершается преимущественно летом, чтобы воспользоваться водяным путем, но когда, откуда и куда ходят пароходы, в какой срок совершают рейсы, что стоит переезд на них, — вот вопросы, в ответ на которые все отечественные календари и путеводители позорно

молчали, игнорируя сибирское пароходство.

Проникнуты ли наши Бедекеры* убеждением, что в отдаленные места добровольных путешественников ездит слишком мало, и для них не стоит давать лишнюю страничку сведений (для невольных же туристов, которых, напротив, слишком много, существуют казенные путеводители), забывают ли они о Сибири по небрежности или просто по российской халатности, — не знаю. Но дело только в том, что несравненно легче с каким-нибудь иностранным курсбухом в руках составить точный расчет путешествия в Австралию, Китай, Калифорнию или на мыс Доброй Надежды, чем, находясь в столице империи, сообразить способы сообщения, время и стоимость экскурсии по ту сторону Уральского хребта. Месяц, полтора ли изнывать вам в дороге, где пользоваться водой, где почтовым трактом, можно ли на станциях достать какие-нибудь орудия передвижения, более гарантирующие целостность ваших внутренностей, чем перекладные, — все это было облечено для меня глубочайшею тайной.

Такою же, если еще не большею, романи-

ческой тайной окутаны и сибирские города с их 30° морозами и классическими «сибирскими» пожарами. И если вы, как предусмотрительный человек, пожелали бы узнать, хотя бы в общих чертах, чего вам ждать от того или другого города, есть ли в нем, кроме присутственных мест, острога, рынка и клуба, еще и другие образчики цивилизации, — школы, гимназии, библиотеки, — то вы много потратите времени в надежде обрести нужные вам сведения.

Из суворинского календаря* вы можете лишь узнать число жителей в любом городе и, разумеется, неверное, так как сибирская статистика не только наука, но и дойная корова для собирателей сведений, как и полагается в дореформенных палестинах. Вдобавок не забудьте, что в Сибири в непрерывных «бегах» числится обыкновенно до сорока тысяч человек (опять-таки по сибирской статистике), и вы поймете, как трудно усчитать, в каких городах отдыхают отряды этой вечно «бегающей» армии. Мало извлечете вы, заглянув для очистки совести и в учебники географии. Они напомнят вам, пожалуй, время вашего

детства, восстановят неясный образ Ермака, укажут количество церквей, но относительно бытовых подробностей проявят ту же скудость, какую проявлял и старик Ободовский*. Из разных сибирских временников и памятных книжек, составляемых губернскими статистическими комитетами частью для собственного употребления, частью для надобностей местных казенных учреждений, можно бы, пожалуй, выудить более подробные, свежие, а иногда и весьма любопытные сведения, но вы их найдете только по приезде в Сибирь, когда они явятся «горчицей после ужина», а в Петербурге, увы, вам не разыскать этих таинственных незнакомцев. Затем, в ученых путешествиях и исследованиях Сибири, у Кастрена, Палласа, Гумбольдта, Макка, Щапова, Ровинского, гг. Ядринцева и Потанина*, в изданиях сибирского отдела географического общества*, найдется, без сомнения, много любопытного, интересного и поучительного по всем отраслям знания, но, разумеется, в таких исследованиях и ученых монографиях не может быть тех бытовых описаний города и деревни, тех справочных, так

сказать, сведений, которые именно-то и нужны обыкновенному смертному, чтобы ориентироваться на новом месте, не рискуя очутиться в положении Робинзона или щедринского генерала на необитаемом острове*.

К сожалению, у нас и вообще-то мало популярных толковых описаний путешествий. Что же касается знакомства с Сибирью, то разные интересующие вас бытовые подробности приходится искать в статьях, очерках, иногда весьма недурных, разбросанных по разным изданиям. Недурна в этом отношении книга г. Ядринцева Сибирь как колония. Она дает если и не полную, то, во всяком случае, довольно характерную общую картину сибирской жизни, хотя и смотрит на Сибирь и сибиряка с некоторым, понятным, впрочем, в авторе-сибиряке, пристрастием, особенно заметным, если сопоставить отзывы этой книги с отзывами, например, Щапова и Ровинского или Шашкова*. Довольно полно отражает эту будничную, так сказать, жизнь и сибирская местная печать*, исполняя свое многотрудное дело не без упорной энергии и с достоинством, несмотря на всяческие про-

тивоедействия, хорошо известные особенно провинциальной печати. Я говорю о Сибири и о Сибирской Газете*, двух старых органах местной жизни, сумевших поддержать значение печатного слова.

Прочитывая эти маленькие еженедельные листки, вы очень часто встретите в них любопытный материал по исследованию народной сибирской жизни и, наверное, познакомьтесь (до известной, конечно, степени и в известных, разумеется, пределах) со многими особенностями и чудесами дореформенных порядков в «центрах» и в захолустьях этой классической страны маленьких местных са-трапчиков в образе разных заседателей и прочих полицейских цивилизаторов, исполняющих свою известную провиденциальную миссию, допотопных ярыжек* старых судов [16]; страны богатых и прогорающих золото-промышленников, бандитов легальных — разных кулаков местного произрастания и бандитов нелегальных — рыцарей острога и каторги, бродяг и всяких скитальцев из пришлого элемента; страны «жестоких» нравов купечества с выдающимися «сибирскими

американцами», биографии которых, случается, так же темны, как темна сибирская тайга и как мрачен первоначальный источник богатств этих «вчерашних» ямщиков, ставших сегодня «уважаемыми» патрициями, с мундирами, приобретенными благотворительными пожертвованиями; страны исторических казнокрадов и расхитителей на «покое»; червонных тузов и валетов* не «у дел» и всякого рода артистов; страны, где и сибиряк-обыватель, и русский посельщик, и наивный бурят, и вымирающий остяк* или самоед* более чем где-либо чувствуют, что до господа бога действительно высоко, а какой-нибудь еле грамотный и вечно пьяный волостной писарь действительно близко.

Но подите, ищите в России сибирские газеты! Да если бы вы и знали об их существовании, то кому досуг и охота рыться в газетных листках?

Что же касается чисто справочных сведений о дороге и о разных местных условиях жизни, то их, как я сказал, нигде не найти, и вам предстоит пускаться в страну (для большинства действительно неведомую), уподоб-

ляясь колумбовым спутникам, если вы, по русскому обыкновению, за неимением печатных путеводителей, не добудете себе какого-нибудь «сведущего» человека, который избавил бы вас хотя от некоторой тягости недоумений, сообщив о подробностях путешествия, как водится, более или менее неверные сведения, с обычною готовностью русского человека ввести в заблуждение ближнего самым искренним и добродушным образом.

Само собою разумеется, что я предполагаю возможность любознательности лишь относительно тех сибирских городов, которым можно дать такое название, хотя бы и с некоторою натяжкой. Я имею, конечно, в виду пять-шесть губернских центров, где действительно водится житель и где возможно предположить способы существования, хотя бы приблизительные к человеческому, а не разные Нарымы, Сергуты, Каински, Гижиги, Вилюйки, Турухански, Верхоянски (немало еще!), одни уж географические широты которых и самые их названия (не говоря о дурных слухах) отбивают всякую любознательность, по крайней мере, со стороны человека, пред-

почитающего культурные условия жизни первобытной и не влюбленного в тундры и ягоду морошку.

А между тем эти географически собачьи места и на картах, и в учебниках, и в воображении наивных людей фигурируют под громким названием городов и важно значатся в списке «населенных» мест в империи. А в таких «городах», случается, и всего-то «жителя» сотня — другая, считая в том числе и команду казаков и случайного гостя, без которого немислимо, разумеется, ни одно «собачье место». И «житель», исполняя нехитрые функции жизни первобытного человека, ухитряется даже не всегда находиться в состоянии запоя, а гость не всегда сойти с ума от тоски и не гибнуть от лишений, как бы для доказательства, что из всех земных тварей человек есть самая терпеливая и живучая, могущая приспособиться даже к какому-нибудь Средне-Колымску (припомните: «Яна, Индигирка и Колыма»), в сравнении с которым сама знаменитая Пинега, как говорят, то же, что Париж перед Тотьмой или Боровичами.

«Сведущий» человек, к которому я обра-

тился за справками, был человек почтенный, добросовестный, считавший себя знатоком края, но, на беду мою, коренной сибиряк, к тому же давно оставивший Сибирь, а многие сибиряки, как я не раз убеждался горьким опытом, немножко гасконцы*, чуть дело идет об их родине. Питая к ней «род недуга» и отличаясь местным патриотизмом в очень значительной дозе, мой сибиряк был несколько расточителен на яркие краски, когда живописал красоты сибирской природы с ее тайгами и степями, рассказывал про «нетронутость» сибирского жителя (коренного, заметьте, жителя; к пришлым, «российским», сибиряк питает недоброжелательство) и с необыкновенною нежностью вспоминал о лепешках, шаньгах* и пирогах, о знаменитой сибирской нельме и «стружанине» (сырая замороженная рыба, которую сибиряки едят, настругивая тонкими стружками) с уксусом и луком.

Мрачная, безлюдная и холодная «страна Макара», какую представлялась она вам с детства, принимала в этих «сибирских» рассказах совсем иной вид — вид обаятельных, полных прелести палестин, не испорченных еще

вконец изнанкой цивилизации и изобилующих всякою снедью. Если бы да только «реформы», которые сравняли бы Сибирь с Россией, а не этот классический «провиденциальный» цивилизатор, не дающий сибиряку вздохнуть, не потребовавши мзды, да не пришлый «варнак», развращающий патриархального местного жителя, то хоть бы рай! И сибирский «кулак», по словам «сибирского гасконца», куда мягче русского, да и «кулаков»-то меньше. О сибирском мужике и говорить нечего, не чета русскому; он не так забит и живет куда богаче: земли вдоволь, и знает он говядину не по одним только великим праздникам, ну, словом, там, в этих привольных местах, «вообще» лучше.

Слушая все эти подчеркивания хороших сторон (дурные рассказчик-сибиряк смягчит по мере возможности), вы начинаете удивляться собственному невежеству. Думали, что Сибирь — Сибирь и есть, а выходит если и не совсем Аркадия* (едва ли в Аркадию ссылали бы преступников), то все-таки «весьма и весьма недурно», как выразился, вторя словам сибиряка, другой пропагандист этого края, зна-

комый правовед, один из тех ранних и милых молодых людей новейшей формации, которые, при случае, умеют с трогательною любезностью уверить, что, «собственно говоря», и на Сахалине «весьма и весьма недурно».

Молодой человек, хотя сам и не бывал в «тех» местах, но имел случай по обязанностям службы («Ах, какая тяжелая служба!» — по обыкновению прибавил он, скромно опуская глаза) узнать о них основательно и может сказать, что против них сложилось совсем напрасное предубеждение. «Там» есть места превосходные, которые по климату не уступят хотя бы Швейцарии. Возьмите, например, Семиречье или местности подле Алтая. Хорошо и Забайкалье... Недурна и Томская губерния... Не совсем скверно и в Якутской области.

— Знаете ли, — прибавил он, вдохновляясь собственными словами, — я даже завидую вам, что дела заставляют вас оставить на некоторое время Петербург. Там, вдали от здешней сутолоки, на приволье, среди новых людей, в «ровном» климате, право, лучше! Охота, рыбная ловля какая! И наконец вам во-

лей-неволей придется узнать настоящую жизнь, а не подделку ее, не ту, которую описывают нам, тенденциозно преувеличивая ее дурные стороны.

И, увлекаясь все более, молодой человек начал нахваливать те места даже по-французски и с такою убедительностью, что я осведомился: почему он сам не перейдет на службу в «те» места? К сожалению, он ведь не зависит от себя. Раз служить, надо «тянуть лямку», где придется... Он, так сказать, «раб обстоятельств», и наконец, прибавил он, «здесь он более полезен».

Ввиду таких приятных сообщений, я, признаться, позабыл многое, что читал и о чем слышал, и заранее восхищался перспективой приволья, ясного неба, постоянного солнца, хотя и при сильных морозах зимой, но зато почти нечувствительных при безветрии (все это сведущий человек вам обещает довольно авторитетно, так что вы и не ожидаете, что все это окажется порядочным враньем) и необыкновенно дешевой жизни. Когда мой словоохотливый сибиряк окончил описание свое «вообще», я стал допрашивать его, разу-

меется, детально.

Во-первых: как ехать, где сесть на пароход? Оказалось, что от Екатеринбурга*, связанного с Пермью железной дорогой, надо ехать до Тюмени на лошадях. Тарантас можно найти, проходная дорога — прелесть! Везут... но кто не знает, как по Сибири возят? Эти 300 верст будут приятным воспоминанием.

Читатель впоследствии узнает, какое «приятное» воспоминание оставили эти триста верст адской дороги, а пока приходилось только радоваться ожидающей прелести и узнать затем, что из Тюмени вы садитесь на пароход и по Таре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи плывете дней десять до Томска. Оттуда опять на лошадях на прииски, куда мне приходилось ехать, оставив семью в Томске.

К сожалению, мой живой путеводитель не мог сообщить, когда ходят пароходы и что стоит переезд, и посоветовал справиться об этом в Нижнем. Там, разумеется, известно. Зато очень хвалил сибирские пароходы, обещал много красивых видов и соблазнял знакомством с нельмой.

— А каков, например, город Томск?

— Превосходный. Лучший город Сибири, так сказать сибирская Москва. Вы там найдете все условия цивилизованной и притом дешевой жизни... Говядина лучшая шесть копеек... Стерлядь, осетрина, нельма дешевы... Дичь ни по чем... Ягод изобилие...

— А учебные заведения?

— Две мужские гимназии: классическая и реальная; женская гимназия, несколько школ... Скоро вот университет будет... Хорошая библиотека и книжный магазин... Театр. Недурные гостиницы...

— А как мне быть с мебелью? Не везти же ее с собой... Можно ли там найти какую-нибудь простую мебель?

В ответ презрительная усмешка.

— Что угодно найдете...

— Быть может, дорого?

— Всякая есть: и дорогая и дешевая, — успокаивает вас сведущий человек.

Но вы сделаете большой промах, если поверите, так как убедитесь горьким опытом, что в «сибирской Москве» нет ни одного мебельного магазина, и вам придется ожидать «случая», чтобы приобрести хотя письмен-

ный стол или же купить разный хлам на базаре, этом главным, общеизвестном месте Томска.

Точно такие же утешительные сведения вы получаете в ответ на вопрос о квартире. Оказывается, что квартиры очень дешевы.

— Да вот я вам скажу: за пятнадцать рублей в месяц я нанимал целый дом в шесть комнат. Правда, это было десять лет тому назад. Теперь квартиры подороже, но все-таки они дешевы.

Увы, и на этот счет вас ждет разочарование.

Наконец я, как человек, собирающийся в новые места не один, а в приятной компании нескольких «прелестных малюток», поинтересовался вопросом общественной безопасности, ибо вспомнил, что в газетах писали, будто в Томске грабежи часты, и слышал, что вообще там без револьвера по вечерам выходить на улицу небезопасно.

— Все это преувеличивают! — не без сердца возразил мой сибиряк.

— Однако и г. Ядринцев в своей книге Сибирь как колония приводит не особенно уте-

шительные сведения насчет Томска: пятьдесят восемь краж и убийств в три месяца, по официальным данным.

— Ну, может быть... не спорю... были такие три месяца, но вообще... ничего нет особенно страшного. В маленьких городках случается, правда, иногда, что жители находятся как бы в осаде от варнаков. Ну, а в больших городах, слава богу, и полиции больше и солдаты есть. Конечно, не без того, пошаливают, а вы хорошенько запирайтесь на запор по ночам да собак хороших заведите, не лишнее, разумеется, и револьвер на случай иметь. Береженого бог бережет, так оно и безопасно... А чуть ежели что... заберутся к вам, вы — бац из револьвера... Этих мерзавцев, варнаков, жалеть нечего! — утешал сибиряк.

Но радость моя была омрачена, когда, несколько дней спустя, пришлось случайно встретиться с другим «сведушим» человеком, совершившим на своем веку немало разъездов по разным окраинам России. Начиненный более или менее утешительными сведениями, я, под впечатлением «сибирских» рассказов, начал было передавать ему свои на-

дежды, но увидел на лице его ироническую улыбку. Сперва он слушал молча, но наконец не выдержал и стал рассказывать про Сибирь, где он прослужил года три. Он был немолод. Этот новый «сведуший» человек не особенно радостно смотрел вообще на мир божий, а на сибирский край в особенности. И, слушая этого, несколько угрюмого скептика, мне пришлось из рая, нарисованного милейшим сибиряком и любезным «рабом обстоятельств», перенестись, так сказать, прямо в самое жерло ада. Самые темные краски, казалось, были недостаточны, чтобы достойно заклеить эту «подлейшую» трущобу. И природа, и климат, и люди, и нравы — все это в его рассказах получало мрачную окраску. Он, впрочем, жил более в Восточной Сибири, Томска не знает, проезжал только, и о нем не мог сообщить ничего положительного, но, по аналогии, хорошего ожидать и от него нечего.

— Вы, верно, слышали от сибиряков, — продолжал он. — Это они вам так расписали... Они, в большинстве случаев, отчаянные патриоты своего отечества, «омулевые», так сказать... Нахваливают свое болото

и даже своих великих людей создают... Самые образцовые между ними (хотя это и большая редкость) не свободны от такого китайского взгляда на вещи. Везде нынче, положим, не особенно сладко живется, везде дичь еще порядочная, но такой дикой, такой заскорузлой страны, как Сибирь, я не видал.

— Однако вы уж чересчур мрачными красками разрисовали сибирскую жизнь, — возразил я, когда мой сведущий человек в достаточной степени напугал меня.

— Мрачными?.. А вот сами увидите, какова эта жизнь для человека, не способного с утра и до вечера душить водку. Главное, — продолжал он, — запасайтесь-ка терпением и персидским порошком; это необходимейшие вещи и в дороге и на месте... Да не забудьте купить здесь самые высокие калоши, какие только найдете, а то, еще лучше, закажите, чтобы в сибирских городах ходить по улицам... Грязь везде такая, что потонуть можно! — заключил свои неутешительные напутствия этот бывалый скиталец по разным окраинам необъятного отечества.

Несколько сбитый с толку такими проти-

воречивыми отзывами, я, однако, последовал совету «сведущего» человека пессимистического характера, запасся персидским порошком и высокими калошами, и в начале лета мы тронулись из Петербурга в дальние края.

Терпением запастись не приходилось. Этим похвальным качеством всякий русский человек наделен, слава богу, в достаточной мере, — в такой достаточной, что мог бы, не погрешая против истины, повторить чичиковские слова генералу Бетрищеву: «Терпением, можно сказать, повит и спеленат, будучи, так сказать, одно олицетворенное терпение, ваше превосходительство!»*

II

По России, как известно, редко путешествуют, а чаще ездят, сожалея о пароходах на железной дороге и о железных дорогах на пароходе. Нечего и говорить, что эти длинные переезды особенно затруднительны, когда приходится ехать с детьми, не рассчитывая на отдельные купе в первом классе. Я этим не хочу чернить ни наших железных дорог, ни пароходов. Кто путешествовал по Европе, хорошо знает, что наши вагоны гораздо про-

сторнее и удобнее, например, французских, австрийских и итальянских, в которых буржуазное скаредство отводит пассажиру как раз столько места, сколько необходимо человеку, чтобы он, не шевелясь и не протягивая ног, мог не задохнуться от тесноты.

Но при всех этих неудобствах путешествие по европейским железным дорогам не сопряжено с тем нервным напряжением, в каком вы постоянно находитесь на наших (особенно путешествуя с дамами и детьми), если заблаговременно не вступили в интимное соглашение с обер-кондуктором насчет «местечка» или не имеете возможности, в качестве особы, занимать целый вагон.

Там, в Европе, вы просто едете, а у нас вы, так сказать, совершаете нечто вроде военной экспедиции, сопряженной со всевозможными случайностями и «историями», предвидеть которые так же трудно, как трудно не иметь их, хотя бы вы и обладали воловьими нервами и русским терпением.

В каком бы классе вы ни ехали по Европе, вы чувствуете себя среди граждан, тонко понимающих значение общности. Вам не

придется воевать из-за места, так как каждый понимает, что нельзя человеку занимать два или три, когда у другого нет никакого, из-за открытых окон с обеих сторон, из-за курения в некурильных вагонах и т. п. Все это мелочи, но мелочи, отравляющие путешествие и характерно отмечающие культурную разницу между публикой, особенно по мере удаления из Петербурга.

Среди нашей, так называемой, культурной публики, в вагонах первого и второго классов, вы зачастую можете наблюдать и этот недостаток знания азбуки общественности: невнимание к интересам другого, желание во что бы то ни стало обойти самые элементарные правила общежития, захватить себе два, три места, войти в пререкания, лгать самым наглым образом, говоря, что места заняты, и еще посмеиваться, глядя, как какой-нибудь пассажир или какая-нибудь пассажирка, словно обезумевшие, носятся из вагона в вагон, вотще обращаясь к ближним с вопросами о свободном месте, пока наконец не явится обер-кондуктор и после обычного пререкания не водворит нового пришельца на месте,

рядом с ворчащим и негодующим соседом.

Обычные вагонные сцены грубости нравов и отсутствия всякого чувства альтруизма среди большинства культурных путешественников разнообразятся еще зрелищем неожиданных метаморфоз, мгновенно превращающих, точно на гуттаперчевой кукле, выражения этих непреклонных и геморроидальных лиц петербургских путешествующих чиновников или рыхлых, более добродушных физиономий провинциалов в выражение трогательного собачьего умиления и преданности, если вдруг среди пассажиров появится в вагоне какая-нибудь известная «особа» или, среди разговора, обнаружится как-нибудь инкогнито какого-нибудь известного лица. При таких случаях русский гражданин не умеет даже солидности постепенности перехода от непреклонности к умилению и, как бы опровергая теорию Дарвина, как-то мгновенно из человека превращается в собаку, да еще виноватую.

В вагонах третьего класса, среди серого пассажира, вы чувствуете себя как-то нравственно спокойнее, но продолжительное путешествие в третьем классе, особенно летом,

когда вагоны набиты битком, требует некоторого мужества и привычки к тому специфическому запаху, который жаркою летнею ночью делает пребывание в душном вагоне несколько похожим на сиденье в помойной яме. Зато там, по крайней мере, вам не придется воевать из-за мест и ждать каких-нибудь историй с соседями. Там, напротив, чувство общности инстинктивно развито гораздо более, там всегда готовы потесниться, даже слишком потесниться, если у вас фуражка с кокардой, и боятся каких-нибудь историй с тою приниженною боязливостью серого человека, которая особенно ярко бросается в глаза в вагонах и на пароходах, и чем дальше от столиц, тем больше, так сказать, нагляднее.

Он, этот «серый» пассажир, точно чувствует себя виноватым уже за то, что за свои деньги занимает место, и редко протестует, если ему прикажут «маленько потесниться»: вместо лавки, приткнуться как-нибудь в проходе или скорчиться на полу, и валяться на палубе в невозможной тесноте с кучей детей, которым грозит ежеминутная опасность быть

придавленными в ночной темноте.

Этот безответностью, этим уменьем безропотно приспособиться к такому положению, которое любому иностранному крестьянину или рабочему показалось бы невозможным нарушением его права, пользуются, и широко пользуются, на железных дорогах и в особенности на волжских и сибирских пароходах. Вагоны и палубы зачастую набиваются живыми людьми, словно сельдями в бочках. Никто не находит возмутительной такую эксплуатацию. Никто из бесчисленного штата надзирающих не обращает внимания на такое нарушение права, хотя подобное скучивание людей и влечет за собой нередко болезни и смертность (особенно детей), как это и случается на сибирских пароходах, перевозящих переселенцев.

Если вы рискнете заметить о таком отношении к пассажиру, заплатившему деньги, какому-нибудь железнодорожному или пароходному начальству, то оно, разумеется, не только не обратит внимания на ваше замечание, но еще пренаивно выпучит глаза, спрашивая: «какое вам до этого дело?»

Такой именно вопрос и задал обер-кондуктор, когда на одной из станций между Петербургом и Москвой какой-то господин, скромно одетый, обратил внимание обер-кондуктора на то, что в двух вагонах третьего класса не хватает людям мест, что пассажиры сидят по трое на лавках, а некоторые принуждены стоять, и настойчиво просил дать им места.

— Да ведь пассажиры не жалуются.

— Но нельзя же так обращаться с людьми! — настаивал пассажир.

Слово за слово, и началась одна из обычных сцен, окончившаяся, впрочем, благодаря настойчивости протестанта и благоразумию травленного обер-кондуктора тем, что пустой задний вагон был открыт, и туда рассадили пассажиров, не имевших мест, преимущественно крестьян, возвращавшихся из Петербурга по деревням на полевые работы.

Что обер-кондуктор наивно удивился вмешательству постороннего человека, вступившего за интересы людей, которые сами не протестовали в защиту их, в этом, конечно, нет ничего удивительного; но удивительнее было то, что среди кучки людей (и все из чи-

стой публики), слушавшей это объяснение, никто не поддержал протестовавшего господина, и когда он обратился к стоявшим поблизости, как бы ища поддержки, то каждый отворачивался и уходил, выказывая отсутствие общественного чувства теми равнодушием и боязливою осторожностью вступить в защиту ближнего, которые так часто проявляются при разных публичных случаях насилия и обиды слабого человека, несравненно более возмутительных, чем только что рассказанный.

Но любопытная черточка, и характерная черточка, присущая, как кажется, специально славянской натуре: многие из этих же самых людей, равнодушно отворачивавшихся, когда к ним обращались за поддержкой, по окончании этой «истории», возвратившись в вагон, хвалили вступившегося господина, находя образ действия его похвальным, громко бранили железнодорожные порядки и менее громко прохаживались насчет порядков «вообще». Но, случись с этим самым господином какая-нибудь неприятность за его «похвальное» вмешательство, можно держать пари сто про-

тив одного, что ни один из этих сочувствующих не пошевелил бы пальцем. В этом самом обыкновенном дорожном происшествии, как в малой капле воды, отразились общий характер и склад русского культурного человека, объясняющие многие явления современной жизни. И чем далее вы удаляетесь из Петербурга, тем чаще приходится вам наблюдать подобные «истории», встречаясь с еще большим равнодушием и большею боязнью путаться не в свое «дело», но зато слушая иногда ламентации* случайных спутников, несравненно более экспансивные и менее осторожные, чем те, которые приходится слышать среди пассажиров Николаевской дороги*, особенно среди петербуржцев, привыкших путешествовать с молчаливою сдержанностью и тою, чисто чиновничьей, брезгливостью в дорожных знакомствах, благодаря которым можно сразу отличить кровного петербуржца не по одному только бескровному лицу и кургузому пиджаку, обтянутым штанам и ботинкам с китайскими носками.

По мере удаления из Петербурга на восток увеличиваются в прямой пропорции и раз-

личные путевые неудобства и неожиданные приключения, и чувствуется все большая и большая потребность в терпении и персидском порошке. Путешествие принимает все более и более патриархальный характер, несколько напоминающий путешествие по девственным странам. Поезда движутся медленнее и опаздывают чаще; часы отхода и прибытия пароходов находятся в большей связи с вдохновением и с милостью господней, чем с печатным расписанием. Поездная прислуга теряет свой столичный вид, казарменную вежливость и расторопность, принимая все более и более облик «мальчика без штанов» и обдывая с меньшей опаской свои маленькие гешефтики. Пароходные капитаны, в большинстве случаев попадающие в моряки по воле судеб и неокончания нигде курса, имеют вид добрых малых, старающихся задобрить гостей-пассажиров (разумеется, классных).

Приноравливаясь к местным нравам, они всегда готовы «закусить и выпить» с тем или другим охотником-пассажиром, чтобы скоротать однообразие плавания, и не прочь в ча-

сы вдохновения устроить иногда импровизированную гонку с каким-нибудь пароходом другой компании, к ужасу всех трезвых пассажиров (ведут, собственно говоря, пароход лоцманы; на долю капитана выпадает, главным образом, представительство и выпивка). Все чаще и чаще мелькают на головах чиновничьи фуражки с кокардой, заменяя собой шляпы и котелки. Чем больше вы подвигаетесь, тем более убеждаетесь, что гоголевские персонажи еще не исчезли, и вам предстоит видеть всю их серию; но предпочтительно, однако, объявляются классические Держиморды*, иногда не стесняющиеся даже и в публике показывать при случае «господам земледельцам» свои подчас страшные длани.

Наблюдая в натуре то, о чем у вас давно составилось лишь теоретическое представление, вы начинаете сознавать не одним только умом, но и всем существом своим, что этот маленький «исполнитель», крошечное звено в общей бесконечной цепи, с таким пренебрежением третируемый в столицах, где он мелькает изредка в передних в образе скром-

нейшего, безответнейшего ничтожества, где-нибудь в глухом месте действительно может иногда играть роль какого-то «фатума», от которого иной раз обывателю становится несколько тесно жить на божьем свете. Побеседовав с таким джентльменом в дороге по душе (русский человек любит подобные беседы за закуской), вы скоро сообразите, что от его доброй воли, ума и сообразительности непосредственно иной раз зависят спокойствие и благополучие многих человеческих жизней, и вам станут понятны все эти однообразные «обывательские» рассказы и анекдоты, которыми обыкновенно коротаются долгие дни пароходного плавания, если не составилась винт*.

В ответ на ваше замечание (если вы сделаете таковое), что закон, слава богу, существует не только для столиц, но и для всей империи, и что права жаловаться, по крайней мере, не лишен никто, вы по большей части сперва услышите веселые замечания насчет «кукушки и ястреба»* и затем резоны:

— Бесспорно, местное начальство сменит нерадивого подчиненного, если узнает, что

он не оправдал доверия, но (без этих «но», как известно, у нас не кончается ни один разговор)... но, во-первых, «мужик» не всегда рискнет жаловаться, во-вторых, предположим, что пожаловался, и что жалобе дан ход — откуда, из какой Аркадии вы найдете другого «исполнителя», который бы «честно и благородно» исполнял свои начальственные функции? Обычный контингент — рассадник всех этих «мелких сошек», имеющих непосредственное отношение к мужику — представляет весьма ограниченный выбор (особенно в провинции), смущающий даже нередко самих выбирающих. Увы, и они жалуются в пустое пространство на недостаток людей, которые бы умели исполнить волю пославшего с чувством, с толком, с расстановкой и, получая в год шестьсот рублей, не старались бы прожить втрое.

Эти столь знакомые и надоевшие жалобы на недостаток людей увеличиваются к востоку с таким «crescendo», что вам начинает казаться, что чем дальше, тем реже будет попадаться «человек» и наконец, чего доброго, совсем исчезнет из обращения. Все будто стово-

рились. Везде, начиная со столиц и кончая захолустьями, теперь ищут «человека», ищут и, к удивлению, не всегда находят, словно бы и в самом деле он провалился куда-то в преисподнюю и не подает голоса, несмотря ни на какие призывы передовых статей, выкрикивающих: «объявись, человек!»

Было бы несправедливостью утверждать, что словоохотливый обыватель претендует лишь на недостаток одного какого-нибудь специального «вида» человека. При случае он не менее костит и своего избранника-земца и городского представителя, причем чаще всего жалуется не на учреждения, не на самый принцип, а на его применение. И сейчас же, в подтверждение, расскажет, как такой-то голова в таком-то захолустном городе «слопал» городскую землю, такой-то член «всучил» городу свой развалившийся дом, там «потревожили» банк и пр. и пр., — словом, повторит одну из тех бесчисленных историй, часть которых попадает на газетные столбцы в кратком извлечении: «украли», «разграбили».

С изменением долготы изменяются и типы «купца», «купеческого сына» и героя новей-

шего времени — кулака, являясь все более и более в натуральном виде, без того столично-го соуса, который придает им некоторый лоск и своеобразную повадку. Вы встретите больше «откровенности», большую примитивность в приемах и костюме. И грабят, и безобразничают, и пьянствуют, так сказать, нараспашку, еще не просветясь насчет «святости» капиталистического строя и не всегда вводя в обиход разговора «жалких» слов об «основах» и т. п., а просто «рвут», где можно, и делу конец. «Пассажир» вообще встречается все более и более невзыскательный, покладистый и любопытный, первым делом осведомляющийся: «кто вы такие будете?» и расспрашивающий о Петербурге с некоторым чувством страха и благоговения, что однако не мешает питать к нему и долю недоброжелательства за то, что он слишком много сочиняет бумаг, а не знает совсем провинции и относится к ней свысока. И «дама» попадает не та, какую вы видели до Москвы и первое время за Москвой. Общий вид другой. Лица более рыхлые, румяные, сонные и «уравновешенные». Знакомый вам «нервный» тип русской интел-

лигентной женщины, к которому привык глаз в Петербурге, в дороге попадаетея все реже и реже, заменяясь пестрыми костюмами и разбитными, с претензиями на светскость, манерами провинциальных «чиновниц», цивилизованных купеческих дочек, или ветхозаветными платками молчаливых и степенных купчих «старого обычая», выскочивших как будто на палубу парохода прямо из пьес Островского. Дамские беседы все более и более принимают характер допроса, сплетни и кулинарных откровений, так что, проведя час-другой в разговоре с одной из таких дам, вы не только будете основательно допрошены о ваших родных до четвертого колена, но, в свою очередь, будете посвящены в «подноготную» родного «гнезда» рассказчицы и научитесь готовить соленья и маринады из разных ягод, обилием которых в Сибири вас утешает прекрасный пол. «Урядник» встречается более чумазый и юркости в нем как будто меньше, а «полицейский» на пристанях и совсем с виду богом обиженный. Пассажир-мужик теряет тот столичный, ернический вид, который заметен в возвращающихся-

ся домой питерцах, и за Москвой «серееет». С Нижнего* вы уже встречаетесь с массой переселенцев, направляющихся из разных концов России на привольные земель места далекого края, а из Тюмени плывете, имея на буксире арестантскую баржу, в которой скучена партия человек в семьсот будущих невольных жителей отдаленных и не столь отдаленных мест Сибири, плывущих на каторгу, поселение или в административную ссылку.

«Варнак», как называют ссыльных сибиряки, не оставляет уже вас ни на минуту, как только вы перевалили Урал. О нем говорят ямщики, его презирают и боятся, им наполнены уголовные летописи сибирских газет, вы его видите пробирающимся около большого тракта. И вы невольно запасетесь револьвером где-нибудь в попутном городе, если только не запаслись им раньше. Но только едва ли придется им воспользоваться. Не так страшен «варнак», как о нем говорят и как впоследствии узнает читатель из дальнейших очерков путешествия.

Более или менее основательное знакомство с пыткой езды по убийственным мостовым, нечистоплотностью гостиниц и железнодорожных станций, не особенно приятно ласкающими обоняние ароматами грязных улиц (так называемый путешественниками-иностранцами «русский дух»), и вообще с теми патриархальными картинками нравов и порядков, которые придают известный «*couleur local*»[17] отечественной самобытности, начинается уже с самого «сердца России».

Голова ее — Петербург — недаром «тонкая штучка» в глазах провинции. Он более ловок и хитер, к тому же и более на виду у Европы, перед которой, что там ни говори «патриоты своего отечества», а все же нет-нет да и станет вдруг совестно. И он умеет под наружным лоском чистоты и порядка скрыть от глаз свои недочеты и санитарные непристойности и показать товар лицом, встречая путешественника красивыми вокзалами, Невским проспектом и электрическим освещением, сравнительно чистыми гостиницами и молодежаватыми блюстителями порядка, так что, по сравнению с другими русскими горо-

дами, он кажется как будто и опрятным.

Матушка Москва откровеннее. Она и с казовых своих сторон, обыкновенно кидающихся в глаза приезжему, не блещет чистотой, а принимает вас, так сказать, в халате, словно бы говоря: «Вот тут я вся. Любите меня такую, какова есть, со всею моею грязью и вонью!» И первый «вестник» цивилизации, являющийся встречать русского пассажира, уже не «тот», «дрессированный» и вылощенный, что в Петербурге. И костюм на нем сидит как-то более «по-штатски», и мундирчик грязнее, и сам он не имеет петербургской внушительности и проницательности. Он добродушнее с виду, проще как-то наблюдает за порядком и не так назойливо лезет в глаза. Извозчикам, с жестянками набрасывающимся на пассажиров, точно стая собак, готовая разорвать в клочки, он внушает менее страха и обходится пяточком дешевле, хотя и водворяет между ними порядок теми же упрощенными домашними способами, что и петербургские его коллеги, т. е. поминанием родственников и, в случае безуспешности этого средства, битьем пашками плашмя по всем частям тела улепе-

тывающего извозчика, но предпочтительно однако по «загривку».

Эти первые жанровые картинки, встречаемые путешественником, лишь только он придет в русский город, где водится много извозчиков, отличаются от таковых же в Петербурге, разумеется, большею нестесняемостью и меньшею раздражительностью на нарушителей порядка со стороны его наглядных пропагандистов. На петербургских вокзалах и других местах скопления извозчиков «фараон», наметив чересчур строптивного нарушителя, старается вразумить его без большого скандала, не устраивая публичного зрелища, а по возможности незаметно и озираясь по сторонам, нет ли поблизости начальства, рекомендуя вежливое обхождение, и при этом пользуется, натурально, краткостью момента с возможно большею затратой энергии внушения, а в Москве и далее — ругань и «лупцовка» господ извозчиков отправляется с меньшим стеснением, но зато и с меньшим остервенением и как бы более для соблюдения служебного престижа и порядка «an und für sich»[18], чтобы в самом деле не подумали,

что в провинции ни за чем не смотрят. Зато у московских вокзалов вы услышите самый изысканный подбор и неистоимые вариации крепких слов, а нередко зрелища более продолжительных битв. Никто, разумеется, не удивляется. Всякий привык к этим сценам «самоуправления» и только норовит скорее обратиться из-под оглушительного града непечатных слов.

Когда, на другой день после суток отдыха в «первопрестольной», экипаж из номеров Ечкина*, несколько смело названный артельщиком каретой, подвез нас, после часовой «встряски» по всей Москве, к вокзалу Нижегородской железной дороги* и мы вошли в вокзал, то московское дезабилье выказалось во всей своей непривлекательной наготе.

В небольшом пространстве, где расположены кассы и принимается багаж, была теснота и грязь; стоял удушливый, спертый воздух. Мужики дожидались, кто сидя на полу, кто теснясь у стен, а целые кучки и вне станции. В пассажирской зале, где дожидался пассажир почище, давка была тоже порядочная.

Пассажиры сидели чуть ли не один на дру-

гом. На столах — пыль и грязь; скатерти несомнительной нечистоты, прислуга, хотя и во фраках, но, в видах эстетического чувства, было бы лучше не видеть этих фраков, чтобы не иметь наглядного понятия о количестве содержимого в них и на них сала.

Оказалось, что этот тесный вокзал вдобавок еще ремонтируется (и, по обыкновению, ремонтируется в самый разгар пассажирского движения), и потому «несколько как будто и тесновато», по словам сторожа. Таким образом «пассажиру» остается изнывать в духоте и грязи в ожидании отправления. И он, этот собирательный «пассажир», изнывает с тем мрачным, молчаливым видом, с которым вообще изнывает трезвая русская публика во всех публичных местах, не претендуя ни на кого, кроме лакеев, и как будто не замечая, что с ним, с пассажиром, обходятся совсем по-свински, словно бы привычка к подобному обхождению обратилась у него во вторую натуру.

Разумеется, все эти дорожные беспорядки, вся эта станционная грязь — мелочи не только в сравнении с вечностью, но и в сравнении с другими, менее отвлеченными пред-

ставлениями, но дело в том, что подобные «мелочи», находящиеся под носом и на которые со стороны мало обращают внимания, нередко отравляют не одно только путешествие, но и жизнь вообще. И отношение к этим «мелочам», с другой стороны, именно оттеняет отличительные стороны нашего характера и склада. Ведь совокупность всех этих мелочей и составляет обычную будничную жизнь русского человека.

Билеты взяты. Надо сдавать багаж. Но это, по-видимому, пустячное дело вовсе не так просто, как кажется с первого взгляда. По крайней мере я стоял минут с десять, вотще ожидая очереди, хотя она давно наступила, пока ко мне не подошел привезший нас артельщик из номеров Ечкина, бойкий, расторопный ярославец, не сделал мне нескольких таинственных знаков, подмигивая при этом плутоватым взглядом, и не сообщил конфиденциально, что нужно дать на чаек одному «человечку». Я, разумеется, не только обещал «на чаек», но и поручил бойкому артельщику, хорошо знакомому с местными порядками, дальнейшие хлопоты по сдаче багажа

(так как все сторожа уже были обременены подобными же комиссиями), и минуты через две после интимного шептания артельщика с «человечком» из багажного отделения вещи мои, давно находившиеся на очереди, — не соблюдаемой, конечно, — были взвешены.

— Полностью хотите платить? — опять шепнул мой чичероне деловым тоном.

— А то как же? — удивляюсь я.

— Можно за половину-с... ежели рублик дать. Очень просто-с... Многие так делают.

— Нет, нет! — запротестовал я.

Таинственный обмен взглядов. Выкрикивается настоящий вес и выкрикивающий взглядывает на меня, как на болвана, зря бросающего деньги. Я уплачиваю деньги за багаж, «мзду» за хлопоты и на чаек за то, что «места тяжелые», и удаляюсь в пассажирскую залу отыскивать своих спутников.

Минут через пять тот же самый артельщик подходит ко мне и снова таинственно подмигивает, словно бы предлагая принять участие в какой-то новой конспирации.

— В чем дело?

Он на ухо шепчет насчет «местечка».

— Очень даже много сегодня пассажиров. Как бы не затеснили! А вы с детьми! — поясняет он все тем же конфиденциальным тоном. — Надо-с исхлопотать... Я могу, если угодно.

— Как же исхлопотать?

— А как другие-прочие... Теперь, ежели дать, примерно, двугривенный сторожу у дверей, он пропустит на «платформу», а там уж надо обладать с «обером»... На этом поезде «загребистый» обер едет.

Такие же интимные беседы идут в зале и у других пассажиров с носильщиками. Вы видите, как тихонько выносят они вещи и как минут за пятнадцать до первого звонка, когда еще двери на платформу считаются закрытыми и публику туда официально не пускают, пассажирская зала понемногу пустеет, и «пассажир», более знакомый с местными обычаями, один за другим исчезает, пробираясь с видом конспиратора разными окольными путями на платформу, в сопровождении станционного проводника. Иногда проходят прямо и в дверь. Сторож, добродушный «мальчик без штанов», лет под шестьдесят, оберегающий

двери от публики, обменявшись таинственным знаком с проводником, как-то быстро и ловко приотворяет двери, в которые на глазах у публики прошмыгивает счастливец, и снова так же быстро и ловко запирает их, утешая недовольных из публики объяснением, что он пропустил «генерала», или заверяя, что «это наш служащий», и кстати, по русскому обыкновению, жалуясь на тяжесть своей обязанности сторожить двери, в которые всякому лестно шмыгнуть.

Мой опытный чичероне, удивленный отказом следовать за ним, все-таки убедил меня отдать ему несколько саквояжей и исчез, обещая «исхлопотать» места. Когда раздался первый звонок и пассажиры хлынули на платформу, толпясь в одних дверях, я пробрался вперед и, не рассчитывая на успех ярославца, пошел отыскивать места. Увы! Все вагоны второго класса уже были полны если не людьми, то вещами, и напрасно я носился из вагона в вагон, отыскивая места. Но благодетель-ярославец выручил. Он встретил меня, смущенного, и, объяснив, что давно занял места, с победоносным видом провел меня в от-

дельное некурильное отделение.

— Пожалуйте... как раз шесть мест... насилу исхлопотал... Спасибо оберу. Пустил! — докладывал он все тем же конфиденциальным шепотом.

Тут как-то кстати появляется и сам «обер». Он совсем не столичного вида толстенный, сытый, старенький «обер», в потертом сюртуке и белой фуражке. Он приветливо улыбается с видом радушного хозяина. На круглом выбритом лице его так и сквозят добродушие и плутоватость, того и другого в достаточном количестве, когда он оглядывает меня быстрым взглядом опытного знатока людей и их имущества.

— До Нижнего изволите ехать? — осведомляется он, переглянувшись с чичероне, словно бы спрашивая: тот ли я пассажир, о котором хлопотал ярославец?

— До Нижнего.

— Вам тут будет поспокойнее с семейством в некурильном... Чуть было и его не заняли, да я не пустил! — значительно говорил он, потупляя маленькие глазки, вроде старого «юса» из управы благочиния*.

И затем продолжает не без соболезнования:

— Жаль, раньше не предупредили, я бы вам устроил попросторнее отделеньице. Было одно свободное, да я туда поместил одного господина с женой. Им и здесь бы хорошо. А вот рядом так одна генеральша целое отделение заняла. Начальник станции посадил, — с неудовольствием прибавляет «обер» и уходит, не без галантности приложив два своих жирных пальца к козырьку фуражки.

Мы размещаемся и благодарим судьбу в образе артельщика и за эти места, а словоохотливый ярославец, помогая запихивать чемоданы, не без зависти в голосе продолжает рассказывать о доходах «обера».

— Вы, господин, ему больше рубля не давайте, потому у вас сколько билетов, столько и мест. Правильно, не то что как ежели с двумя билетами да этак с дюжину детей едет. А сакчик куда прикажете? Ему самое лучшее в ноги-с! — хлопотал наш чичероне, обливаясь потом. — Теперь вот он верных полсотни в один конец слизнет.

— Как так?

— Потому здесь не порядки-с, а, можно сказать, много фальши! — возмутился вдруг ярославец, встряхивая головой. — Многие пассажиры без билетов ездят. Два рубля оберу дал и... очень просто-с. Недаром домик купил... Пять тысяч выложил. Очень доходная должность!

Наконец мы распихали вещи по местам, кое-как разместились и распрощались с нашим гением-хранителем. Вскоре поезд двинулся. На первой станции у открытого окна нашего вагона появилась пожилая, претенциозно одетая дама — генеральша-помещица, едущая на лето в свое имение, как поспешила она оповестить меня, восторгаясь моими детками, посылая им воздушные поцелуи и стараясь придать своему, заплывшему жирком, лицу то игриво-умильное выражение, которым обыкновенно стараются (и напрасно) тронуть детей.

Поддействовав на мои родительские чувства, генеральша считает себя вправе дать большую волю приливу праздного любопытства, т. е. спросить: далеко ли я еду, куда именно и зачем еду, и принялась жаловаться

на этот «невозможный курс», помешавший ей ехать за границу, прибавляя к этому, уже по-французски и с серьезным видом, что «вообще нынче как-то все идет не так, как бы следовало». Ее дочь живет в Гиере*. Генеральша провела прошлую зиму у нее в Гиере. Какое прелестное место Гиер! И как недорого относительно можно устроиться в Гиере! Бывали я в Гиере? Она зимой опять поедет в Гиер... А муж ее служит в Москве, но теперь по делам службы в Петербурге. Старший сын в гвардии, а второй...

Свисток мешает дальнейшей ее болтовне, но на следующей станции, когда я выхожу покурить, она досказывает, что второй сын — товарищ прокурора и «хорошо идет», но что «бедному мальчику» слишком много работы со всеми этими... «нынешними делами».

И генеральша вздыхает, не то от жары, не то от сожаления к «бедному мальчику», не то от сокрушения из-за «нынешних дел» и имеет, по-видимому, твердое намерение сделать из меня тоже бедного страдальца, который бы выслушивал ее болтовню, подавая по временам реплики. Но так как я затем ловко из-

бегаю попадаться ей на глаза, избрав другое место для курения, а наши «прелестные детки» тоже остерегаются высовываться из окна во время остановок на бесчисленных маленьких станциях и полустанциях, чтобы не видеть ее умильного выражения и не слышать трогательного сюсюканья, то изнывающая от жары и скуки генеральша во время остановок донимает кондуктора вопросами: когда следующая станция, и отчего нет сельтерской воды?

Наконец и Петушки. Поезд стоит двадцать минут.

Проголодавшаяся публика бросилась из вагонов в буфет, наводнила сразу маленькую комнату пассажирской залы и набросилась на яства. За небольшим столом немногие успевают занять себе место. Пассажиров много, а помещения на вокзалах Нижегородской дороги крошечные, словно бы строители не рассчитывали на пассажиров. Мест не хватает. Теснота и шум. Всякий норовит пробраться к расставленным посредине стола яствам, в надежде раздобыть себе съестного, теснясь и толкая друг друга. Лица принимают ка-

кие-то злые выражения голодных животных. Повар в чистом колпаке, но грязной куртке, едва успевает отпускать кушанья и резать осетрину, накладывая и прищлепывая куски ее грязными руками, нимало не стесняясь возбудить брезгливость и точно сознавая, что всякие церемонии излишни. Два лакея, обливаясь потом и соусом с тарелок и придерживая на ходу куски на тарелках мокрыми пальцами в нитяных перчатках, мечутся, как угорелые кошки, то сюда, то туда, не зная, на чей крик броситься, и не имея никакой физической возможности удовлетворить требованиям всех сидящих за столом. Они совсем ошалели, что помогает им обсчитывать и делать внезапно такие же невинно-удивленные лица, какие делают плохие актрисы в ролях ingénue[19], когда какой-нибудь аккуратный пассажир, подведя итог, находит большую разницу. Через пять минут все блюда опустошены, и повару нечего прищлепывать своими руками. Ни мяса, ни рыбы, ни пирожков! Всего было заготовлено, очевидно, мало, и все было съедено. Шум и ругань на лакеев увеличиваются. Публика, неудовлетворенная в сво-

их утробных потребностях, на этот раз склонна к выражению протеста.

— Это черт знает что такое! Невозможные порядки на этой дороге. Морят голодом!

Кто-то из пассажиров, побойчее и, вероятно, поголоднее, жалуется начальнику станции, смиренному и невозмутимому на вид господину с благообразным лицом, который тихо и как-то необыкновенно приветливо старается успокоить протестанта и вообще прекратить «неприятность».

— Буфетчик никак не рассчитывал, что будет столько пассажиров. Обыкновенно в это время ездит мало народа, и провизию хоть бросай. А время теплое... провизия портится, — говорил станционный дипломат, ловко отводя протестанта к бутербродам.

И протестант и другие неудовлетворенные набрасываются на бутерброды и «душат» водку. Начальник станции тем временем исчезает. Революция подавлена в самом начале.

Лоснящееся, озабоченное толстое лицо брова-буфетчика принимает выражение скорби. «Ах, если бы я знал, что столько народу... Ах, господи!.. Я, слава богу, понимаю и стара-

юсь заслужить перед публикой... Одной аренды триста рублей плачу. Мне же выгода!» — говорит он нежным тенорком, наливая рюмки и едва успевая принимать деньги и сдавать сдачу, несмотря на помощь сухопарой дамы, с зоркостью ястреба озирающей из-за стойки залу и преимущественно лакеев, получающих деньги.

Моя генеральша тоже недовольна. Она только что, жадно причмокивая, обсосала крылышко цыпленка, и глаза ее еще горели плотоядным огоньком, а тут лакей вдруг докладывает, что, кроме бульона, ничего больше нет.

— Как нет?

— Все вышло.

Она свирепеет. Заметив меня, она раздражается негодованием на главное общество российских железных дорог. Но я уклоняюсь от дальнейших излияний и скрываюсь в толпе. Она уже утихла и идет к вагонам в мирном настроении.

Только в курильном вагоне, куда я пересел на ночь, еще долго «скрипел» какой-то высохший и вылизанный господин в модном до-

рожном костюме, обращаясь к плотному своему соседу. Он, вообразите, не мог добиться осетрины! От осетрины дело скоро дошло и до других предметов. Сухопарый изливал уже желчь вообще на «провинцию» и ее бездеятельность. Он ехал из Петербурга, этот геморроидальный департаментский страдалец, ревизовать что-то и кстати попить кумыс, и все доказывал земцу-соседу, что провинция не прониклась идеями Петербурга. Он было начал излагать свои идеи, но излагал их с такою заунывною гладкостью хорошо написанного отношения, что я скоро заснул и проснулся, когда поезд подъезжал к Нижнему.

IV

Хотя кондуктор и объявил, что поезд пришел в Нижний, но вы сделаете большую оплошность, если, поверив ему на слово, вообразите, по выходе из вагона, что в самом деле находитесь в Нижнем. До Нижнего еще далеко. Предстоит свершить целое путешествие: сперва доехать до реки, переправиться на пароходе, снова сесть на извозчика, подняться версты две в гору, и только тогда вы будете в Нижнем. Можно, впрочем, и избе-

жать последней пытки, т. е. не подниматься по скверной дороге в город, а приютиться до отхода парохода в одной из гостиниц, расположенных внизу, под горой. Вы не увидите, правда, города, зато пароходные «конторки» рукой подать, и, вдобавок, из окон гостиницы можете любоваться действительно красивым видом широкой, разлившейся реки — этой «поилицы и кормилицы» биржевых тузов, коммерсантов, пароходчиков, грузовщиков, промышленников, комиссионеров — словом, кого хотите, за исключением лишь тех, кто дал ей такое ласковое прозвище в те давно прошедшие времена, когда еще река действительно поила и кормила бежавший на Волгу народ.

Все эти путевые мытарства, особенно неудобные, если путешественник не догадается оставить тяжелый багаж на станции с тем, чтобы поручить прием его пароходу, на котором придется следовать далее, обязательны по случаю половодья. Река не вошла еще в свои берега, и наплавной мост не наведен. Нижний, щеголяющий миллионными оборотами своей ярмарки, до сих пор обходится без

постоянного моста, хотя и давно говорят о нем, имея на совести немало несчастий с людьми во время переправ в бурную погоду, при ледоходе весной и в заморозки.

Разумеется, не эта причина заставляет представителей ярмарочного купечества мечтать о постоянном мосте, а другая, более могущественная и более им понятная, — интересы торговли. Подозревать их в альтруистических заботах было бы просто несправедливо. Жизнь людская и вообще-то не особенно ценится в нашем отечестве, и здесь, на Волге, можно наглядно убедиться в этом, пройдясь по пристаням и наслушавшись общеизвестных, давно набивших оскомину рассказов о том, в какой грубой форме эксплуатируется ближний и, что еще ужаснее, не всегда понимающий (редко, по крайней мере), как он жалок и беспомощен, и почему именно беспомощен, несмотря на свои классические добродетели: нечеловеческую выносливость и терпение, граничащее подчас с покорностью животного.

Славное майское утро с теплым низовым ветерком действует оживляющим образом

после бессонной ночи. Обгоняя пассажи-
ров-пешеходов с котомками за плечами и во-
зы с кладью, мы проезжаем среди невзрач-
ных построек, мимо запертых лавок и амба-
ров мертвого Кунавина, и минут через два-
дцать достигаем берега, где стоит пароход с
паромом и толпится народ.

У крутого, грязного спуска к парому — зна-
комая, родная картинка: телеги, возы, люди и
лошади смешались в живописном беспоряд-
ке, напоминающем отчасти беспорядок воен-
ного обоза во время паники, при преследова-
нии неприятеля, и на этом небольшом про-
странстве, где несет отчаянную воню не то
от бочек с соленою рыбой, не то от сваленно-
го тут же навоза, сосредоточивается главным
образом тот стон ругани, который характери-
зует оживление бойких русских мест. Ругают
друг друга и по-русски и по-татарски, ругают
лошадей, ругают для красного словца и среди
этой ругани занимают места на пароме. Вдруг
движение остановилось. Взрыв приветствий
по адресу родственников раздался со всех сто-
рон. В чем дело? Оказалось, что упавший на-
бок воз загородил дорогу.

Пока собираются поднять воз и, призывая всеу память родителей, рассуждают о причинах его падения, из ближнего кабака выбегает на место происшествия худенький, маленький, невзрачный блюститель благочиния в затрапезной униформе и с каким-то приливом злости, напоминающим освирепевшую собачонку, набрасывается на возчика и начинает его бить среди равнодушных зрителей этого обычного дарового спектакля, неизменно дающегося на всем протяжении русского царства. Высокий, здоровенный, скуластый татарин, который одним мановением своей геркулесовской руки мог бы отогнать тщедушного бутаря*, как докучливую муху, принимает порцию ударов с наскока и град брани, словно заслуженную им дань, без малейшего протеста и своею покорностью; казалось, только увеличивает прилив распорядительной злости маленького администратора. Ему, очевидно, хочется нанести более чувствительный удар, и он прицеливается, чтобы, по возможности, повредить обывательскую физиономию и пролить кровь, но в это время раздается, в свою очередь, непечатная

брань по его адресу со стороны какого-то подъехавшего господина в фуражке с кокардой, и сцена прекращается. Маленький полисмен начинает водворять порядок, то есть бесцельно суетиться около воза, но, сообразив, вероятно, что пользы от его присутствия нет никакой, исчезает в питейном доме с тою же внезапностью, с какой и появился. Атлет-татарин сконфуженно поднял свалившуюся наземь вислоухую свою шапку и, прежде чем двинуть воз, хлещет по морде свою лошадь при ироническом смехе толпы. Наконец движение возобновилось. Паром быстро заполняется телегами, возами и экипажами.

— Всегда у вас так? — спрашиваю я извозчика.

— Еще хуже бывает! — отвечает возница и не без важности прибавляет: — Провинция! Ну и народ тоже... особенно татарва.

Раздается свисток с парохода. Ругань сосредоточивается теперь на пароме. У парохода редеет толпа. Другой свисток, третий. Пароход отваливает и, прибавив ходу, с тихим шумом колес пересекает реку.

— Каков городок?! Какова Волга-красави-

ца? — раздаётся на мостике, в группе пассажиров, восторженный возглас дамского ватерпруфа*.

И действительно, расположенный на горе, среди куп молодой яркой зелени, сверкающий на солнце золотистыми маковками своих церквей, Нижний с реки живописен и кажется чистым, красивым городком, обещающим издали, по обыкновению отечественных мест, несравненно более того, что дает в действительности.

И хваленая наша Волга, хотя и не красавица, а недурна, особенно теперь, в разливе. Зато она разочарует ожидавшего увидеть бойкую реку, оживленную движением, со снующими пароходами, с массой караванов барок. Ничего этого нет. Река почти пуста и не производит впечатления бойкого речного тракта. Чтобы видеть жизнь на реке в полном проявлении, надо, говорят, быть здесь во время ярмарки или спуститься к Астрахани. Во время ярмарки быть в Нижнем мне не доводилось, но в Астрахани я бывал. Оживление там порядочное, судов много, но это оживление покажется ничтожным тому, кто видал жизнь на

бойких европейских реках. Я уже не говорю про Темзу, эту царицу рек по торговому движению, где на пространстве между Гревзендом и Лондоном пароход все время идет между двумя рядами тесно стоящих судов всевозможных форм и конструкций, среди движущихся на буксирах громадных кораблей и маленьких пароходов, снующих, как бешеные, по всем направлениям, и наконец вступает в непроходимый, как кажется, лес мачт среди внушительного гула напряженной жизни великого города торговли. И это непрерывающееся движение, и этот ряд кораблей без конца подавляют вас: чувствуя, с каким колоссальным размахом идет здесь жизнь, вы испытываете какой-то страх за личность человека, поражаясь в то же время величиим его коллективного труда, и если, глядя на эту картину торговой напряженности, на эти чудовищные доки, ряд пристаней со всевозможными приспособлениями, на эти массы плывущих товаров, вспомнить вдруг о наших бойких местах, то они покажутся вам жалкою пародией, какою-то пустынною Сахарой по сравнению с тем, что вы видите.

Наш пароход пристает к пристани, вернее, к полуразвалившейся барке, обращенной в пристань. Опять такой же узкий и грязный подъем, снова те же сцены толкотни и беспорядка, тот же стон ругани, — словом, все то, что вы только что видели на том берегу, с прибавлением партии нищих, поджидавших сердобольных людей.

Коммерческая гостиница близехонька, тут же на берегу. Отправляемся туда. Грязная лестница с претензиями на щеголеватость, спертый воздух в коридоре и тот же классический коридорный, с грязною салфеткой в руках, который встречал и Павла Ивановича Чичикова*. Зато комнаты получше и почище, есть электрические звонки, но воздух в номерах, надо полагать, не особенно изменился с тех пор. Скорее окна настезь. Струи свежего воздуха врываются в комнаты. Из окон чудный вид на Волгу.

Оказывается, что пароход в Пермь отходит утром, на следующий день, но когда отходят пароходы из Тюмени, об этом в гостинице узнать нельзя, расписаний сибирских рейсов не имеется. Надо ехать к пристаням, там по-

лучить необходимые сведения и кстати запа-
стись билетами на места до Перми.

Пароходные конторки расположены по бе-
регу, одна за другой, в недалеком расстоянии
друг от друга. Подальше от других, словно бы
избегая близкого соседства, стоит конторка
пароходства фирмы Курбатова и Игнатова. Их
пароходы ходят между Нижним и Пермью, и
их же пароходы плавают по сибирским рекам
между Тюменью и Томском. Кроме добро-
вольных туристов, названная фирма, по кон-
тракту с правительством, специально перево-
зит и невольных путешественников в дале-
кие края. Каждый рейс, с открытием навига-
ции, курбатовский пароход ведет за собой
специально приспособленную для узников
большую арестантскую баржу, обыкновенно
битком набитую. В ней, выражаясь казенным
языком, «следует» иногда партия человек в
семьсот. Тут и будущие жильцы каторги, и
поселенцы, и ссыльные, и арестанты из при-
вилегированных, неосторожно попавшие в
объятия прокуроров, герои банков, жрецы хи-
щений и, наконец, так называемые «полити-
ческие», ссылаемые и по суду и администра-

тивным порядком. Последние, равно как и арестанты из привилегированных, отделены от других.

Цена на курбатовских пароходах между Нижним и Пермью значительно ниже цен на легких пассажирских пароходах, совершающих свои рейсы без плавучего «мертвого дома»* сзади, но большинство классных пассажиров, по крайней мере не имеющих особенной причины быть близко от арестантской баржи, предпочитают, разумеется, легкие пароходы. Они и ходят скорей, и не отравляют путешествия созерцанием этого мрачного спутника и подчас тяжелых сцен. Зато при путешествии по сибирским рекам выбора нет. Только курбатовские пароходы содержат более или менее правильное пассажирское сообщение по рекам Западной Сибири, и, следовательно, вам обязательно придется плыть целых десять дней неразлучно с плавучею тюрьмой сзади и видеть иногда близко невольных путешественников во время остановок на некоторых пристанях, когда баржа становится борт о борт с пароходом.

Об этом, впрочем, после, а теперь нам

предстоит попасть на «конторку», против которой остановился извозчик. Это вовсе не легкое дело, и, чтобы свершить его, необходимо вооружиться немалую решительностью, рискуя при этом принять холодную ванну, ради приятных глаз гг. Игнатова и Курбатова. Сходня, положенная от берега к конторке (причем расстояние между ними было довольно значительное по случаю половодья), представляла собой весьма двусмысленный и едва ли где употребляемый, кроме отечества и еще более диких стран, путь сообщения, особенно для человека, не наострившегося ходить по двум узким доскам, перекинутым над рекой на изрядной высоте, без каких бы то ни было перил и вдобавок еще при порывистом ветре, дувшем сбоку.

Я остановился в нерешительности, предпочитая вызвать с конторки саму фирму, в лице гг. Курбатова и Игнатова, и посмотреть, как она пойдет по воздушным мосткам. Увы, голос мой был таким же безнадежно вопиющим, каким бывает голос русского обывателя, подвергнувшегося ночному нападению в провинциальном городке. Никто не откликнулся.

Ни один из представителей фирмы не показывался. Делать было нечего. Сообразив, что в худшем случае мне предстоит лишь риск купанья, я двинулся решительно вперед по изгибавшимся под ногами доскам и благополучно добрался до конторки.

Там никого не было, кроме сладко спавшего сторожа.

— Неужели у вас нет лучше сходни? — спросил я этого единственного представителя пароходной администрации, когда он окончательно проснулся и, присев на лавку, не совсем ласково взирал на виновника своего пробуждения.

— Зачем нет? Есть!

— Так отчего ж вы не кладете ее?

— Кладем, когда нужно.

— А когда нужно?

— Когда пароход отходит, тогда и кладем!

— А в остальные дни можно падать в Волгу?

Этот вопрос приводит сторожа в веселое настроение. Он усмехнулся и, оживляясь, заметил:

— Мы привычные, а из чистой публики

редко-редко кто ходит сюда. Оно точно, что можно выкупаться (и опять на его добродушном лице играет улыбка). Доска положена узкая. Долго ли до греха? Я докладывал Кузьме Митричу, доверенному. «Ничего, — говорит. — Зачем хорошую сходню портить?» Да вам что требуется?

Я объяснил, что требуется, и сторож указал мне пальцем на расписание. Оказалось, что тюменский пароход отходит в ночь с воскресенья на понедельник.

— Отчего такой поздний час отхода?

— А это уж не наше дело. Такое, значит, положение.

— И отсюда ваши пароходы уходят по ночам?

— И отсюда по ночам. Сегодня на рассвете вот побежал пароход с арестантскою баржой. А вы, видно, на нашем пароходе хотели ехать? Так раньше недели опять не побежит! Вы лучше на легком. Завтра... И час не ночной, настоящий час, не то что у нас. Всю ночь вот не спал!

Хотя он раньше и объявил, что не знает, почему курбатовские пароходы отходят в та-

кие таинственные часы, но, разговорившись, не замедлил сообщить свое мнение по этому поводу, а именно что всему «причина арестантская баржа». По ночам удобнее проводить «такого пассажира», народ известно какой. Чего его среди бела дня всем показывать? И для вольного пассажира меньше беспокойства: он и не увидит, как приведут, рассадят, замкнут голубчика и гайда! Опять же и любопытных нет. Кому ночью-то охота глязеть?

— А партия сегодня большущая была. Один генерал в ней был! — значительно прибавил словоохотливый сторож.

— Какой генерал?

— Настоящий, из Питера... Запомню, как звать-то его... В Сибирь засудили! Сказывали, будто за то, что какую-то банку неправильно ограбил. Только, поди, врут. Нешто за это генерала пошлют в Сибирь? Верно, за что-нибудь другое.

Я заметил, что за это иногда посылают.

— Бог его знает! — недоверчиво покачал головой сторож, закуривая папироску. — Сказывали, важный был прежде генерал... Ста-

рый такой, престарелый и одет в хорошую одежду. Ему и каютку отдельную отвели на барже. Сиди, мол, не тужи... и всякой провизии и вина с ним взято. Деньги-то, видно, припрятаны. А следом за ним барышня молодая приехала с нянькой... Дочь евойная. Такая молоденькая, из себя аккуратная, только худа больно. Плачет, бедная, слезки так и текут, как стала проситься, чтобы пустили с ним на барже... Одначе не пустили. Так это она на пароход. Отдельную себе каюту в первом классе взяла с нянькой. Я вещи ей носил. Вещей много, и все фасонистые такие чемоданчики да ящички, и пахнут духом каким-то. Только принес это я последние вещи, она дает мне рубль, а сама так и заливается. «Бог милостив, говорю, сударыня, а сокрушаться грех. Иногда, говорю, и безвинно люди терпят!» Она это взглянула на меня сквозь слезы ласково так, кротко, словно малое дитя, а сама вся дрожит. «Премного, говорит, благодарна за ваши слова, — и ручку протянула, — но только не в пример было бы мне легче, ежели бы папенька безвинно принял крест!» Проворковала это она и ничком в подушку! Только го-

ловка вздрагивает. Тут нянька махнула сердито рукой на меня, чтобы уходил. Потом выбежала за водой и на ходу говорит: «Это ты, сиволапый, барышню так расстроил!» А я что? Пожалел только.

Он помолчал, сделал несколько затяжек и прибавил:

— Нянька после сказывала, что они с барышней-то этой издалека приехали. В чужой земле где-то были по той причине, что у барышни какая-то болезнь в груди. Так, значит, пользовалась теплом. Она, видишь ли, и не знала, что отец-то набедокурил, скрывали от нее, а как узнала, запросилась к отцу. Отец не допустил сперва, чтобы она ехала домой. Так она самовольно. В Москве отца-то и встретила. Да. У него и другие дочки есть, но только не такие жалостливые, как эта, меньшенькая. Нянька сказывала, что на редкость барышня. Отца-то своего, небось, пожалела! — одобрительно заключил сторож.

— Давно вы здесь сторожем?

— Я-то? Второе лето. Да ну их совсем... Уйду! — неожиданно проговорил он с сердцем. — Одна тут неприятность.

— Место худое?

— Место ничего бы, если б не эти проклятые арестанты. Тут, братец ты мой, всего насмотришься. Лучше бы и не видеть. Особенно когда это бабы да дети провожают. Рев идет. Ну и ежели опять об этих самых арестантах подумать...

Он махнул рукой и умолк.

Я собрался уходить. Добрый человек предложил было проводить меня обратно, но я уже с меньшим страхом смотрел на обратное путешествие и отправился один, посоветовав сторожу еще раз доложить «Кузьме Митричу», что если он прикажет положить хорошую сходню, то избавит фирму гг. Курбатова и Игнатова от многих лишних проклятий.

— Им что... не им ходить. Известно, хозяева! — проговорил вслед сторож.

Канторка пермского пароходства, к которой подвез меня извозчик, оказалась легкодоступною. Тут же стоял пароход, готовящийся к рейсу. Его мыли и чистили. Капитан, любезно показывавший мне его, с гостинодворскою бойкостью, обычной на Волге, выхвалял всевозможные удобства своего парохода и,

перечисляя ряд предстоящих наслаждений, старался дать понять, что умеет при случае говорить более или менее высоким слогом.

Мой несколько прозаический вопрос относительно персидского порошка, казалось, озадачил этого щеголяющего обращением, толстого, мякотелого и сияющего здоровьем молодого человека. Он только что, между прочим, «кстати» рассказал, какие все хорошие пассажиры были у него в последнем рейсе (генерал, два исправника и несколько богатых купцов с женами) и как они все даже жалели, что доехали до места назначения, а его вдруг спрашивают о таком низком предмете.

Выражение презрительного изумления и чего-то юпитерского засветилось в маленьких, заплывших глазках капитана, сменив любезную улыбку, не сходявшую до моего злополучного вопроса с его сочных уст, и, вероятно, единственно из снисхождения к невежеству пассажира, вдобавок пассажира, собирающегося занять шесть мест, он не сразил его гордым молчанием, а отвечал не без достоинства оскорбленного величия, что «неприличный зверь», на которого я наме-

каю, анахронизм, по крайней мере у них на пароходах (за пароходы других хозяев он не отвечает), и что пароходная администрация, в заботах о пассажирах, не упускает из вида никаких мелочей и щедро посыпает персидским порошком каюты после каждого рейса.

— Позволительно думать, вы никогда не изволили свершать экскурсий на наших пароходах? — заключил он вопросом.

— Не свершал.

— Это и видно! — проговорил капитан, взглядывая на меня с сожалением, как на несчастного человека, до сих пор не испытавшего такого удовольствия. — Зато теперь увидите! — торжественно закончил он, пропуская меня в одну из семейных кают второго класса.

Грязь, которую я увидел, и вонь, которую обонял, по-видимому, показались чрезмерными даже и почтенному капитану волжского парохода, и он поспешил заметить:

— Каюты еще не совсем приведены в порядок и потому не производят надлежащего впечатления, но к завтрашнему дню вы их не узнаете, могу вас уверить!

Он, конечно, уверил меня, как уверил бы и вас, если бы вы спешили ехать, чтобы попасть к тюменскому пароходу, и потому я послушно отправился в агентство брать билеты до Перми.

— В котором часу отходит пароход?

— В одиннадцать! — отвечал капитан без малейшей запинки и так решительно, что даже агент, выдававший мне билеты, как-то стыдливо опустил глаза. — Насчет, отвалов мы аккуратны-с, как английский хронометр! Другие пароходы запаздывают, но мы не придерживаемся таких правил! — не без игривости прибавил капитан, придерживающийся, как оказалось, дурного правила врать пассажиру по вдохновению и решительно без всякой необходимости. — Ровно в одиннадцать! — повторил капитан, раскланиваясь не без грации.

— Быть может, разве что задержит на полчасака! — проговорил мне вслед стыдливый агент.

Ну, разумеется, «ровно в одиннадцать» наш пароход не только не отправился по назначению, а его даже и не было у пристани.

Он ушел на тот берег за пассажирами с железной дороги, почему-то замешкался (хотя поезд приходит в 8 часов утра) и еще не возвращался. Пассажиры «этого берега», собравшиеся на конторке, терпеливо поджидали парохода; очевидно, более знакомые с волжскими «нравами», они считали подобное запаздывание обычным явлением. Часом раньше, часом позже... не все ли равно?

Вместо одиннадцати пароход наш наконец отвалил в исходе первого. Палуба парохода была набита пассажирами, которым предоставлялось полное право изображать собой сельдей в бочонке. Большинство такого «живого груза» составляли крестьянские семьи со множеством детей. Это все переселенцы, направлявшиеся с разных безземельных мест России на «вольные места» Сибири, преимущественно в южные округа Томской губернии и (незначительная часть) на Амур.

С этого дня мы уже не переставали видеть переселенцев. Проехавши с ними до Перми, видели их целые вагоны по Уральской железной дороге, обгоняли их между Екатеринбургом и Тюменью, плыли вместе девять дней до

Томска и на пути обогнали два парохода с баржами, специально нанятыми переселенцами. Это усиливающееся в последние годы движение в страны ссылки начинается с открытия навигации и заканчивается осенью. Двигаются партии до Тюмени предпочтительно водяным путем.[20]

Труден и скорбен бывает иногда долгий путь этих будущих колонизаторов Сибири, хотя они и пробираются не по каким-нибудь лесным дебрям или непроходимым пустыням, а передвигаются цивилизованным способом — на пароходах и баржах, на глазах у публики, иногда даже на глазах у петербургских сановников, отправляющихся из столицы вносить мир и цивилизацию в классическую страну пустопорожних мест, взятки и бесправия. Прежде чем добраться переселенцам до этого самого «пустопорожнего места», ради которого они отправляются в неведомый край, бросая свои насиженные гнезда, им предстоит перенести немало серьезных невзгод и лишений. Целые толпы народа по нескольку дней стоят лагерем под городами в ожидании парохода, не зная, куда двинуться.

Тиф нередко косит этих людей.

V

Даже и днем, когда человек относительно легче переносит неудобство прессования, теснота помещения палубных пассажиров бросается в глаза и могла бы смутить иностранца, не знающего нашей поговорки, что в тесноте люди живут. На обоих пароходах, на которых довелось мне плыть (на пермском и сибирском), на небольшом пространстве, остающемся свободным между рубкой, вторым классом, складом дров, дымовою трубой, машиной и бортами, было скучено множество людей, в том числе женщин и детей, без всякого соображения о праве пассажира хотя на некоторую свободу движения (без преувеличения люди сидели один на другом) и, разумеется, без каких бы то ни было приспособлений, намекающих на удобства, исключая, впрочем, покрышки на корме, защищающей от дождя, если только он не хлещет наискось. Из пароходов, плавающих по Волге, только на американских пароходах немца Зевеке да на пароходах общества «Кавказ и Меркурий» существуют приличные помещения для палуб-

ных пассажиров, в виде удобных крытых нард для каждого пассажира. На остальных таким пассажирам предоставляются лишь узенькие скамейки по бортам и проходы на палубе. Скамейки обыкновенно занимают пассажиром «почище», а в распоряжении «серых» остаются проходы, разные закоулки и свободные пространства под скамьями. Затем классных пассажиров берут обыкновенно по числу имеющихся на пароходе мест, а палубных, и особенно переселенцев, — «сколько влезет», и так как кулачество пароходчиков ничем не отличается от самого первобытного и варварского, то, по их мнению, «влезть» может народу много. По закону, разумеется, должно быть определено, сколько может «влезать» на каждый пароход для безопасности его плавания и для удобства пассажиров, и такой список, за подписью надлежащих лиц, должен находиться на каждом пароходе, но даются ли такие удостоверения, я не знаю, а что закон не соблюдается пароходчиками и что за этим никто не смотрит — это факт общеизвестный. Берут на пароходы гораздо более, чем «влезет».

Ночью палуба такого парохода представляет воистину жалкий вид. Вповалку, тесными рядами, имея на руках детей, валяются эти «пассажиры» нередко хуже собак, и страшно проходить в это время по палубе, так как в темноте легко наступить на человека и отдавить ручонку спящего ребенка. При ночных остановках для приема дров людям, валяющимся на палубе, приходится убираться, чтобы не быть раздавленными или ушибленными; днем не позволяют загромождать проходов и заставляют убирать подстилки, служащие постелями, проникаясь заботами о «чистоте и порядке», особенно в том случае, когда, на беду, в числе пассажиров находится какая-нибудь «особа». В заботах об удобствах особы, пароходная администрация старается «очистить» возможно большее пространство вокруг рубки первого класса, и тогда палубного пассажира сбивают совсем в невозможную кучу на корму, подальше от «большого света».

Долгий сухопутный путь в санитарном отношении оказывается удобнее переезда на пароходах[21]. Особенно терпят дети и неред-

ко гибнут во время пути. Из числа нескольких подобных фактов, оглашенных в печати (а сколько неоглашенных?), приведу следующий, бывший на пароходе Ермак. На этом пароходе прибыло из Тюмени в Томск 37 семейств переселенцев, у которых было 18 детей, больных скарлатиной, и, кроме того, в пути умерло трое детей[22]. На обоих пароходах, на которых мне пришлось ехать, были больные дети в переселенческих семьях, оставшиеся, разумеется, без всякой помощи, пока кто-то из пассажиров случайно не узнал об этом и не обратил на них внимания случившегося на пароходе врача. Ходил даже слух, будто один ребенок на сибирском пароходе умер от дифтерита и был поспешно похоронен на ближайшей пристани. Пароходная администрация тщательно отрицала этот факт, чтобы не смущать «чистую» публику, тем более, что в числе последней был один важный административный «чин», ехавший на службу в Сибирь с семейством. Вообще говоря, плавание в невозможной тесноте и особенно при неблагоприятной погоде в осеннее время является отличным средством для развития

заразных болезней. Именно эти болезни вместе с болезнями (желудочно-кишечными) от дурного питания господствуют между переселенцами. На такие факты, разумеется, никто не обращает внимания. Да и кому дело до переселенцев? Господа капитаны, внимательные к «хорошему» пассажиру, с которым можно закусить и выпить, и лебезящие перед пассажиром, которого, в качестве «чина», можно трепетать, обращают нуль внимания на остальных и в особенности на безответных «серых», привыкших бояться всякого начальства. Я, по крайней мере, ни разу не видал, чтобы кто-нибудь из пароходного начальства, хотя бы для вида, позаботился взглянуть, как размещаются на ночь палубные пассажиры, спросить об их удобствах и т. п. По-видимому, подобные заботы никогда не приходят никому в голову, и когда один нервный господин, из так называемых «беспокойных пассажиров» (чем дальше от столиц, тем реже встречается этот типичный русский «беспокойный пассажир»), поднял было вопрос о тесноте помещения переселенцев и возмутился, что с них берут за кипяток

по пять копеек, то сияющий и щеголеватый наш капитан даже вытаращил свои маленькие глазки, очевидно, удивленный подобному вмешательству не в свое дело и едва ли понимающий, как это теснота может беспокоить палубного пассажира, да еще сиволапого.

— Помилуйте! Чем им нехорошо? — воскликнул он. — На других пароходах не так теснятся, а у нас довольно даже поместительно. У нас, с позволения сказать, на Волге всякие такие «филантропии» вовсе не известны. Никто из переселенцев не заявляет претензии, и вы только себя напрасно беспокоите пылким «воображением фантазии», — ядовито прибавил капитан.

Заметьте, что все это происходит на пассажирских пароходах (где капитан все-таки «почище»), на глазах у публики, — правда, публики в большинстве случаев равнодушной к подобным фактам и не любящей впутываться в «истории», но среди которой нет-нет да и объявится вдруг «беспокойный пассажир» с сильно развитыми альтруистическими склонностями и подымет «историю». Что же делается на буксирных пароходах и на

баржах, где, кроме переселенцев, никого нет? Там уж вовсе не церемонятся с людьми и нередко обходятся совсем варварски. Так, например, в 1883 году, в конце июня месяца, прибыла в Томск на буксированной пароходом Ерш барже Тура огромная партия переселенцев в 2500 человек, втиснутых в пространство, на котором едва бы могло поместиться 800 человек. Подвергаясь всякого рода притеснениям со стороны пароходовладельца и, главное, терпя недостаток в продовольствии, партия эта привезла с собою 80 детей, больных скарлатиною, корью, дифтеритом и кровавым поносом. На самой барже найдено 5 трупов, и в первые сутки по прибытии умерло 9 детей, а, по рассказам крестьян, во время перехода водой было еще 20 умерших. Изнуренные такими лишениями, люди, очевидно, не могут устроить себе на зиму сносные избы, а, скучиваясь в самых тесных помещениях, по несколько семей вместе, продолжают бедствовать от недостатка пищи и от морозов. Все эти люди составляют таким образом самую благоприятную для развития заразных болезней почву.[23]

Плохо приходится переселенцам и во время стоянок в Тюмени, в ожидании парохода. Несмотря на важность этого перевалочного пункта, там до сих пор не устроено никаких приспособлений, хотя в этом городе и есть переселенческий чиновник. «Со слезами на глазах рассказывают переселенцы об ужасах их пребывания в Тюмени. Недостаточность помещения вызвала страшную скученность. Людей валили, как скот, в сараях, в хлевах, на открытом воздухе. О различии полов никто и не помышлял; о возрастах никому не приходила мысль. В одном сарае поместили до 3000 переселенцев, между которыми была масса больных. И в такой обстановке несчастным приходилось мучиться семнадцать дней, так как пароходы их не брали. Прождав 17 дней и испугавшись поголовной смерти, они возвратили в пароходную контору обратно билеты и двинулись далее на лошадях».[24]

Но мытарства переселенцев не кончаются и тогда, когда они после всех испытаний добираются наконец (случается, христовым именем) до желанной «самары», как называ-

ют они Томскую губернию. Новые и немалые затруднения ждут их на этой «самаре» и особенно в Алтайском горном округе, куда главным образом и стремятся переселенцы.

VI

Мне придется коснуться некоторых подробностей земельного неустройства старожилов Алтайского округа, т. е. бывших горнозаводских крестьян и прежде переселившихся на Алтай беглых из России, чтобы читателю были понятнее причины затруднений, испытываемых на вольных землях переселенцами.[25] Эта безурядица, продолжающаяся до сих пор и сама по себе очень характерная, как иллюстрация картины беспорядка при обилии земли, влияет и на положение переселенцев и на отношения старожилов к ним — отношения, бывающие иногда далеко не мирными. До сих пор там нередки споры из-за земельных границ между новоселами и старожилами и между теми и другими и горным ведомством. В 1881 году из-за неправильных требований лесных чинов были даже некоторые волнения среди алтайских крестьян.

Начало этой безурядицы идет не со вче-

рашнего дня. Крестьянская реформа отозвалась на Алтае освобождением горнозаводских крестьян от обязательного труда и устройством крестьянских учреждений, но положения о земельном устройстве крестьян и о выкупе не применены, ввиду того, что большая часть земель, занятых бывшими заводскими крестьянами и разбросанных на громадной площади, не была точно обмежевана. Некоторые из земель подверглись в 20 годах обмежеванию, но столь неудовлетворительному, планы и пояснения на планах представляли такое несходство с натурой, что подобное межевание не могло служить основанием для земельного устройства бывших горнозаводских крестьян.

На основании этих-то соображений и было постановлено: «Впредь до приведения в известность земель Алтайского горного округа предоставить крестьянам, в оном поселенным, пользование всеми усадебными, пашенными, сенокосными и другими угодьями в тех размерах, в каких ныне угодья сии в их пользовании состоят», и за такое пользование в доход кабинета его величества взыски-

валось по 6 р. оброку с каждой ревизской души.

Закон этот сперва не вызывал никаких недоразумений, хотя неравномерность земельных наделов существовала и тогда. У одних селений земли в пользовании было много, у других мало; в некоторых селениях на душу приходилось свыше 500 десятин земли, в других от 7 до 14, наконец были и такие, где надел колеблется между двумя и семью десятинами, и таким образом 6-ти рублевый оброк ложился неравномерно. Ввиду возможности пользования свободною землею на правах аренды, подобные порядки не имели существенного значения на месте до тех пор, пока земли кабинета его величества не были открыты (в 1865 году) для переселения. С тех пор границы «условного пользования» стали мало-помалу уничтожаться, а между тем никаких мер к более правильному земельному устройству алтайских крестьян не предпринималось, и земли все еще «не приведены в известность». Мало того, закон, предоставлявший алтайским крестьянам неограниченное пользование угодьями в размерах, в каких

они пользовались при обнаружении положения 8 марта 1861 года, был нарушен восстановлением заведомо негодных планов 20–30 годов, на основании которых крестьян обязали пользоваться землей. Отсюда земельные споры о границах, до сих пор не прекратившиеся и разоряющие крестьян. Еще более тягостными являются стеснения тех же крестьян в пользовании лесом. Хотя в 1881 году и было разъяснено, что крестьяне могут пользоваться лесом в пределах своих наделов безусловно, а из заводских дач за пользование более ценным лесом на собственные только надобности обязаны отбывать повинности — опалку заводских дач и тушение лесных пожаров, — тем не менее ни закон, ни разъяснение его не исполнялись лесным ведомством; оно запретило крестьянам пользоваться лесом в пределах их наделов даже по неудовлетворительным планам. Возвращенный и сберегаемый крестьянами лес вдруг оказался под запрещением.

«Все порубки в этих лесах, даже на мелкие хозяйственные поделки, преследовались, лес конфисковался, налагались тройные штрафы,

между тем те же роци, вследствие личных недоразумений между крестьянами и лесною стражей, отдавались на сруб и полнейшее истребление разным подрядчикам заводов. Опалка заводских лесов обращена в доходную статью низших (?) лесных чинов, которые, взимая с крестьян, назначаемых на опалку, откуп от этой тяжелой повинности, проводят опалку небрежно, не доводя таковую до конца. Всем этим весьма просто объясняется то явление, что за время существования здесь лесной стражи, в течение 10 лет, леса Алтайского округа подвергаются ежегодно сильному истреблению от пожаров, и краю грозит полное обезлесение».

Факты подобного рода, сообщаемые в официальном издании (Пам. книжка на 1844 г.), показывают, какая неурядица существует в этих «свободных землях».

Все эти неурядицы вместе с разными стеснительными формальностями по отчислению и перечислению затрудняют устройство переселенцев на новых местах и не дают возможности переселенцам скоро приобрести ту обеспеченность, которой они были лишены

на родине. «Перечисления» продолжаютс я го-
да. «Мы имели случай видеть людей, — гово-
рит г. Ядринцев в своей книге Сибирь, как ко-
лония, — живущих по 12 лет и более по пас-
портам без перечисления, точно так же, как и
людей, лет по 11 хлопчущих о перечислении
и находящихся в переходном состоянии. Пе-
реселенец как бы не принадлежит ни тому,
ни другому обществу, но он несет и податную
тяжесть и повинность на новом месте, нако-
нец он несет расходы по перечислению». С
этою долгою, обставленною разными прово-
лочками процедурой перечисления получа-
ется иногда, — по словам того же автора, —
«комбинация самого сложного и запутанного
свойства, которую не может ни разобрать
канцелярия, ни распутать сама жизнь». У г.
Ядринцева был, например, в руках документ,
в котором «значится перечисленных в Си-
бирь 25 душ крестьян; взыскание на них рав-
няется 2097 р. 33 к. Из этих 25 человек только
8 оказались в живых, а из них только один,
имеющий имущество, которое и подлежало
продаже».

Сколько таких мытарствующих, «не при-

численных» по разным причинам переселенцев, об этом едва ли имеются точные сведения. По сделанному в 1880 году учету переселенцев в Томской губернии, — учету едва ли точному (статистика исправников — известно, какая статистика!), только в двух округах названной губернии (Бийском и Барнаульском) оказалось 3972 семейства таких непричисленных крестьян, которых существование находится в полной зависимости от снисходительности, разумеется, небескорыстной, сельских и административных властей, могущих всегда придрататься за просрочку паспортов или бесписьменность. Нечего и прибавлять, как отзывается на таких переселенцах это долгое переходное состояние.

Что же касается рассказов о «быстро развивающихся», «цветущих» переселенческих колониях, вырастающих будто бы со скоростью грибов, то все подобные рассказы, по словам местных наблюдателей, — не более, как гиперболические украшения вроде «винограда» на Амуре.

Тем не менее переселенцы идут и все более идут на «самару», и если и не образуют

цветущих колоний, хотя бы похожих на немецкие в Новороссийском крае, то все-таки в конце концов устраиваются экономически лучше, чем дома. По крайней мере, благодаря обилию земли, лугов и лесу, — обилию, о котором они давно забыли на родине, — можно жить без нужды, не рискуя шкурой за правильное поступление недоимок. Это-то сравнение здешнего обилия земли со скудостью ее на родине и вызывает нередко восторженные отзывы о жизни на вольных землях, особенно со стороны более ранних переселенцев. Но в последнее время устройство переселенцев в нашей «Америке» делается более затруднительным, если они не несут с собой денежного запаса, что бывает, разумеется, редко. Трудности эти, облегчить которые ничего бы не стоило при некотором, более внимательном отношении к переселенческому вопросу со стороны государства, увеличиваются по мере большего притока и обуславливаются, между прочим, еще и тем обстоятельством, что движение направляется преимущественно на Алтай и предпочтительно в один излюбленный переселенцами Бийский

округ, где уже и теперь начинает чувствоваться теснота, вследствие бестолкового расселения новоселов в названном округе. По словам одного наблюдателя, посетившего многие алтайские деревни в прошлом году, уже и теперь там слышны жалобы, как бы «не сделалось тесно, как в России», и эта-то теснота является нередким источником недопониманий между старожилами и новоселами.[26]

Прежде, когда переселения на «самару» не принимали больших размеров, переселенцам на Алтай было гораздо легче устраиваться; старожилы охотнее принимали их в свои общества и брали за приемные приговоры меньшую плату, чем теперь, когда плата за прием колеблется между 50 и 60 рублями с переселенческой семьи, не считая других расходов, обязательных для новоселов.[27] Теперь же некоторые общества и совсем отказывают в приеме новоселов, рассчитывая, что в будущем самим старожилам понадобятся свободные теперь земли. Немалую роль играет и неопределенность земельного устройства алтайских крестьян, заставляя их боять-

ся за будущее и косо посматривать на пришельцев, занимающих земли. Границы участков, отводимых вновь образуемым поселениям переселенцев, нередко возбуждают споры, и причина их главным образом кроется в отсутствии правильного обмежевания участков.[28]

Понятно, что расходы[29], необходимые для приписки к какому-нибудь обществу и для обзаведения, оказываются в первое время под силу лишь немногим переселенцам. Случается, что приезжают на «самару» и такие, что имеют даже тысячу рублей про запас, но таких «тысячников» капля в море. Громадное большинство является на место ни с чем или с самым ничтожным запасом. Таким переселенцам, прежде чем сесть на хозяйство, приходится нередко батрачить у местных крестьян, причем труд их оплачивается хлебом, лесом на постройку и частью деньгами. Нельзя сказать, судя по рассказам наблюдателей, чтобы старожилы по-братски рассчитывались с «Россией». Они не прочь закабалить при случае рабочего, и тогда переселенцу приходится жутко. Имеющие какую-нибудь

возможность заняться по прибытии на место земельным трудом сразу же принимаются за дело, не стесняясь захватывать свободные земли, принадлежащие старожилам, что вызывает со стороны последних жалобы. В свою очередь, и старожилы теснят новоселов. Пустят сперва переселенцев к себе, продадут им дома, уверяя, что обзаведшийся домом легче получит приемный приговор, и затем отказывают в приеме и выживают новоселов. Дело доходит до серьезных столкновений. Переселенцы, рассчитывавшие на «перечисление» и затратившие на покупку домов последние деньги, добровольно не уходят, несмотря на приговоры о выдворении. В одной из волостей, где старожилы сперва было позволили поселиться новоселам, но, увидав значительный их наплыв, испугались «тесноты», был постановлен приговор просить исправника об удалении новоселов «ввиду упадка сельского благосостояния», и исправник предписал волостному старшине «не допускать заниматься хлебопашеством всех непричисленных переселенцев и, назначив им сроки для приискания другого места жительства, вы-

дворить».

Были случаи, когда обострившиеся отношения доходили до того, что старожилы, желая выжить новоселов, ломали у последних печи и сносили дома. Вообще отношения между теми и другими ухудшаются по мере наплыва переселенцев, и именно в тех местах, где, как, например, в некоторых селениях Бийского округа, является страх за недостаток земли в будущем, — страх, вызванный в старожилах рассказами же новоселов о тесноте в России и о высокой арендной цене на землю. Местный наблюдатель, бывший в селе, где происходило столкновение старожилов с новоселами, и посетивший несколько алтайских деревень, рассказывал, что из бесед со стариками и из опросов многих переселенцев он вывел заключение, что вообще старожилы не прочь эксплуатировать и теснить переселенцев. Жалобы друг на друга — обыкновенная вещь. Старожилы говорят, что «российские» обманно водворяются в деревнях, самовольно выпахивают лучшие места, занимают уголья, пользуются лесом и т. п., а переселенцы, в свою очередь, утверждают, что

они выпаживают «вольные» земли, втуне лежащие, что лес божий, что его, слава богу, много, не то что в России, и жалуются на старожилов, что те их «не признают»: обещали принять в общество, пили водку на их счет, продали за высокую цену дома, а теперь гонят.

Основываться сразу на новых участках и таким образом избежать расходов по приемным приговорам и столкновений с старожилами не всегда возможно для обнищавших в дороге переселенцев, особенно таких, которые переселяются малыми партиями и идут по зову родственников или земляков в определенные селения. Да и вообще-то русский человек любит жаться к людям. Переселяющиеся большими партиями, в несколько десятков семейств, нередко прямо с дороги садятся на участки, занятые ходоками, и опять-таки вследствие неимения средств не скоро еще входят в силу. Тот же самый исследователь, со слов которого я уже привел некоторые факты, рассказывал, что он видел новые поселки, где переселенцы уже поселились три года. В одном из таких поселков люди все

еще жили в землянках, полных сырости. Зайдя в одну из таких землянок, он нашел большую бабу и детей в рубищах. Из рассказов нескольких домохозяев видно было, что они не особенно довольны «самарой»; жаловались, что не могут никак сбиться с постройкой и наладить хозяйство; жаловались, что земля неважная, что лес и вода далеко; вообще положение этих пионеров производило тяжелое впечатление.

Ко всем этим неурядицам следует еще прибавить и жалобы на то, что вновь назначенные в Алтайском горном округе для заселения участки не особенно удобны для земледелия. Расположенные в горах и пригодные для скотоводства, они пугают обитателей равнин, и переселенцы избегают этих мест, предпочитая устраиваться на более ровных местах, хотя бы и при относительной тесноте. Об отводе «вольных земель» на Амуре и около Владивостока идут от возвращающихся переселенцев еще более безотрадные слухи; места, указываемые чиновниками, заведующими переселенческим делом, оказываются никуда не годными, и нередко амурские переселенцы,

после долгих мытарств, возвращаются вконец обнищавшими назад, горько сетуя, что их обманули землями, и жалуясь на равнодушные амурских переселенческих агентов.

VII

Даже и из этих неполных и отрывочных замечаний нетрудно вывести заключение о безотрадном положении переселенческого дела в настоящем его виде. Между тем дело это, помимо простой человеческой справедливости, требует самого серьезного внимания. Ведь бегут от вопиющей нужды, вследствие малоземелья, тысячи человек, бежало бы и больше, если бы были средства для дороги. Необходима серьезная помощь со стороны государства, не желающего плодить нищету и разводить разные «дела», доставляя бесцельные занятия производителям этих «дел», наполняя тюрьмы за воровство и прибегая к традиционной порке для получения недоимок, получить которые, очевидно, невозможно. Необходимо более правильное и, главное, более просвещенное урегулирование крестьянских переселений, причем выбор людей, посылаемых для наблюдения за ними,

должен быть очень тщателен. Ведь от этих людей зависит нередко буквально участь людей! Боже сохрани, разумеется, чтобы переселенческое дело попало в руки чиновников, то есть чтобы расселения происходили по их указанию. Прежние опыты принудительной колонизации (особенно при заселении Амура), кажется, убедили, к каким нелепостям и бедам ведет подобная колонизация. Надо, конечно, предоставить полную свободу самим переселенцам селиться, где они хотят, выбирать места, какие они знают (лучше самих заинтересованных никто не распорядится), но необходимо заранее давать верные сведения о свободных землях, об условиях пользования ими и т. п. и сообщать их в земства*. Вообще не мешало бы желающим переселиться дать возможность хотя несколько познакомиться с тем, что ожидает их впереди: со стоимостью пути, с расходами по перечислению, — словом, с теми нехитрыми сведениями, знание которых значительно облегчит движение переселенцев. В то же время необходимо устроить на всех важных пунктах переселенческие станции, где бы переселенцы могли найти хо-

тя какой-нибудь призор, и, что главное всего, серьезно помочь нуждающимся переселенцам при уходе из дома и при устройстве на новых местах. Такая помощь, хотя бы в виде займа, с раскладкою на несколько лет, конечно, не ляжет бременем на государство, если бы даже и потребовала значительных сумм, так как подобный расход действительно производительный. Если бы для наших переселенцев, гонимых нуждой во всех ее видах, была сделана хотя десятая доля того, что делало правительство для немецких колонистов при заселении наших южных окраин, то не было бы этих раздирающих душу картин, которые можно видеть на пристанях, в городах, по сибирским дорогам, и не было бы всех тех затруднений, которые испытывают переселенцы при устройстве.

То, что сделано в последнее время для облегчения переселенцев, представляется робкою попыткой, имеющей характер филантропической меры, причем эта филантропия проявляется в очень умеренных дозах. В некоторых местностях, через которые направляется переселенческое движение, есть чиновни-

ки, на обязанности которых лежит учет переселенцев, содействие им и в некоторых случаях оказание денежной помощи, но деньги, отпускаемые на этот предмет, так ничтожны, что помощь эта или, вернее, милостыня (в большинстве случаев заимообразная), оказываемая самой вопиющей переселенческой нищете, конечно, не приносит переселенцам существенной пользы.

Я не знаю, какова деятельность, например, тюменской переселенческой станции, где находится чиновник, наблюдающий за переселением, — знаю только, что до настоящего времени в этом весьма сложном перевалочном пункте переселенческого движения не устроено даже какого-нибудь барака, и в этом городе возможны были возмутительные сцены беспризорности людей, подобные сценам, описанным выше; но деятельность томской переселенческой станции, где с лета 1884 года находится чиновник, командированный министерством внутренних дел для заведования переселенческим делом, заключается в следующем. С лета 1885 года, вблизи пароходной пристани, в пяти верстах от города, устроены

два барака с большим огороженным пространством для размещения телег и лошадей. Бараки, правда, небольшие и при скоплении больших партий далеко не вмещающие всех пристающих, но переселенцы, разумеется, рады и такому сюрпризу, находя пристанище и избавляясь от платы за квартиры в городе, где им приходится останавливаться, иногда на целую неделю, для закупки лошадей и телег, чтобы следовать далее. При бараках в течение всего лета находились доктор и фельдшер, осматривавшие каждую партию по их прибытии и подававшие заболевшим медицинскую помощь.[30] Больные, преимущественно дети, помещаются вместе с здоровыми, но для заразных больных при бараках есть отдельное помещение на 18 человек. Затем, денежные пособия, выданные из сумм, находившихся в распоряжении заведующего переселенческим делом чиновника, представляются в таком микроскопическом размере.

Из числа 5589 человек переселенцев[31] (в том числе 149 ходоков), составляющих 992 семьи, получили пособие: заимообразно 111 се-

мей — 1280 рублей и безвозвратно 72 семьи — 280 руб., а всего 183 семьи получили 1560 руб., что средним числом составит 8 руб. 53 коп. на семью.

О деятельности лиц, заведующих переселенческим делом в Сибири на местах расселения, точных сведений я не имею. Знаю только, что при горном управлении Алтайского округа находится отдельное управление земельною частью с несколькими чиновниками. Сколько слышно, деятельность их во многом парализуется горным управлением, и хаотическое состояние «временного» земельного устройства на Алтае, разумеется, не может быть поставлено им на счет. Но «теснота», например, в Бийском округе, происходящая вследствие того столкновения старожилов с новоселами и наконец не всегда удачный выбор участков, предназначенных к заселению, — все это прямо касается их. Насколько сведущи гг. чиновники в сельском хозяйстве и насколько знакомы с местными условиями того края, в котором они должны «содействовать» переселенцам, сказать не могу, но, судя по сведениям о «местных условиях», сообщае-

мым ими в имеющемся у меня в руках напечатанном Списке вновь образованным селениям и свободным участкам, предназначенным к заселению в горном Алтайском округе, — списке, подписанном г. начальником округа, компетентность составителей Списка в сельскохозяйственных описаниях очень слаба. Описания участков не дают даже и приблизительного представления о том, что найдет переселенец, лаконичны до смешного и сильно отзываются канцелярскою отпиской.[32]

Эта язва «канцелярщины», без толку причиняющая людям немало страданий, особенно, как слышно, свирепствует на Амуре. На «неудовлетворительность» тамошних переселенческих порядков жалуются возвращающиеся переселенцы и указывает местная печать. По признанию одного лица, близко стоявшего к амурскому переселенческому управлению, существующему, кстати заметить, уже несколько лет, «во все время существования управления в его составе не было ни одного лица, знакомого с агрономией, так что вся деятельность управления сводилась к

канцелярской переписке и ко всякого рода „бумажной деятельности“» [33].

Но, как ни затрудняют переселенцев лица, обязанные им содействовать, каким испытаниям ни подвергаются переселенцы в пути и каких только мытарств ни предстоит им на новых землях, но дома так сильно «утеснение», что партия за партией идут в далекие страны, идут часто христовым именем, эти искатели нового счастья, старающиеся разрешить трудную проблему: где же наконец хорошо жить русскому человеку?

Переселенцы, ехавшие с нами до Перми, шли из разных мест. Были тут и тамбовцы (их больше других), и воронежцы, и куряне, были и вятские, две семьи тронулись с тихого Дона. На вопросы о причинах переселения — одни и те же стереотипные ответы: малоземелье, высокая арендная плата, невозможность справиться с «подаяниями». Вятчане шли из-за лесу, «лесом утесняли». С Дона шли не казаки, а приписные, — теснили земель, и кроме того соблазнило письмо сродственников: разбогатели на «самаре» и зовут. Большинство переселенцев шло на «Самару» и немногие на

Амур. Народ все крепкий, здоровый, еще не утомленный долгим путем. Мужчины хотя и выражали сожаление, что пришлось покинуть дедовские могилки (особенно старики жаловались), но вообще относились к будущему с надеждой, «только бы добраться до самары», но бабы, по обыкновению, сомневались, и мне случалось слышать — особенно часто на сибирском пароходе — как бабы при всяком случае путевых затруднений упрекали мужиков. «То ли еще будет!» — жалобно вздыхали многие из них, подбавляя яду горечи в сердца мужчин, и без того сумрачных, если путевые расходы оказывались более предположенных. Вообще женский элемент, сколько я заметил, с большим недоверием взирал на будущее, рисуя его в мрачном виде, и с большим сокрушением вспоминал об оставленных гнездах, стараясь, в противоположность мужикам, представить прошлое житье дома в более розовых красках. Особенно безотрадно вздыхали старухи, не смея, однако, очень жаловаться в присутствии большаков.

Во время пути на пароходе из Тюмени до

Томска мне пришлось быть даже свидетелем, как из-за одной бабы чуть было не произошел в одной семье настоящий семейный бунт. Семья эта состояла из отца с женой и двух сыновей с женами-молодухами. Направлялись они из Мглинского уезда, Черниг. губ., под Бийск (куда именно — и сами точно не знали) по вызову земляков, переселившихся на «самару» три года тому назад. Глава семьи, серьезный, сосредоточенный мужик, стеснявшийся в дорожных расходах и харчившийся крайне скупно, в разговоре как-то обронил, что запаса у них мало, разве что добратся до места, и спрашивал: «поможет ли казна?» Я заметил, что при словах старика младшая его невестка, молодая, пригожая, бойкая баба, ядовито усмехнулась и незаметно подтолкнула локтем мужа, смиренного на вид молодого мужика, с добрыми большими глазами, однако ничего не сказала и продолжала слушать вместе с другими главу семьи. Спустя несколько времени, подойдя к этой семье в отсутствие старика, я было спросил старшего сына, доволен ли он переселением, как вдруг молодая бабенка заговорила. Она подсмеивалась над ду-

раками, которых «сбивают старики», и с какою-то порывистостью доказывала, что лучше вернуться, пока еще не поздно. «И без того натерпелись дорогой, а что еще будет — про то господь знает...» Слова ее, по-видимому, находили полное одобрение в женских членах семьи. Старуха одобрительно покачивала головой, по временам пугливо озираясь, старшая невестка поддакивала, а оба брата молчали, причем старший взглядывал с таким видом, словно бы просил снисхождения за глупую бабу.

Молодая баба говорила с торопливою страстностью долго сдерживаемого негодования и во время речи то и дело вскидывала на мужа вызывающий взгляд, как будто ожидая от него одобрения и поддержки. Ее красивое лицо оживилось; в темных глазах искрился недобрый огонек. Но муж молчал. Видимо, смущенный ее речами, он все беспокойно поглядывал на стоявшую впереди, у дымовой трубы, кучку мужиков, среди которой был отец.

— Ну, будет, будет тебе! — вдруг мягко остановил он жену, указывая глазами на под-

ходившего главу семьи.

Молодуха взглянула на мужа взглядом, полным презрения, как-то брезгливо повела плечами, однако тотчас же смолкла.

Я отошел в сторону, не переставая наблюдать за этою семьей. Я видел, каким строгим, пытливым взором обвел старик младшую невестку и сыновей. Молча уселся он на место и, несколько спустя, сообщил, обращаясь к старшему сыну, что сибирский мужик сейчас рассказывал, будто в Томском наверное от казны дают пособие.

— Сказывали люди, будто и в Тюмени дают, а ничего не дали! — вдруг проговорила насмешливым тоном неугомонная баба.

Я ждал, что будет сцена, что патриарх немедленно оборвет эту протестантку. Но старик только повел на нее глазами и, будто не обращая никакого внимания на ее слова, продолжал:

— И хвалит же места! Благодать, говорит, господня, а не места, на самаре! Не то что у нас.

Все слушали патриарха молча. Старик, видно, ждал, что хоть старший сын обмолвит-

ся сочувственным словом, но и он не промолвил в ответ ни звука. Ясно было, что все семейство шло на «самару» лишь по воле большака. Еще суровее и подозрительнее взглянул старик на невестку и замолчал.

Ночью, осторожно проходя среди тесных рядов спящих переселенцев, я совершенно неожиданно увидел эту самую бабу с мужем, далеко от места, занимаемого их семьей. Оба они стояли у входного люка в каюту второго класса и вели какую-то таинственную беседу. Говорила, впрочем, больше она. Среди ночной тишины, прерываемой мерным стуком паровой машины, доносился ее тихий голос. То нежные до ласки, то гневные до угрозы ноты низким шепотом разносились в воздухе. Временами она возвышала голос, и обидная, едкая насмешка над тряпичностью мужа вылетала из ее груди. Из обрывков долетавшего разговора я понял, что баба уговаривала мужа немедленно вернуться в Россию, с ближайшей пристани. Она убеждала, грозила. Можно потребовать свою часть у «старого дьявола». И вслед за этим послышался мягкий, нежный шепот. Ласковыми словами ма-

нила она мужа домой. До моего слуха долетели какие-то уверения «любить по-хорошему».

Вероятно, «заговорщики» заметили меня. Разговор внезапно оборвался. Обе фигуры оставили укромное место. Захваченные на открытой части палубы полосой бледного света луны, они, словно тени, скрылись в темноте, за трубой, и я спустился в каюту.

На утро, проходя мимо черниговцев, я понял, что в этой семье произошла крупная семейная ссора. Старуха, старшая невестка и оба сына сидели смущенные, покорно притихшие, словно только что наказанные и чувствующие свою вину дети. Зато на лицах старика и молодухи еще не скрылись следы сильной душевной бури. Старик был сосредоточенно мрачен и гневен, а энергичное лицо молодой женщины дышало вызовом и затаенною злобой существа, покоренного, но не побежденного грубою силой. Глаза ее были красны от слез, но вздрагивающие тонкие губы по-прежнему складывались в язвительную усмешку. Видно было, что эта баба не из покорных, чувствует свою силу и еще задаст немало задач этой семье.

Среди соседей-переселенцев шли разговоры о бывшем рано утром скандале. «Старик поучил и сыновей и невестку. И поделом. Вздумали бунтовать. Делиться вдруг на дороге захотели — один срам. И все из-за этой шельмы-бабы...»

— Мало еще он ее, бесстыжую, уму-разуму учил! — задорно рассказывал смиренный такой на вид, мозглявый мужичонка. — Я бы ее, шельму, не так выучил... Я бы в кису ей наклал, подлой... Не бунтуй...

— О-о-ох, господи Иисусе! — вздохнула старушонка. — Виданное ли это дело бабе да бунтовать?

— То-то и есть. До места не дошли, а она... эко дело выдумала... ворочаться назад. И мужиков молодых смутьянила!..

Переселенцы, бывшие с нами на волжском пароходе, имели самые смутные представления об обетованной «самаре». Никто и не подозревал о предстоящих затруднениях и мытарствах на новых местах. У всех на языке была надежда на вольную землю и на господ бога. «Господь не оставит!» Многие не знали,

далеко ли еще ехать и где придется поселиться. О существовании переселенческих чиновников никто не слышал, о переселенческой станции в Томске — тоже. О пособии от казны между переселенцами ходил смутный говор. Некоторые говорили, что, «слышно, дают» желающим, и даже цифра определялась — от двух до пяти рублей, — но где именно получают деньги и куда обратиться за ними, никто не знал.

Возвращавшийся в Сибирь, после полугодовой побывки на родине, смысленный, бывалый белорус, мужик лет под пятьдесят, с умным, добрым лицом, державший себя с чувством собственного достоинства и с тою независимостью, которая составляет отличительную черту сибирского мужика, не знавшего крепостного права, сомневался насчет выдачи пособия. По его мнению, едва ли казна станет выдавать, а если и в самом деле выдает, то «чиновники» попридержат. Вообще о сибирских чиновниках он был крайне невысокого мнения и не без юмора рассказывал разные истории специально сибирского характера собравшемуся вокруг него кружку пе-

реселенцев.

Этот белорус прожил лет двадцать в Сибири, в Тобольской губернии. Он из поселенцев, но недавно получил право выезда в Россию. Ездил он на родину вместе с женой, чтобы привезти к себе старушку-мать. Заработав на возвратный путь, он возвращался теперь снова в Тобольскую губернию, где живет в деревне среди коренных сибиряков. Жить в Сибири, по его словам, можно, насчет земли и леса вольно, но зато теснит начальство. «Ты с ним держи ухо востро — все деньги вымотает, если есть!» И коренной сибиряк, по его словам, недолюбливает пришлого, особенно поселенца. «Народ, прямо сказать, грубый! Ну, да и то сказать, и между россейскими немало разных „жиганов“ да „бакланов“... Сибиряк и боится!» — прибавил белорус.

Жадно ловят каждое слово о «Самаре» переселенцы. И когда, в первый же вечер нашего плавания, один чахоточный студент-сибиряк, ехавший из Москвы лечиться на кумыс, стал рассказывать соседу своему на палубе, переселенцу на Алтай, о тамошних местных условиях, то не прошло и пяти минут, как во-

круг него собралась толпа, слушавшая в благоговейном внимании интересную речь студента. Он сам бывал на Алтае и вообще интересовался переселенческим делом. От него ехавшие с нами переселенцы впервые узнали о существовании переселенческих чиновников, о пристанище в Томске, о выдаче пособий, о стоимости дальнейшей дороги, о том, как перечисляться, короче говоря, благодаря студенту они совершенно случайно получили те простые, но важные для них сведения, которые хотя несколько облегчат бесцельные мытарства многих десятков людей.

Долго не расходились слушатели. Одни сменялись другими. Больному, бледному, исхудалому рассказчику приходилось несколько раз повторять одно и то же и отвечать на разные вопросы. Но он, казалось, не знал усталости и с готовностью делился тем, что знал. Уже поздно вечером разошлась последняя аудитория, поблагодарив рассказчика с трогательной простотой и преувеличенной признательностью людей, не привыкших пользоваться подобным вниманием со стороны «господ». И надо было видеть, как жалели

многие, узнав на следующее утро, что этого «доброего господина» уже нет на пароходе. Он вышел в Казани.

VIII

Проплыть по нашим рекам недельку-другую и не пощупать бока другого парохода, не напороться «по нечаянности» на встречную баржу, не застрять где-нибудь на шесть, а то и на целых двенадцать часов по случаю «маленького повреждения» в машине, одним словом, обойтись без приключений — такая же диковина, как испытать их, свершая в наши дни даже океанские плаванья.

«Почему?» — спросит, быть может, мало путешествовавший читатель.

Да главным образом потому, что у нас именно не вмешиваются там, где следовало бы вмешиваться, а, напротив, зачастую стараются регулировать то, что не поддается регулированию. Среди наших речных капитанов вы можете встретить представителей всевозможных профессий, чиновника, юриста, гусара, купца, дьячка[34] и крайне редко — человека, знакомого с ремеслом и умеющего най-

тись в исключительных обстоятельствах, всегда возможных хотя бы и в плавании по рекам.

Эта бесшабашная отвага русского человека браться с легким сердцем за дело, о котором не имеет ни малейшего понятия, — явление слишком известное и часто встречающееся во всех сферах отечественной деятельности. Недаром же у нас пошла нынче в ход теория «здорового смысла» — теория, старающаяся подорвать значение специального образования, и если нас не удивляет, что иногда по воле провидения (или ближайшего начальства) лихой кавалерист, вместо того, чтобы культивировать жеребцов, культивирует юношество, педагог улучшает конскую породу, мореплаватель свирепствует на сухом пути, а какой-нибудь штык-юнкер, не изучивший никакого права, кроме права давать в зубы, заседает подчас в суде, — то отчего же, скажите на милость, дьячку или лабазнику не водить пароходов?

На этот раз приключение не заставило себя долго ждать.

Часа через четыре по выходе из Нижнего,

среди бела дня, на широком и свободном от мелей плесе, где места было достаточно для прохода десятка пароходов в ряд и где, казалось, немислимо было и подумать о возможности какого-нибудь приключения, — шедший невдалеке от нас вверх пароход ухитрился-таки устроить нам неприятность именно в то время, когда ее совсем не ожидали.

Пьяны ли были на соседнем пароходе, шедшем параллельно с нами, капитан и лоцманы, нарочно ли было устроено столкновение (говорят, это бывает) — бог весть, но только дело в том, что наш «спутник» без всякой основательной причины вдруг стал уклоняться от своего курса, подаваясь влево. Молодой помощник капитана, стоявший на площадке нашего парохода, слишком долго недоумевал непонятным маневрам соседа, и когда наконец сообразил, что при подобном изменении курса столкновение неминуемо, и приказал лоцманам взять влево, уже было поздно. Нос соседа был в нескольких аршинах от борта нашего парохода и приближался к нам. Испуганные пассажиры, бывшие на корме, не дожидаясь распоряжения растерявшегося по-

мощника (капитан спал, чтобы бодрствовать ночью), бросились на другую сторону, и вслед за тем, среди внезапно наступившей на обоих пароходах тишины, раздался треск удара.

По счастью, на таранившем нас пароходе догадались застопорить машину (в противном случае, при ударе с разбега, сосед легко бы мог прорезать нам бок и пустить нас ко дну), и удар, полученный нами, был довольно слабый. Вслед за тем пароходы разошлись, разменявшись, в лице своих представителей, приветствиями без всякого соображения, что на палубе находились дамы.

Все дело ограничилось поломкой нескольких досок борта да испугом пассажиров, особенно тех, которые во время этого импровизированного abordaja находились в кормовых каютах. Внезапно раздавшийся удар, сопровождавшийся треском выбитых стекол, произвел настоящую панику между женщинами и детьми.

Но среди большинства пассажиров это неожиданное приключение не произвело никакой сенсации. Пассажиры большею частью были люди местные, хорошо знакомые с

волжскими порядками.

— Это еще слава богу! Не такие, можно сказать, карамболи бывают! — заметил пожилой купец из Елабуги. — А вот, прошлым летом, спускался я вниз, так нас господь только спас. Чуть было вовсе не утонули.

И он рассказал подробно «случай» ночного столкновения двух пароходов. Вслед за ним и другие пассажиры припомнили подходящие случаи. Оказалось, что почти у каждого было на памяти более или менее подобное приключение, когда только «бог спас», но при этом рассказчики редко винили капитанов, а в виде успокаивающей сентенции прибавляли, что без этого нельзя. Вода — не суша. В дороге будь ко всему готов.

Тем временем помощник капитана, взволнованный происшествием, бывшим во время его вахты, соорудив акт, обходил пассажиров с просьбой подписаться в качестве свидетелей. В этом акте, разумеется, сосед оказывался виноватым, а поведение помощника рисовалось в самом лучшем виде. Он не мог предотвратить столкновения и оказал чудеса энергии и распорядительности.

Никто и не подумал войти в рассмотрение вопроса о том, насколько был виноват и наш помощник, не сообразивший тотчас же последствий маневра соседа, что сообразил бы человек мало-мальски знакомый с делом, и все охотно подписывали акт, свидетельствуя невинность помощника. Он так трогательно просил о подписи, что подмахнули акт и такие пассажиры, которые не были очевидцами происшествия, а лжесвидетельствовали, так сказать, по добродушию, чтобы не обидеть отказом просящего человека.

Этот акт, значительно успокоивший помощника, был передан в ближайшем городе для представления в полицейское управление.

Когда я любопытствовал узнать, какое последует движение этому «делу», капитан только махнул рукой и засмеялся. Таких «дел», по его словам, на Волге многое множество, тянутся они подолгу и редко доходят до суда, оканчиваясь большею частью добровольными соглашениями. Составляются же эти акты большею частью для очистки себя перед хозяевами пароходов, чтобы не под-

вергнуться вычету из жалованья за поломки или не быть уволенным со службы.

— Хозяева у нас — купцы, народ, знаете ли, прижимистый и необразованный... Войдет ему в голову, он и стонит с места... Надо уметь с ними ладить... Другой раз и без всякого резона штраф наложит.

Вероятно, в силу этой безобразной нелепицы отношений, характеризующей отечественные нравы, и на соседнем пароходе составили акт, обвиняющий в столкновении наш пароход. Таким образом кончаются всевозможные приключения, и за них редко когда привлекаются к ответственности капитаны и помощники. Разве уж когда случится происшествие слишком кричащее.

Если верить тому, что пишут в последнее время о провинции некоторые из наших газет, то чем далее от столиц, чем далее от центров умственной жизни, тем обыватель бодрее, веселее, менее подвержен влиянию «либерального миража» и за последние годы совсем, так сказать, «ожил»: глядит вперед «без страха и боязни» и только ждет не дождется,

когда наконец будет упразднен «ненавистный» для него гласный суд с присяжными, уничтожено земство, и взамен этого будут восстановлены дореформенные порядки с предоставлением дворянству первенствующей роли. Судя по этой «схеме блаженства», настоящая Аркадия, где люди не живут, а, можно сказать, наслаждаются, — Сибирь. Власть там сильная и грозная, не стесняемая препонами, исправник в каком-нибудь захо-лустье в своем роде Гарун-аль-Рашид*, могущий при желании беспрепятственно водворить мир и благосостояние, земства нет, суда присяжных нет, мировых судей нет, журналов нет, общественного мнения нет, — чего еще, кажется, желать для людского счастья по доктрине некоторых публицистов?

Увы! на «провинцию» клеветуют. Она далеко не так бодра и весела, как о ней рассказывают, судя, по крайней мере, по тем представителям «провинции», с которыми мне приходилось беседовать. Хотя специально разговоров о внутренней политике на пароходе и не вели (слава богу, не малолетки), каждый говорил о своих местных делах и делишках,

но в этих толках не проскальзывало ни малейшего желания одобрить идеал аракчеевского общежития*. Новые суды считали счастьем, земские учреждения, при всех недостатках, все же лучше старых порядков и, вспоминая эти старые порядки, вовсе не желали возвращения их... Словом, сибирской Аркадии не завидовали, а спутники на сибирском пароходе не только не хвалились Аркадией, а пугали рассказами о тех ужасах, которые творятся в стране, представляющей собой до некоторой степени приближение к идеалу современных аракчеевцев.

И бодрости и веселья что-то не приметил я, хотя представителей «провинции» было немало в числе наших спутников.

В беседах проскальзывала нотка недовольства. Правда, часто недовольство это формулировалось в крайне примитивной форме («жить стало хуже»), но смею уверить читателя, что из этих бесед никак нельзя было вывести заключения, что жить стало хуже от того, что земство и суды «вносят разврат».

— И проходимец какой-то пошел у нас нынче в ход, батюшка! — рассказывал один

старик, мировой судья. — И ходит-то он гоголем... Прежде еще стыдился немного... Бывало, все в клубе знали, что цена этому проходимцу — грош и что за два двугривенных он родителей слопаёт, а нынче, смотришь, он еще ораторствует, при случае, насчет всяких основ... о благородстве чувств распинается... Да вот, недалеко ходить за примерами... Был у нас в уезде один такой человек... За воровство, за доносы и всякие беззакония был он выгнан из службы и жил себе, притаившись, как паршивая собака... Мы, провинциалы, небрезгливый народ, а и то брезгали этим субъектом... Он даже в обществе не смел показываться... А теперь, — как бы вы думали? — проповедует «сильную власть» в качестве станового... Сколько пакостей понаделал в уезде — просто беда! Чуть что, сейчас в государственной измене обвинит... Поди, доказывай, что врет.

— Тоже и у нас попадаютя-таки человечки, — сказал в свою очередь купец из Елабуги.

— Ну, и у нас на этот счет нельзя пожаловаться! — заметил екатеринбургский обыва-

тель.

И пошли все те же, давно набившие оскомину, рассказы о разных, более или менее возмутительных случаях насилия, вымогательства, халатности, причем все это рассказывалось, в большинстве случаев, с тою примесью специально русского добродушия, которое считается одною из наших добродетелей. На первом плане стояла, так сказать, фабула. Рассказчика не столько возмущало, что человек без всякой нужды теснит другого, сколько интересовал самый процесс прижимки. И если при этом «герой» пакости отличается смелостью и находчивостью, то в рассказах даже проскакивала нотка некоторого восхищения, как это он ловко утеснил одного, ограбил другого, провел третьего... В таких приятных воспоминаниях коротали пассажиры второго класса свое время. Винта, к удивлению, не было.

А пароход шел да шел. На другой день мы уже вошли в Каму с ее обрывистыми берегами. На Каме плавание представляло менее шансов для приключения. Пароходы и барки встречались реже, и следовательно остава-

лись только мели; но, по случаю половодья, и эта опасность не представлялась возможною. Пассажиров все прибавлялось, преимущественно палубных пассажиров, хотя и без того палуба была набита битком. Интересно было наблюдать, как парходное начальство торгуется с пассажирами. На одной из пристаней стояла артель. Это были вятские мужики, сплавившие гонки сверху и возвращающиеся теперь назад. Один из них выступил вперед и спросил о цене.

— Три рубля с человека, — ответил с искусственною небрежностью помощник капитана, нарочно делая вид, что нисколько не интересуется этими пассажирами, и искоса поглядывая на артель в двадцать человек.

— По рублику с человека взяли бы, ваша милость!

Помощник капитана презрительно фыркает и нарочно дает первый свисток, думая, вероятно, этим маневром подействовать на мужиков. В артели происходит совещание.

— Рубль с четвертаком возьмешь?

Помощник капитана не отвечает и через минуту дает второй свисток.

В артели легкое волнение. Снова совещаются.

— Так и быть, по полтора дадим.

— И по два с полтиной дадите, — замечает с усмешкой помощник капитана и прибавляет, — вы, ребята, смотри скорей, сейчас отвал, вас ждать не будем.

И с этими словами он снова подходит к свистку, бросая однако зоркий взгляд на мужиков.

Снова совещание. По-видимому, там решено не отступать.

— Больше не дадим, — замечает артель. — Дождемся другого парохода.

Раздается третий свисток. Артель отходит в сторону.

— Ну уж бог с вами, ступай брать билеты.

Артель идет на пароход, который еще стоит на пристани минут 10 после третьего свистка. Эти свистки были не более как маневр, часто практикуемый на волжских пароходах.

Приключений больше никаких не было, если не считать за приключения две-три остановки по случаю поломки машины и дол-

гую остановку на одной из пристаней, вследствие полученной телеграммы перевести буфет с нашего парохода на встречный пароход того же хозяина, а буфет с того парохода — на наш. Благодаря такому распоряжению, два парохода совершенно напрасно простояли у пристани три часа, пока происходила переноска буфета, и в этот вечерний час, когда обыкновенно все пьют чай, нельзя было добиться кипятку и чего-нибудь съедобного.

На четвертый день пароход пришел в Пермь, вместо раннего утра, в первом часу дня, но это, впрочем, не смутило пассажиров, следующих далее, так как пассажирский поезд из Перми выходит по вечерам. Остаться же целый день в этой бывшей столице золотопромышленников, горных инженеров дореформенного времени, где прежде было сосредоточено управление заводами и где теперь царствует мерзость запустения, с пустыми барскими хоромами, в виде памятников прежнего величия, не было никакой нужды.

Заглянув в этот мертвый город и не встретив в нем в пятом часу дня буквально ни души, мы вернулись на вокзал, и в семь часов

вечера поезд отошел в Екатеринбург. Из окон вагонов мы видели далекую синеву Уральских гор, перед нами мелькали знаменитые когда-то заводы, гремевшие в старое время баснословными пирами и баснословными беззакониями управителей, и незаметно перевалили хребет, очутившись географически в Азии. Я говорю «географически» потому, что близость Азии и азиатских нравов начала сказываться гораздо раньше географической границы.

К вечеру мы были в Екатеринбурге. Тут уже прекращаются всякие цивилизованные пути сообщения, и нам предстояло сделать триста верст по знаменитому, так называемому пермскому тракту.

IX

Эту «прелестную», по словам петербургских сибиряков, дорогу забыть невозможно. Кажется, что трудно себе представить худшие дороги на свете, но более нас опытные путешественники рассказывали потом, что есть дороги и хуже пермского тракта; это — так называемый иркутский тракт между Томском и Иркутском.

Из Екатеринбурга мы выехали целою компаниею. К нам присоединился еще один спутник, ехавший с своим многочисленным семейством из Петербурга на Амур. С ним мы познакомились еще на пароходе.

Это был крайне милый и обязательный человек, оказавший нам немало услуг в путешествии и познакомивший нас заранее со многими особенностями сибирской жизни. Хотя сам он был сибиряк, но не из тех, которые во что бы то ни стало нахваливают свое болото. Он проучительствовал несколько лет в Петербурге, бросивши любимое им дело по причинам, от него не зависящим, и ехал теперь в качестве техника в амурскую тайгу на прииск. Ехал он скрепя сердце и только потому, что надеялся, что на прииске, куда он был приглашен, управляющий относительно порядочный человек, и следовательно ему не придется быть свидетелем тех классических безобразий, которые вообще творятся на приисках. А что там творится, про то он знал, так как раньше имел случай служить на одном из приисков. Творится, в самом деле, нечто невероятное: эксплуатация людей доходит до

последнего предела. Управители — в большинстве из приказчиков, люди без всякого образования — бесконтрольные вершители судьбы человеческой. Грабеж феноменальный. Произвол возмутительный. Личность человека так же мало ценится, как в каком-нибудь негритянском государстве. Неудивительно, что и приисковые рабочие, наполовину из беглых или беспаспортные, пользуются отчаянною репутацией по всей Сибири и развращают ближайшие к приискам селения. По словам знающих это дело людей, в таких селениях трудно встретить девочку тринадцати лет уже не развращенною...

Правительственный контроль и полицейская власть на приисках представляются горными исправниками. Жалованья они получают рублей четыреста в год и с приисков маленькое дополнение в виде нескольких десятков тысяч. Понятно, что эти господа, набранные с борка да с сосенки, часто люди едва грамотные, с нравственностью более чем сомнительною, держат всегда сторону хозяев и в случае каких-нибудь недоразумений между

рабочими и приисковою администрацией решают их обычным сибирским средством — нещадною поркой...

— Есть такие горные исправники, что по несколько лет сами находятся под следствием, — рассказывал мне, между прочим, мой спутник сибиряк. — Я знал одного такого. Благодаря его истязаниям двое рабочих умерли... Кажется, он и до сих пор благополучно исправником... Денег у него много... Следствие можно тянуть без конца... Это в Сибири — обыкновенная история. А жаловаться некому... Да и к кому пойдет жаловаться какой-нибудь бродяга?

Наш спутник еще в Екатеринбурге учил нас, как надо прессоваться в тарантасах, которые мы достали в конторе г. Михайлова, заплатив по двенадцати рублей за проезд.

В 1 часу дня наш караван двинулся. С первой же станции пошла убийственная дорога: или выбоина, или непролазная грязь в виде месива, по которому лошади ступали шагом, и наши колымаги ныряли словно в волнах. В тарантасах ночью температура была африканская, а в телегах холод убийственный. Где

было лучше — в тарантасах или телегах — решить трудно. В тарантасах — были целы бока, а у нас хотя бока были избиты, но мы, по крайней мере, знали, где мы и что мы, и в беседе с ямщиками коротали время дороги.

Теперь, ввиду скорого окончания железной дороги от Екатеринбурга до Тюмени*, тракт закрывается и, разумеется, содержится еще хуже прежнего. И станции, и лошади, и экипажи — безобразны. Есть, конечно, несколько хороших лошадей для проездов «особ»; но к услугам обыкновенных проезжающих лошади скверные. Разгон на этом тракте огромный.

Уж я не знаю, к счастью или к несчастью, но нам на станциях давали, вместо лошадей, отчаянных кляч, которые покорно выносят удары кнута, пускаясь в отваге отчаяния вскачь, и если их не хлещут, то плетутся шажком, опустив свои головы. И гнать-то их было совестно, тем более, что по этой адской дороге мало-мальски скорая езда заставляла со страхом смотреть на тарантас и опасаться, доедут ли они, или не доедут; ну, и за внутренности было страшно. И мы плелись все

время шагом.

И ямщики нам попадались все какие-то убогие — то слишком ветхие, то, напротив, совсем ребята. На одной из станции нам даже предложили в ямщики к переднему Ноеву ковчегу, где помещалось семейство сибиряка, мальчонку лет десяти, который утешал испугавшихся было дам Ноева ковчеха, что ему не впервой возить. Нам давали кляч и малолеток вместо ямщиков потому, что впереди нас ехал генерал-губернатор, и для него, разумеется, были оставлены самые лучшие лошади и самые представительные ямщики.

Уже на второй день нашего путешествия нам стали попадаться навстречу одинокие путники, пробиравшиеся по зеленеющему лесу с котомками на плечах.

— Ишь, по кормовые пошел, — заметил старик ямщик, указывая кнутом в сторону.

Я не понимал, что он хотел сказать, и спросил объяснения. Оказалось, что так подсмеиваются над беглыми, намекая этим, что они будут пойманы и снова возвратятся в Сибирь, но уже по этапу, получая кормовые деньги.

— А много здесь ходит беглых?

— Целыми косяками иной раз ходят, да только ловят их часто, — отвечал ямщик. — Как весна, смотришь, и выходит он, как зверь, из норы. По весне каждую тварь к воле тянет...

Погода стояла дождливая и холодная. Май месяц глядел сентябрем. Мы ехали день и ночь, боясь опоздать к тюменскому пароходу и напуганные рассказами о том, что по дорогам пошаливают, и поэтому по ночам старались не спать.

Наступила вторая ночь — темная, дождливая сибирская ночь. Тихо плелись мы по грязи, среди гудящего леса. И ямщики и седоки в тарантасах дремали. Лошади лениво, еле-еле ступали по вязкой грязи. Навстречу изредка попадались длинные обозы. Это везли кяхтинский чай к нижегородской ярмарке. Наконец занялась заря, и мрак ночи рассеялся. Мы начали дремать.

Вдруг наша тройка пугливо шарахнулась в сторону, и ямщик остановил лошадей, крикнув передним ямщикам остановиться.

Мы вышли из телеги и со спутником подошли к ямщикам.

У самого края дороги лежала фигура человека, покрытого зипуном.

Ямщики молча потрогивали его кнутовищами и тихо покачивали головами.

— Должно, мертвый! — проговорил один из них.

Никто не решался удостовериться в этом. Все как-то брезгливо сторонились от лежавшего человека.

Мы со спутником отдернули зипун и при слабом свете рассвета увидали безжизненное лицо старого мертвеца. У виска, около шапки, видна была запекшаяся кровь. Тело его хотя и было холодно, но еще не окостенело. По всему видно, что смерть произошла недавно. Мы снова накрыли его и молча разошлись.

— Смотри, на станции не болтай, — проговорил один из ямщиков, обращаясь к другим.

Кто был этот старик, брошенный у дороги, — бродяга ли, мирный ли крестьянин, убитый кем-нибудь, кто знает?

— Должно быть, жиган, — сказал нам ямщик, садясь на облучок, — верно, обозники прикончили.

Могло и это быть. Подобные случаи не ред-

кость по сибирским дорогам. Между бродягами и обозниками давно уже идет война не на живот, а на смерть. Эти рыцари больших сибирских дорог, собравшись шайкой, выезжают на тракт и сторожат обозы с товарами. Ночью, когда возчики спят, они набрасывают нечто вроде мексиканских лассо, с крючьями на концах, на лошадей и отбивают обозы с товарами.

Такие же точно лассо употребляются и в городах с целью грабежа. Даже в таком относительно большом городе, как Томск, такие факты не редкость. Грабители выезжают в кошеве* и, завидя где-нибудь в глухой улице путника, набрасывают на него аркан, тащат его за собой за город и там грабят. Хроники сибирских газет полны описанием таких происшествий, остающихся в массе случаев нераскрытыми. Одно время в Томске была настоящая паника. По вечерам не выходили из квартир и даже днем не выходили без револьверов. В одну неделю были раскуплены все револьверы в лавках.

«Караул, грабят!» — так начиналась передовая статья одной местной газеты, и в хро-

нике того же номера сообщался ряд происшествий за неделю, напоминающих несколько о жизни в американских прериях в куперовские времена.[35]

Я слышал целые легенды про заседателей, прикрывающих убийц, про частных приставов, устраивающих, в негласной компании с ворами, грабежи лавок и домов, про исправников, которым осторожные фальшивые монетки сбывали фальшивые деньги. Ворованные вещи часто являются во владении охранителей безопасности и при следствиях они же помогают попавшимся давать показания. Бродяги, скопляющиеся в городах, являются одною из доходных статей, пополняя цифру крошечного жалованья, получаемого полицейскими агентами в Сибири. Начальство прикажет устроить облаву, — бродяги своевременно предупреждены, и в руки полиции попадают все люди с паспортами, которые, просидев ночь в каталажке и заплатив по рублю, выпускаются.

На сибирских «вечерах», между винтом и закуской, разговоры всегда ведутся на эту благодарную тему, и рассказы неистощимые.

— Обокрали меня года четыре тому назад, — рассказывал один томский обыватель, — и в числе украденных вещей были отличные стенные часы. Прошел год, о вещах не было ни слуху ни духу. Вдруг вижу: подъезжают к моему дому полицейский чин с каким-то субъектом. Впускаю, спрашиваю, что угодно. Оказывается, что полицейский чин приехал предложить мне некоторую сделку — возвратить мои часы, украденные привезенным им с собою субъектом, а я за это должен помочь ему в одном деле, бывшем у него в думе. Я отказался от этой чести и даже от часов, но полицейский все-таки великодушно возвратил мне часы.

— Пропало у нас в конторе ружье, — начал, в свою очередь, инженер.

— И ружье это оказалось потом в полиции, — перебили его.

И все в таком роде...

Вот она какова, эта дореформенная Аркадия!

Высшие представители администрации бессильны прекратить подобное положение дел, даже при добром желании. На место вы-

гнанного Иванова является такой же Петров. И этот Иванов, уволенный из одной губернии, едет в другую и там получает место, тем более, что места могут быть прямо куплены при посредстве такого же Иванова или Петрова, сидящего в канцелярии.

Все это, разумеется, известно и высшей администрации из отчетов, представляемых местными губернаторами. Отчеты эти рисуют нередко мрачную картину — положение Сибири... И сибиряки ждут не дождутся реформ, которые бы сравняли далекую окраину с остальными русскими губерниями.

Х

Вот она наконец и граница Сибири. Два столба, один каменный, другой деревянный, с гербом Тобольской губернии, указывают въезд в страну, «где мрак и холод круглый год»*. Надписи на столбе подчас трогательные, но не имеют, однако, безотрадности надписи над Дантовым адом: «Оставь надежды навсегда»*. Напротив, юмор русского народа выразился и в этих, иногда своеобразных надписях: «Поминай как звали». «Кланяйся в Нерчинске товарищам». «Ищи ветра в поле».

«До свидания, Сибирь-матушка!» и тому подобн. Есть и нацарапанные стихотворные произведения, и в них юмористика преобладает над лиризмом.

Солнце ласково греет сверху, освещая зеленеющие, по бокам дороги, густые, болотистые леса. Дорога делается еще убийственнее, лошади ступают буквально шагом, с трудом вывозя тарантасы и телеги из непролазной грязи. К 11 часам утра мы добрались до села Успенского, предпоследней станции перед Тюменью, села замечательного тем, что почти все население занимается кустарным производством так называемых тюменских ковров. Ковры эти весьма недурны и дешевы, только краски и узоры их весьма безвкусны. Они распространены по всей Сибири, и значительная часть их идет в Петербург и Москву.

Вид этого большого сибирского села невольно поражает человека, привыкшего видеть убогие, черные русские деревни. Постройка грубая, аляповатая, но прочная. На лицах мужиков нет той забитости, которую вы встретите в России; видно, что материаль-

ное благосостояние их лучше.

До Тюмени оставалось тридцать верст, которые мы проехали в шесть часов. Усталые, разбитые, грязные, увидали мы наконец Тюмень, первый сибирский город, разбросанный по оврагам, мрачный, грязный, с огромным белым каменным зданием на въезде. Нужно ли прибавлять, что это был острог?

В гостинице мы несколько пришли в себя после путешествия.

Пообедав, я отправился поскорее на пристань брать билеты и без труда получил для себя каюту II класса. Как характеристику нравов, отмечу следующую черточку. Когда я брал билет на пароходной конторке, молодой конторщик обратился ко мне с обычным сибирским вопросом: «чьи вы будете и куда изволите ехать?» С тех пор это сибирское «чьи вы будете» уж не оставит вас нигде, куда бы вы ни зашли: в лавку ли, заговорили ли с пассажиром, после первых слов вам неизменно зададут этот вопрос.

На пароходе уже толпились переселенцы. Пароход производил впечатление весьма удовлетворительное, каюты были чисты, и цена

за девять дней пути относительно недорого (за место II класса 14 руб., а за семейную каюту — по числу мест — по 16 руб. за место).

Хотя Тюмень — один из очень старых сибирских городов (основан в 1586 году), жителей в нем, по суворинскому календарю*, считается около 16 тысяч человек и, как перевалочный пункт, он имеет известное значение, тем не менее никакой привлекательности не представляет. Деревянные низенькие дома, широкие пустыри, грязные и безлюдные улицы. Тюмень — главный пункт рассылки арестантов по дальнейшим местам. Здесь находится главная экспедиция о ссыльных. Здесь, в Тюмени, все уголовные арестанты распределяются по всем местам Сибири и отправляются партиями. Наплыв арестантов бывает так велик, что буквально и острог и пересыльная тюрьма переполнены. Вследствие такой скученности тиф и другие болезни, разумеется, косят людей.

Не одна, впрочем, Тюмень отличается такими тюрьмами. По словам официальных отчетов и рассказов знающих дело людей, тюрьмы в Сибири и этапы представляют собою

нечто невообразимое. Трудно изобразить словами весь ужас положения людей, скученных в небольших пространствах огромными массами. В Томске, например, дело доходило до того, что тифозных больных, за недостатком места, клали целыми рядами на полу, и смертность доходила до поражающей цифры. Что же касается этапов, то они буквально представляют собой клоповники, и еще недавно высшее местное начальство предписывало циркуляром обратить внимание на содержание их в исправном виде.

Но циркуляры — циркулярами, а жизнь — жизнью, и побывавшие на этапах рассказывают про них просто невероятные вещи. В крошечном помещении скучиваются вповалку мужчины, женщины и дети, и их на ночь запирают. Что происходит там, об этом лучше не рассказывать.

Пароход отправлялся в два часа ночи. В десятом часу мы уже были на пароходе и уложили детей спать. Наш добрый гений, спутник-сибиряк, советовал мне застаться кое-какою провизией на дорогу и, главное, хлебом, так как на пароходе все дорого, а иногда и

просто бывает нельзя достать. Я поспешил отправиться снова в город. Город уже спал, только в некоторых домах светились огоньки. Стоял чудный, тихий вечер. Невольная тоска охватила меня, когда я проезжал по этим глухим, пустым, угрюмым улицам. Как же живется человеку, не привыкшему еще напиваться с утра, в каком-нибудь еще более глухом захолустье, вроде Нарыма или Виллюйска?

Невольно припомнились стихи поэта:

*Да... страшный край... Оттуда
прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Повиснет над страной.**

— Вот тут у полек хорошие булки, — прервал мои размышления извозчик, останавливаясь у маленькой двери, над которой была какая-то вывеска.

Я вошел в крошечную комнатку, слабо освещенную тусклым светом крошечной лампы. На прилавке лежали булки и разные печенья, и в комнатке пахло свежим хлебом.

Из-за ситцевой занавески вышла сморщен-

ная, худенькая, маленькая старушка и необыкновенно вежливо и деликатно спросила:

— Что пану угодно?

Она была одета в каком-то затрапезном платье, в разорванной кацавейке, но что-то и в манере и в выражении этого худенького лица, со слезящимися глазами, говорило, что эта старушка знала когда-то лучшие времена. В лице ее точно замерла какая-то старая, покорная скорбь. Я не сомневался, что передо мной была женщина, принадлежавшая когда-то к так называемому обществу.

Мы разговорились. Скоро из-за занавески вышла другая старушка: высокая, сухая, крепкая, с более энергичным выражением лица. Это была ее младшая сестра.

Их история оказалась очень простою и печальною историей. Они принадлежали к одной из довольно зажиточных польских фамилий, были сосланы на каторгу за восстание в 63-м году*, имения их были конфискованы, а теперь они, давно прощенные, но всеми забытые, доживали свой печальный век в Тюмени, добывая себе кусок хлеба пекарней.

— Отчего вы давно не вернулись домой? — спросил я.

Ответ обычный: вернуться дорого. Тем не менее они не теряют надежды умереть на родине.

— Мы уже давно собираемся, — заметила младшая сестра, — и в прошлом году чуть было не уехали, да вот сестра заболела. Мы до сих пор не привыкли к здешнему климату, хотя должны были бы ко всему привыкнуть в 20 лет, — прибавила она, улыбаясь скорбною улыбкой. — Бог даст, еще вернемся и умрем на родине.

— Родные ваши живы?

— Почти никого нет.

— Да, всего пришлось испытать, — заговорила опять маленькая, сморщенная старушка и вздохнула.

— Этой жизни не забудешь! — прибавила младшая сестра.

Я пожелал им поскорей вернуться на родину, и мы распрощались.

Мой возница, тоже из ссыльных, попавший из Курской губернии в Сибирь, как он объяснил, «за то, что любил чужих лошадей»,

и давно уже имевший право возвратиться в Россию, очень хвалил этих старушек-полек.

— Тихие, аккуратные старушки, — говорил он.

Впоследствии мне часто приходилось встречать поляков, сосланных сюда за польское восстание и оставшихся в Сибири. Большая часть из них занимаются торговлей, ремеслами, содержат кабаки, некоторые находятся на службе. Вообще они как-то лучше русских умеют устраиваться, именно потому, что не брезгают никакими занятиями.

Большинство же остальных ссыльных обречено почти что на нищету. Достать им какие-либо занятия, без помощи администрации, трудно; да и какие занятия могут быть в какой-нибудь сибирской дыре или в якутских улусах*? В больших городах, где могли бы найтись занятия, дают их неохотно, боясь, как взглянет на это местная администрация. Правительство выдает в пособие политическим ссыльным по шести рублей[36] на человека и таким образом избавляет многих буквально от голодной смерти.

Пароход «Рейтерн»[37], на котором нам пришлось совершить девятидневное путешествие, проплыв более 2000 верст по Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи, приятно порадовал своим необыкновенно нарядным, праздничным видом.

Не особенно изящно скроенный, но крепко сшитый, он сиял чистотой. Все было подкрашено и подчищено. Довольно уместительные семейные каюты были прибраны с особенною тщательностью, и на диванах белели новые коленкоровые чехлы. Лоцмана, матросы и официанты щеголяли свежими костюмами. Пароходное начальство несколько волновалось. Сумрачный на вид капитан, пожилой молчаливый пермяк, большую часть времени стоял на площадке с торжественно-озабоченным видом, а его помощник, сухопарый молодой человек, в начале рейса просто-таки метался, изнывая в заботах о чистоте и порядке. Палубу подметали часто, слишком даже часто, в ущерб спокойствию палубных пассажиров. Переселенцы были скучены относительно с большим удобством, чем на пермском пароходе, и к переселенцам относились с

некоторою внимательностью, по крайней мере к тем из них, которые поместились ближе к рубке I класса, на которую часто устремлялись тревожные взоры молчаливого капитана.

Не торопитесь однако обобщать факты и, собираясь в Сибирь, не рассчитывайте на подобную счастливую случайность. Вы можете рассчитывать на большую безопасность плавания по большим, пустынным сибирским рекам, чем по бойкой Волге, так как судоходство здесь в зачаточном состоянии и столкнуться не с кем. Что же касается порядка, удобств и чистоты, то сибирские пароходы ими не отличаются и, вообще говоря, содержатся не лучше волжских пароходов средней руки. Если же в этот рейс пароход удивлял не совсем обыкновенным порядком, то и причина этому была не совсем обыкновенная: в числе пассажиров находился новый генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Игнатьев*, ехавший с семейством и несколькими лицами свиты к месту своего назначения.

Путешествовать по почтовым сибирским дорогам вслед за высокопоставленными ли-

цами, как пришлось нам, не рекомендую никому, даже человеку, обладающему воловьим терпением и ослиною выносливостью. Вам придется либо изнывать на станциях, выслушивая философские сентенции зрителей, либо, после самых энергичных настояний, получать, вместо хваленых «сибирских лошадок», некоторое их подобие, в виде невозможных ободранных кляч, а вместо ямщиков — несносных стариков или крошек-младенцев, невольно внушающих сомнение.

Но зато путешествовать по железным дорогам или на пароходах одновременно с сановными пассажирами несравненно удобнее, чем без них. Удобства и внимательность, предназначенные специально таким путешественникам, косвенно отражаются и на остальных, а главное, вы более гарантированы в благополучном исходе путешествия. Вот почему я, по крайней мере, бываю доволен, когда судьба посылает на поезд какого-нибудь путешествующего сановника. Тогда я спокойно сажусь в вагон, уверенный, что, благодаря такому соседству, поезду труднее сойти с рельсов, запоздать в пути, — словом,

подвергнуться приключению, ибо хорошо знаю, что благополучие сановитых путешественников, — разумеется, находящихся у дел, — охраняется с большею бдительностью и с сугубым усердием, чем благополучие обыкновенных смертных, и следовательно шансов на всякую «кукуевку» значительно меньше.

Хотя граф и держал себя с скромною простотой, приятно дивившей пассажиров-сибиряков, привыкших более к грозному величию старинных сибирских «вице-роев», о недостатности которых до сих пор ходят легендарные подробности, и отклонял всякие официальные встречи, но это, разумеется, не мешало даже и неподчиненным сибирским чиновникам волноваться и трепетать.

Такие проезжающие ведь не особенно часты в здешних палестинах.

Наибольшим подъемом духа и наибольшим страхом за целостность своей шкуры проникаются в таких случаях, разумеется, второстепенные служебные агенты и главным образом господа исправники и заседатели, до сих пор сохранившие здесь складку, обличье и

вкусы дореформенных Держиморд и знающие за собой немало уголовных грехов, помимо повального здесь греха — взяточничества. Греховодники покрупней, разные матерые юсы, заведующие частями, и советники, игравшие при «старой метле» роль негласных «серых эминенций»*, несмотря на наружную бодрость, тоже не без тайного страха ждут «новой метлы», особенно если слухи о ней благоприятные. В тиши своих пропитанных беззакониями и кляузами канцелярий они готовятся к приезду, деятельно припрятывают не только концы, но, случается, и целые громадные дела, благо прожорливость сибирских крыс или внезапный внутренний пожар сослуживали не раз добрую службу.[38] Одним словом, волнение в крае необычайное. Чиновники мнутя словно тараканы, внезапно застигнутые светом. Исправники и заседатели, эти первые образчики «административного товара», с которым приходится знакомиться приезжему, охваченные нередко буквальным трепетом, простирают усердие при встречах до геркулесовых столбов раболепия и глупости. Часто, по собственному вдохнове-

нию, не дожидаясь соответствующей бумажки, они стоняют целые деревни на починку тракта, отрывая массы людей от спешных работ, и прибегают к самым отчаянным мерам устрашения в случае ропота и протеста. И они положительно замирают в благоговейном недоумении, когда, вместо благодарности за такое внимание к высокому путешественнику, вдруг, совершенно неожиданно, получают в более или менее приличной петербургской форме «дурака», наводящего, однако, большую панику, чем откровенный «мерзавец!» разгневанного генерала старых времен.

За что? Почему?

Этот бедный дореформенный «дурак» — весьма неглупый, заметьте, во всем, что касается обдελывания своих делишек, привыкший думать, что «управлять» значит наводить трепет и вымогать, — еще не настолько выдрессирован, чтоб обладать хорошим верхним чутьем столичного чиновника, умеющего приспособляться в каждый данный момент, и потому всякого высшего начальника меряет на один и тот же сибирский шаблон,

выработавшийся еще со времен Пестеля и Трескина*. Он боится начальства, как дикарь стихийной силы, и в то же время смотрит на него с наивною оскорбительностью, предполагающею, что у каждого сановника совсем особенные глаза, неспособные видеть предметы в их подлинности, и совсем особенные уши, до слуха которых, сквозь гул колокольного звона, «уры» и бесшабашного общего вранья о благополучии, не донесутся обывательские жалобы. Хотя он и смекает, что в последнее время и по ту сторону Урала приподнят дух исправников, но все-таки разнообразных оттенков новейших веяний различить не может; нередко едва грамотный — газет он, разумеется, не читает — и предполагая, что сибирские порядки вполне соответствуют новейшему «поднятию духа», не догадывается, что в Петербурге мужичок до известной степени в моде и что приезжие могут так или иначе заинтересоваться тем самым мужичком, которого он, в качестве первобытного Держиморды, привык обрабатывать, по сибирской простоте, без всякого любезного заигрывания.

В Сибири, где административная власть функционирует с большим простором, с большею независимостью, чем в губерниях, имеющих земство и гласный суд, и где обыватель привык считать закон писанным не для него, приезд нового генерал-губернатора будит во всех классах населения новые надежды. Каждый припоминает обиды и несправедливости и каждый простодушно уверен, что в руках такого властного и могущественного лица есть тот магический талисман, который восстановит правду, утрет слезы и превратит маленького сатрапчика в скромного общественного слугу. И если стоустая молва донесет известия, что «новый» доступен и добр, то такого «доброего» ждут в каждом уголке Сибири, как Мессию, повторяя с трогательным оптимизмом слова некрасовской Ненилы: «Вот приедет барин!»*

Буквально целые толпы народа идут на встречу такого доброго начальника. В каждом захолустье готовятся жалобные прошения. Жалобы эти — все те же, которые приносились сибиряками с тех самых пор, как существует Сибирь: это жалобы на самовластие,

произвол и грабительство местных агентов. Разница между старыми временами и нынешними только та, что нынче можно жаловаться на исправников без риска очутиться в кандалах или быть сосланным в какую-нибудь архисибирскую трущобу, как прежде, и подвиги, вроде подвига известного в сибирских летописях мещанина Саламатова[39], уже не нужны.

«Какою волшебною силой человек, брошенный сюда, мог вступить в борьбу со всеми почти чиновниками, со всем почти составом управления, мог один обуздать известные сибирские дерзости, обнаружить злоупотребления, потрясти фортуны и ниспровергнуть целую систему связей твердых, обдуманых и привычкою скрепленных? Мы не в том веке живем, и Сибирь — не тот край, где бы истина могла произвести сии явления! Как я могу управлять без моральной власти? Скажут: законами, как будто существуют законы в Сибири, всегда управляемой самовластием.

Я называю бедствием поверхностное отправление текущих дел, и терпимость беспорядка, и злоупотребления. Я мог их остано-

вить, но не истребить; их порядок управления, краю сему не свойственный, остается тот же; исправлять я его не могу; люди остаются те же, переменить их некем. Я не могу даже дать движения суду над ними, ибо те, кои должны судить, сами подлежат суду по другим делам подобным. Людей, отрешенных в одном уезде или в одной губернии, принужден употреблять в другой».

Так жаловался в своих сибирских письмах Сперанский*, и такие же сетования повторялись и повторяются лучшими административными деятелями Сибири.

Таким образом и теперь, как пятьдесят лет тому назад, вырисовывается с достаточною выпуклостью неизменное, при известных условиях, явление: трагическое бессилие самой, по-видимому, широкой власти.

Представителям ее, в лучшем случае, остается заниматься только поверхностным отправление дел, и Сибирь, с ее «классическими дерзостями» и безобразиями архаических времен, служит внушительною иллюстрацией к воплям журнальных реакционеров, рисующих дореформенные порядки в идеаль-

НОМ СВЕТЕ.

«На всякое зло у меня развязаны руки, а на добро я бессилён!» — писал в 20-х годах немец Руперт*, управлявший Камчаткой.

То же сознают и теперь умные сибирские администраторы и, прожив в Сибири год-другой, бегут из нее, убеждаясь в своем бессилии что-нибудь сделать при порядке управления, краю сему не свойственном, по выражению Сперанского.

XII

Постукивая с однообразною равномерно-стью машиной, «Рейтерн» ходко шел вперед, делая верст по 15 в час. Не надо было и выбирать фарватера, — иди, где хочешь, полным ходом по широким, многоводным сибирским рекам, особенно в начале лета, когда большая вода затопляет лесистые берега, оставляя на поверхности свежую молодую зелень тальника и ивы.

В некотором расстоянии за пароходом, на крепком, натянувшемся буксире, буравя и вспенивая острым носом воду, двигалась длинная, черная, мрачная арестантская баржа. Она казалась безлюдною на вид. На палу-

бе, кроме рулевых да часового с ружьем, ни души. Многочисленные невольные пассажиры этого плавающего «мертвого дома»*, заключенные в тесном, душном пространстве под палубой, могли смотреть на кудрявые берега лишь в небольшие окошечки с железными решетками, пропускавшие мало воздуха и света...

А погода была хорошая... Солнце грело полетному, манило к простору и воле, и, вероятно, не один арестант мечтал в это время о побеге.

Первые дни берега рек, по которым мы плыли, давали по временам красивые пейзажи: особенно хорош был Иртыш со своим утесистым правым берегом, покрытым густым лесом. И пустынное безлюдье не охватывало тоской. Нет-нет да вдруг и покажется на берегу либо русская деревня с церковью, либо татарская с покривившимся минаретом, либо редкие еще здесь убогие остяцкие юрты.

Эти татарские деревеньки вместе с часто попадающимися береговыми курганами — остатки когда-то грозного и могучего мусульманского царства*, бывшего на берегах Туры

и Тобола... С каждым годом татарское население, говорят, уменьшается, постепенно вымирая. Теперь в Тюменском округе татар не более трех тысяч; живут они рыболовством, извозом, ямскою гоньбой; хлебопашеством занимаются мало.

Через сутки с небольшим, ранним утром, пароход подходил к Тобольску, единственному сколько-нибудь населенному городу на всем громадном расстоянии между Тюменью и Томском. За Тобольском вскоре начинается безлюдный, пустынный приобский край, теряющийся в тундрах Ледовитого океана; деревни и юрты будут попадаться все реже, а два попутные городка, Сургут и Нарым, брошенные в этой неприветной и мрачной пустыне, — захолустные сибирские дыры, называемые городами единственно потому, что в них живут исправники.

Расположенный на правом нагорном берегу Иртыша, Тобольск издали казался красивым, чистеньким городком, но эта иллюзия тотчас же рассеялась, лишь только пароход подошел к городу. Пароход должен был простоять в Тобольске около двух часов — при-

нять запас дров и партию арестантов на баржу, и я воспользовался этим временем, чтобы сделать кое-какие закупки по части провизии (опытные люди предупреждали, что в буфете на сибирском пароходе в конце рейса иногда ничего нельзя получить), наскоро осмотреть старинный сибирский город, считающий свое существование с 1587 года, и взглянуть на памятник Ермаку, на кремль, построенный пленными шведами, и на пресловутый «ссылный колокол» — на эти три единственные достопримечательности города, показать которые наперерыв предлагали извозчики, приехавшие к пристани в ожидании любопытных туристов. Почти все извозчики были евреи. Меня поразило это обстоятельство. Оказалось, что в Тобольске особенно много ссыльных евреев, и они, в числе прочих занятий, занимаются и извозом. Мой возница, молодой, рыжеволосый, с типичной физиономией еврей, объяснил мне, что отец его был сослан, и с тех пор вся их семья живет здесь.

— Хорошо здесь жить?

— Какое житье! Город бедный... Только и есть, что чиновники да несколько купцов по-

богаче, а то все голье...

— Чем же занимаются еще евреи?

— А всем, чем придется. У кого мастерство, кто в извозчиках, кто на базаре всяким «брахлом» маклачит, кто при случае и жиганит... У которых деньги есть, под заклад дают, только денежных людей мало... Вовсе плохое здесь житье! В России, говорят, лучше...

Часа было совершенно достаточно, чтоб осмотреть этот неказистый, мертвенный и унылый сибирский город, когда-то называвшийся столицей Сибири и долгое время бывший резиденцией воевод, наместников и генерал-губернаторов. Любой из русских губернских городов — куда лучше. Особенно убога нижняя, подгорная часть города, расположенная в болотистой местности, среди тинистых речонок, и заливаемая нередко Иртышом. Тут, среди сырости и вони от сваленного навоза, редко встретишь сколько-нибудь изрядные дома. В неказистых домишках и покосившихся лачугах ютится беднейшая часть населения: коренные обитатели — мещане, мелкие чиновники, евреи. В этой же части города помещаются и учебные заведения.

Подпрыгивая, словно по клавишам, по трясущейся бревенчатой мостовой, проложенной на некоторых улицах, наша «гитара» («гитара» — излюбленный экипаж в сибирских городах, где есть извозчики) стала подниматься в гору по широкому ущелью. Слева, на холме, сверкали куполы церквей, белели стены и башни кремля, виднелась красивая арка, а справа — зеленел сад.

Остановились у сада.

Вошли в запущенный городской сад и скоро по аллее дошли до небольшого, не особенно изящного обелиска из серого мрамора. Обошли кругом, прочли надпись: «Ермаку — покорителю Сибири», вспомнили поэтические проклятия Некрасова, обращенные к этому завоевателю Дальнего Востока, пошли из сада и поехали на другую сторону, где на высоком холме расположены присутственные места, кремль, архиерейский дом и несколько частных зданий.

Сооружения кремля, арка, соединяющая их с бывшим губернаторским «дворцом», ныне занятым присутственными местами, и архиерейский дом — вот и все сколько-нибудь за-

метные постройки, да и этими постройками Тобольск обязан иностранцам — пленным шведам, попавшим в Сибирь. Украшать город заставил их знаменитый даже и в сибирских летописях сатрап-хищник, князь Гагарин, окончивший свои дни, как известно, на виселице за беззакония, притеснения, взятки и, как гласит предание, за сепаратистические стремления.

Этот «экземпель», как выразился по поводу казни грозный царь Петр, мало однако принес пользы. Не далее как в 1736 году опять была казнь: казнили Жолобова{320}, который «злохитростными вымыслами, из великих себе взяток составил огромное состояние». Затем шел непрерывный ряд подобных же самовластных и грабивших сибирских сатрапов. Князь Гагарин по крайней мере оставил по себе память, как сделавший кое-что для Сибири и особенно для Тобольска. При нем, между прочим, отведено устье Тобола, заведено первая латинская школа, устроен театр.

Вблизи от архиерейского дома находится и другая тобольская достопримечательность — «ссылный колокол», надпись на ко-

тором (очевидно, позднего происхождения) гласит, что «сей колокол, в которой били в набат при убиении царевича Дмитрия 1593 года, прислан из Углича в Сибирь».

После «ссылного» колокола осматривать было нечего, и мы поехали к пристани.

У пристани — оживление. Тобольская публика, несмотря на ранний час, собралась поглазеть к пароходу. Несколько полицейских чинов озабоченно ходили взад и вперед, ожидая возвращения генерал-губернатора из города. Городовые щеголяли в новых мундирах.

По обеим сторонам ближайшей к пристани улицы расположились торговки и торговцы с хлебом, молоком, колбасой, рыбой, и пассажиры гуляли между рядами, запасаясь всяким добром. Находящиеся поблизости лавки и лавчонки гостеприимно раскрывали свои двери.

В двух бакалейных лавках, в которых пришлось побывать, хозяева были поляки. И среди торговавших на улице нередко можно было слышать русский говор с сильным польским акцентом. Это все бывшие политические ссыльные. Сибирь была полна ими по-

сле 1863 года: в одном Тобольске, например, было, как мне передавали, свыше трех тысяч ссыльных поляков. Амнистия дала возможность большинству возвратиться на родину, но многие и остались: одни не имели средств вернуться, другие боялись бросить насиженные здесь места. Многие привыкли к краю, обжились в нем, поженились на русских, обзавелись семьями и теперь служат здесь, лечат, торгуют, занимаются ремеслами, содержат гостиницы, имеют кабаки. В Тобольске, говорят, поляков осталось особенно много.

Купивши консервов нельмы местного производства, польских булок и польских колбас, я возвратился на пароход.

Арестантская баржа, которую мы видели в отдалении, стояла теперь борт о борт с пароходом, в ожидании привода новой партии.

В пространстве между крышей баржи и палубой, огороженном кругом толстою железною решеткой, толпились старики, молодые, женщины, дети. Это пространство, представляя собой громадных размеров железную клетку, разделялось на несколько отделений; в одном были люди в арестантском костюме

и в кандалах, в другом — без кандалов и в своем платье, в третьем были семейные, которых сопровождали жены и дети. Внизу, под палубой, жилое помещение и одиночные камеры. Рубки, расположенные по концам баржи, назначались, как мне объяснили, для привилегированных и для больных. Для политических есть особенное отделение; они были невидимы.

Арестанты стояли и сидели у решетки, глазели на пароход и на «вольных» людей, покупали у торговков хлеб, под наблюдением этапных солдат, шутили, смеялись, громко острили, по временам позвякивая ножными кандалами.

И какое разнообразие племенных типов и лиц собрано было в этой клетке с разных концов России!

Тут и чистокровный, красивый кавказский тип горца, сурово, с надменным спокойствием озирающего своими большими темными глазами публику, и выдавшиеся скулы, узкие разрезы глаз и характерный нос представителя монгольской расы, и мясистые, широкие, добродушные лица великоруссов ря-

дом с застывшею улыбкой на тупой, неподвижной физиономии финской расы, и наконец серьезно-вдумчивое выражение хохла.

Среди всех этих разноплеменных представителей «преступного элемента» бросались прежде всего в глаза типичные, «зверские» лица, с низкими узкими лбами, головами микроцефалов, с тупыми взглядами исподлобья, — лица, напоминавшие первобытного человека-зверя, дававшие, казалось, богатый материал скорее для психиатров, чем для прокуратуры, пославшей их сюда на новые преступления. Встречались даже характерно отчаянные физиономии, полные бесшабашной, смеющейся удалы, — сверкающие взгляды, решительно сжатые губы и сумрачно сдвинутые брови; были и плутовато-умные, юркие глазки на продувных, измятых лицах, напоминающих обитателей трущоб и притонов больших городов. Но большинство, или, по крайней мере, половина всех этих людей, имели самые обыкновенные, нехитрые, простые, нередко добродушные русские лица, с покорным, несколько приниженным, но не унылым выражением, — такие, какие вы

встречали на каждом шагу в народе, с тою только разницей, что у всех почти пассажиров баржи был бледно-серый, с землистым оттенком, цвет лица, тот характерный арестантский цвет, который неразлучен с долгим тюремным заключением.

Присутствие баб и детей в семейном отделении несколько смягчало картину людского несчастья. И лица арестантов, бывших в этом отделении, казались спокойнее и добрее.

Вся обстановка имела смягчающий семейный характер, и если б не вид этой клетки, не эти серые пятна и бледные лица, выделяющиеся среди пестрых цветных сарафанов и более сравнительно здоровых женских и детских лиц, то можно было бы подумать, что идут переселенцы. Мирные сцены здесь напоминали обычные жанровые картинки домашней жизни. Тут смеялись, давали детям подзатыльники, вычесывали им головы, лакомились булками, — словом, жили точно так же, как и на воле. Но именно эта-то семейная обстановка рядом с кандалами, эти беспечные личики крошечных детей, выглядывавших из-за решетки, напоминая о контрастах, про-

изводили тяжелое впечатление.

Одна из таких обычных семейных сцен неизгладимо врезалась в моей памяти.

У самой решетки сидел арестант, человек лет тридцати, совсем мужицкой складки, с добрым, простым, ничем не замечательным лицом. Он держал на одной руке мальчугана, любопытно смотрящего на пароход, и о чем-то ему рассказывал, показывая на трубу, из которой шел легкий дымок. В это время крошка-девочка, сойдя с рук молодой бабенки, подползла к отцу и, весело смеясь, стала тербить отцовские кандалы. Ее, очевидно, забавляли они, но крошечные ручонки были бессильны. И отец, обратив внимание на девочку, стал ее забавлять, позвякивая кандалами. Девочка была в восторге. Арестант, любовно поглядывая на нее, улыбался и снова потряхивал кандалами.

Такие «идиллии» заставляли отворачиваться...

Палубные пассажиры, преимущественно переселенцы, передавали арестантам через этапных солдат копеечки, булки и куски сахара. Кое-кто и из классных пассажиров, пред-

почтительно женщины, передавали свою лепту. Принимая приношение, арестанты крестились.

Тем временем из города привели партию и стали размещать на барже. Партионный офицер, доктор, этапные солдаты — все были в новеньких мундирчиках, не то что обыкновенно. Скоро партия была размещена, раздались свистки, и пароход отвалил от пристани, на которой стояла толпа глазевшей публики. Минут через пятнадцать Тобольск скрылся за высоким берегом Иртыша.

По сравнению с другими большими сибирскими реками, Иртыш не особенно широк; зато он глубок и с быстрым течением; ни мелей, ни перекатов на нем нет. Правый его берег, крутой, обрывистый, поднимающийся в некоторых местах до значительной высоты, покрытый зеленью вековых сосен, пихт и елей, густо нависших над рекой, не лишен своеобразной, несколько мрачной красоты дикого величия. Левый берег совсем низкий: затопленный тальник и пески, снова пески и тальник утомляют своим однообразием. Изредка, впрочем, река вдруг врывается в срав-

нительно узкое пространство крутых, высоких берегов с обеих сторон, но такие места редки.

Песчаный правый берег Иртыша, подвергаясь подмыву, случается, обваливается, и эти обвалы или, как сибиряки говорят, «оползни», падая с грохотом и шумом с высоты в воду, бывают причиной аварий и несчастий. Такое несчастье именно случилось недели за три до нашего прохода. Верстах в двухстах от устья Иртыша мы видели шкуну, лежавшую беспомощно на боку в песках. Она проходила в версте от правого берега как раз в момент обвала. От падения такой массы земли с вековыми деревьями вода отпрянула от берега, образовав на реке волнение, и настолько сильное, что опрокинуло плоскодонную шкуну, бывшую, вероятно, без надлежащего балласта, отбросив ее к левому берегу. Баржа с грузом, которую вела на буксире шкуна, выдержала волну и осталась невредима. Из экипажа и пассажиров шкуны несколько человек погибли в реке, несколько были изувечены. День спустя после катастрофы, на «Рейтерне», проходившем у этих мест, услышали с

берега крики. Пароход остановился и забрал людей, требовавших помощи.

Чем выше поднимался к северу пароход, тем становилось безлюднее и пустынное, Иртыш становился шире, правый его берег понижался. Миновав Самарово, русское село близ устья Иртыша, пароход вошел в Обь, вступив в угрюмую страну таежных тундр и лесов. Мы были в громадной безлюдной пустыне приобского края. Здесь мы поднялись до самого северного пункта нашего путешествия, перевалив за 61° широты, и были, по сибирскому счету расстояний, не очень далеко от Ледовитого океана, который и давал знать о своей близости холодным, суровым дыханием.

Войдя в Обь, мы повернули и пошли вверх по реке, постоянно уклоняясь к юго-востоку.

XIII

Трудно представить себе что-нибудь однообразнее и унылее этой широкой, разлившейся на необозримые пространства реки с ее низкими, затопленными лесистыми берегами. Куда ни взглянешь — все та же беспредельная тайга по обе стороны. Эти тундры тя-

нутся вплоть до Ледовитого океана. Безлюдье полное. Редко-редко встретится маленькая разбросанная кучка убогих остяцких или самоедских юрт, да где-нибудь под берегом промелькнет душегубка-челнок с «печальным пасынком природы»* — самоедом или остяком-рыболовом. И опять в течение дня ни одного строения, ни единой души. Тайга да вода, вода да тайга, и масса комаров — «гнуса», как называют их местные жители.

И погода была как раз под стать этой постылой природе. Солнце выглядывало украдкой и грело скупо в начале июня. Мутные свинцовые облака низко повисли над свинцовой рекой. Резкий холодный ветер с близкого севера волновал реку, играя на ней серебристыми барашками, и напевал унылую песню, качая верхушки прибережных деревьев.

Становилось просто жутко. Тоска невольно охватывала приезжего человека. Неужели здесь можно жить?

Живут люди и в этих проклятых местах (есть, впрочем, места еще хуже, поближе к Ледовитому океану, например, Вилюйск, Верхоянск). Преимущественно по притокам Оби,

близ «урманов»[40], где больше водится зверь, разбросаны редкие селения аборигенов страны, несчастных инородцев. Есть, кроме того, здесь и так называемые административные «центры», в виде отчаянных городишек, брошенных в эти тущобы. В подобных, неизвестно для чего существующих «центрах», вроде Сургута или Нарыма, кроме бурбонистого исправника или заседателя да двух-трех чиновников, вносящих цвет цивилизации к инородцу посредством взяток, живет несколько сотен обывателей (потомков прежде поселенных казаков) и уголовных ссыльных, десятков рыбопромышленников и скупщиков пушнины — отчаянных грабителей-кулаков, содействующих всеми силами вымиранию инородцев и уничтожению зверя и рыбы, и обязательно несколько человек неуголовных ссыльных. Без десятка-другого таких невольных туристов немислима никакая сибирская дыра, и чем она тущобистее и отдаленнее, тем больше шансов встретить в ней нескольких подобных молодых людей «без определенных занятий».

Что же они там делают?

Этот вопрос невольно напрашивался после того, как мы миновали Сургут, захолустный городишко, брошенный в обских тундрах (под $61^{\circ}14'$ и $90^{\circ}50'$ долготы) и отрезанный зимой от божьего мира. Об этом «центре» мы слышали от бывавших там людей, самого же его не видали, так как к самому Сургуту, построенному не на Оби, а на притоке ее, речке Бардаковке, пароходы не подходят. Пароходная пристань находится верстах в десяти от городка.

В числе пассажиров нашелся один, который мог дать более или менее обстоятельный ответ на заданный вопрос. Это был господин лет за сорок, с умным и симпатичным лицом, возвращавшийся из Нижнего, куда он ездил по торговым делам. Специально «купеческого» не было ничего ни в его манере, ни в его речи, — и фигура и разговор обличали интеллигентного человека. Оказалось, что он случайный сибирский житель. Попал он в Сибирь в 1865 году, двадцати лет от роду, со второго курса университета, замешанный в какое-то политическое дело, и, в качестве молодого человека без определенных занятий, жи-

вал во многих сибирских дырах, передвигаясь постепенно с дальнего востока на запад. Затем, когда по манифесту ему были возвращены все права*, он получил определенные занятия в одном сибирском торговом доме. Семья помешала ему возвратиться в Россию.

Вот этот-то сведущий человек, сохранивший, несмотря на многие испытания судьбы, не только бодрость духа и здоровье, но и веселость характера, жил, между прочим, года три и в Нарыме, который, по его словам, еще хуже Сургута.

— Жутко приходилось, — рассказывал он. — Общества никакого, занятий в Нарыме никаких приискать нельзя, — какие там могут быть занятия?

— И что же вы делали?

— Да ничего не делал. Ходил на реку, ездил на рыбную ловлю, изучал быт остяков, кое-что почитывал, коли попадались книжки... Бывал на именинах у местных тузов из купцов и обязательно с ними пьянствовал. Заседатель еще, по счастью, человекоподобный попался, хотя и пил запоем, но без толку не отравлял жизни; а вообразите себя в таком

захолустье да в полной зависимости от какого-нибудь пьяного, еле грамотного, глупого зверя, воображающего, что его задача состоит в том, чтобы доконать человека бессмысленными придирадками. А ведь и такие попадались... Мы были со своим начальством, впрочем, в отличных отношениях... Вдобавок он во мне нуждался...

— Как так? — заинтересовался я.

— А я за него писал годовые отчеты по управлению Нарымским краем. Как, бывало, наступит время посылать в губернский город материал для составления общего отчета по губернии, мое начальство ко мне... Плох он был в грамоте...

— Как, вы, ссыльный, писали административные отчеты? — расхохотался я.

— Это здесь не редкость! Иной исправник совсем не умеет связать нескольких предложений, а отчета требуют... Кто ж напишет, коли в каком-нибудь сибирском городке иногда нет ни одного, буквально ни одного грамотного человека? Ну, и просит помочь случайного грамотного жителя... В наше время и обыватели не сторонились и вообще как-то

мирнее было.

— А после разве хуже стало?

— Больше бесполезных придировок... Ну, куда, скажите, вы убежите из какого-нибудь Нарыма?.. А бывают такие начальники, которые не пускают вас за город... И обыватель, под давлением такого начальства, обегает... никакого занятия не дает и в большом городе, где есть возможность что-нибудь заработать. И живи, как знаешь, на шесть рублей месячного казенного пособия... Шибко бедуют... Уроков давать нельзя, практиковать врачу нельзя... Один вот приехал с женой в Тюкалу, так стал вывески писать... Другой стекла вставлял... Так много ли вывесок-то всех в Тюкале?

— Это вы про политических? — вступил в разговор бывший тут ех-исправник. — Ах, я вам доложу, господа, чистая беда с ними... С одной стороны, боишься, как бы из-за них в ответе не быть, с другой — опять видишь, что человеку, что называется, ни тпру ни ну... Вот тут и разводи бобами... Да вот в Нижне-Илимске был случай... Жил там на покаянии молодой доктор один, с женой. Так, бывало, пойдут на реку да с удочками и сидят. Тем только

и поддерживали себя... А как нарочно в ту пору народ шибко мер, тифы, да скарлатины, да дифтериты, а на целый округ один врач, которого и с собаками не сыщешь. Зовут люди этого самого рыболова-доктора, а он не смеет подать помощь, потому что не дозволено... Приехал я и вижу, что делать нечего... Разрешить не разрешил, а так, знаете ли, на словах говорю: «Лечите, мол, коли хотите, но в случае чего... я не разрешал...» Смеется и обрадовался... Стал лечить, народ и вздохнул, — видит, что помощь есть... Да только блажной какой-то был этот доктор... Большой чудак...

— А что?

— Да как же?.. Мог бы он в те поры деньги заработать, всякий охотно бы ему платил, а он лечил даром... Только с подвального да с богатых и брал плату... Много ли с таких наберешь?.. После, как отбыл свой пятилетний термин и стал в некотором роде свободным гражданином, выехать-то и не на что... Так и остался в Сибири, место городского врача в каком-то городишке, слышал я, получил...

Много еще интересного рассказывали сведущие люди о жизни случайных гостей в Си-

бири, но передавать эти рассказы не стану.

Через неделю этого однообразного плавания с остановками у пустынных берегов для пополнения запаса дров, пароход подошел к нарымской пристани. Самый Нарым был в нескольких верстах.

На песчаном берегу островка было несколько построек: маленький домик для пассажиров, пекарня для заготовки хлеба на арестантскую баржу и лавчонка. На берегу собрались местные жители с молоком, яйцами, хлебом и просто в качестве любопытных зрителей. Две дамы в шляпках и с зонтиками в руках, очевидно, принадлежали к нарымской аристократии.

Несколько остяков и остячек сидели на бревнах и апатично глядели на пароход. Другие подъехали на своих челноках с рыбой. Дешевизна рыбы (маленькие порционные стерлядки, например, продавались по семи-восемь копеек) поражала пассажиров, особенно петербуржцев.

Я подошел к группе остяков и заговорил с ними. Только один из них мог ответить по-

русски, да и то с грехом пополам, мешая русские слова с остяцкими.

Тяжелое впечатление производят остяки. Вообразите себе маленькую, неуклюжую фигуру, плоское темно-желтое лицо, узкие гноящиеся глазки и шапку нечесанных, жестких, черных волос на голове. Выражение лица покорно-тупое. Я наблюдал одного остяка. В продолжение четверти часа он сидел неподвижно, бессмысленно устремив глаза в одну точку. Одеты они были в рубахах и портах из самого грубого холста... Ни сапог, ни шапок ни у кого не было.

И местная статистика и свидетельства наблюдателей единогласно подтверждают факт постепенного вымирания этого полудикого народца финского племени. Сифилис и разные эпидемии и грубая эксплуатация, доводящая до нищеты, губят их. Помощи они ниоткуда не имеют. В Нарымском крае, площадь которого занимает 300 верст по Оби и 2000 верст с запада на восток, всего один врач. Сообщения примитивные: летом — на лодках, а зимой — на санях на весьма ограниченном протяжении, главным же образом — на лы-

жах. Понятно, что медицинская помощь бессильна. Нередки случаи и голодовок. «Вот уже несколько лет подряд, как остяки Сургутского округа подвергаются самым ужасным бедствиям. Рыбные и звериные промыслы у них с каждым годом делаются все хуже и хуже, а хлеб дорожает. Остяки впали в крайнюю нищету; между ними появился голод. Рассказывают, что года четыре или пять тому назад среди умиравших от голода остяков дело доходило до людоедства. Кто был посильней, тот хватал слабейшего, убивал его и съедал. В нынешнем году в сравнительно короткое время из ваховских и других остяков умерло от голода, по одним рассказам — 40, по другим — до 70 душ. Все это происходило в виду казенных хлебозапасных магазинов, устроенных в центре остяцких поселений».[41]

В пояснение этого надо заметить, что остяки, звероловы и рыболовы по преимуществу, не занимаются хлебопашеством, да и в том крае мало удобных для того мест. Для продовольствия инородцев устроены хлебные магазины, из которых должна отпускаться мука за деньги, а иногда и в долг, по дешевой цене.

Мера эта, по-видимому, и разумная, не достигает цели. Заведующие этими магазинами вахтера, большею частью из местных казаков, делают возмутительные злоупотребления, вступая в стачку с частными торговцами мукой. Они продают им всю казенную муку, записывая ее проданной инородцам, и эти последние должны поневоле покупать муку и соль у местных русских кулаков по более дорогой цене.

Рыболовство, чем прежде свободно занимался исключительно для себя инородец, давно уже перешло в руки русских кулаков-промышленников, завладевших насилием и обманом лучшими «песками» на Оби, принадлежащими остякам. По свидетельству людей, близко знакомых с делом, эксплуатация инородцев является в грубейшей, возмутительной форме. То же самое проделывается и звероловами. За тяжкий промысел в глухих урманах, где инородец, в поисках белки, медведя и лисицы, рискует ежеминутно жизнью, вознаграждается, разумеется, не промышленник, а скупщик-кулак, у которого инородец всегда в долгу. Спаивание водкой играет

немалую роль при этом.[42]

Остяки официально христиане, но в действительности язычники, исповедующие культ грубого фетишизма. Они поклоняются идолам, обоготворяют камни. Идолы их — грубые человекоподобные фигуры, сделанные из дерева. В старое время, говорят, находили идолов, сделанных из меди и даже из золота. Остяки скрывают где-нибудь в глухом месте тайги своих идолов, боясь, чтобы не проведали русские и не обворовали их, так как остяки приносят жертвы и деньгами.

По словам людей, наблюдавших остяков, они честны, воровство у них почти неизвестно. Их покорно-забитый вид, тупость выражения не должны, однако, свидетельствовать об отсутствии умственных способностей. Они, правда, умственно неподвижны, но инородец-зверолов нередко выказывает немало сметливости и находчивости. Они скрытны и неохотно высказываются; русских недолюбливают. Живут они бедно и грязно. В еде неразборчивы: остяк ест и рыбу, и мясо в сыром виде, не прочь и от крыс.

«Когда режут оленя — в остяцких селениях

торжественное событие. Группа остяков окружает только что зарезанное животное, и лишь его освободят от верхних покровов, как остяки, живо работая острыми ножами, глотают, кусок за куском, теплое сырое мясо, макая его в кровь или запивая ею».

Так описывает остяцкую пирушку г. Павлов, автор небольшой, не лишенной интересных сведений книги: 3000 верст по рекам Западной Сибири, изданной в 1878 году в Тюмени. По словам того же автора, лучшее лакомство остяков — кишки белок, наполненные орехами. Они едятся остяками с величайшим наслаждением.

Сколько мне известно, в литературе имеется весьма мало обстоятельных работ о быте остяков, об их верованиях и обычаях. Очень жаль, что ученые общества не посылают сюда солидных исследователей. Пройдет время, и, пожалуй, остяк исчезнет с лица земли.

XIV

На десятый день мы вошли в Томь. До Томска уже было недалеко. Пассажиры обрадовались: так надоели им однообразное плавание и обычная пароходная жизнь; всем, как

Колумбовым спутникам, хотелось «берега».

Пристать мы должны были не к самому Томску, — к городу пароход подходит только весною, — а к Черемошину, селению верстах в шести от города. Там пароходная пристань и там же бараки для переселенцев.

Уже пристань была в виду, как наш пароход стал на мель*. Провозившись с добрый час, сгрузили часть груза на подошедшие лодки, и только тогда снова двинулись и наконец подошли к пристани.

Через полчаса на двух извозчиках, в сопровождении двух телег с багажом, мы отправились в столицу Западной Сибири. Расположенный на холмистой поверхности, окаймленный зеленеющими лесами, сверкавший куполами своих церквей под лучами заходящего солнца, Томск издалика казался привлекательным городом, и мы все нетерпеливо ждали города, заранее предвкушая удовольствие хорошо выспаться на твердой земле после закуски и чая.

Но, увы! телеги с багажом, которые мы конвоировали, не позволяли нам двинуться с приличною скоростью, вдобавок и эти дрож-

ки-гитары, попавшиеся нам, заставляли удерживать усердие возниц из боязни потерять маленьких пассажиров, еще не приспособившихся к балансированию на этих неудобных орудиях передвижения.

Наконец показались строения, довольно плохонькие. Вот и улица, немощеная, с деревянными мостками по бокам, вместо тротуаров, с низенькими невзрачными деревянными домами. Мои маленькие спутницы почему-то вообразили, что мы не в городе еще, а в предместье, и нетерпеливо спрашивают извозчика: «скоро ли город?» Оказалось, что мы не только в «самом Томске», но даже на главной улице. Я утешал, что дальше город будет лучше, но мы ехали дальше, а город все красивей не делался.

Наконец наш поезд остановился у единственной томской гостиницы. «Ни одного номера! Все, что было, занято под генерал-губернатора!» — сообщил нам выбежавший лакей. Повернули и поехали в номера Войцеховского. «Был один номер, преотличный, да только что заняли!» — утешили нас и там.

Наш кортеж (две телеги впереди и две «ги-

тары» позади) направился, по совету извозчиков, на постоялый двор. Подъехали к воротам. Вхожу на грязный «постоялый двор». Меня встречает сама хозяйка, несколько смахивающая на ведьму, первым делом спрашивает: «чьи вы будете?» и уже потом говорит, что у нее есть лишь одна свободная комната. Осматриваю: комнатка крохотная, кровать без тюфяка, грязь образцовая. Предлагает еще коридорчик на ночь («спокойный коридорчик») и снова, приятно оскаливая зубы, спрашивает: «чьи вы будете и зачем приехали?»

Ответив ей, что я прибыл в Томск для того, чтобы открыть хороший постоялый двор, и повергнув ее в недоумение, я вышел за ворота и устроил с извозчиками маленькое совещание, куда теперь направиться? В этом митинге приняли участие и двое прохожих, вмешавшиеся в наше дело, но ничего путного не присоветовавшие.

Решили ехать на другой постоялый двор. «Там хоть и не очень чтобы чисто, а верно номера есть!» — советовали оба извозчика, выражаясь об этом дворе с видимою осторожностью.

Тронулись. Опять едем по той же улице (мы ее в этот вечер основательно изучили), доставляя скучавшим томичам даровой спектакль. А маленькие наши спутницы уже начинают зябнуть в своих летних ватерпруфчиках, пробыв часа два, если не все три, на воздухе, который в этот вечер не отличался теплотой. Уже начинает темнеть, когда наш поезд остановился у постоялого двора в одной из боковых улиц. И там ничего нет: все занято извозчиками-обозниками.

Этот ответ несколько смутил нас. Не ночевать же на улице! Советуют ехать на третий постоялый двор в одной из больших улиц. Снова выехали на злополучную большую улицу. Все молчаливы и смущены, как вдруг из ворот одного дома нас поманили: «Стой!» Остановились.

Какой-то черкес подошел и сказал, что в этом доме есть комнаты, можно пристать. Оказалось, что этот черкес (из ссыльных, конечно) был кучером и дворником.

Я уже не осматривал комнат, а мы все прямо пошли в дом. Любезная и милая хозяйка провела нас в две маленькие комнатки и обе-

щала устроить нас. Не прошло и четверти часа, как уж на столе шумел пузатый самовар, появились булки, масло и сливки, и затем внесли блюдо жареной телятины. Мы имели не только пристанище, но и отличный ужин.

Спасибо милой сибирячке! Она нас действительно устроила и призрела в этот злополучный вечер нашего приезда в Томск с радушием и вниманием, оставившим самое приятное воспоминание.

Матросский линч

I

Клипер медленно подвигался, держась в крутой бейдевинд, под зарифленными парусами. Покачивало-таки порядочно. Шел дождь. Горизонт вокруг затянулся мглой, и по нависшему мутному небу носились черные клочковатые облачки. Ветер дул порывами: то затихнет, то вновь заревет, проносясь заунывным воем в намокших снастях.

Уж целую неделю не выглядывало солнышко, и старший штурман волновался, что нельзя сделать обсервации и точно определить. По счислению, мы считали себя в ста

милях от Гонконга и рассчитывали подойти к нему к полудню следующего дня.

Кутаясь в просмоленные парусинные пальтишки, матросы не отходят от своих снастей, перекидываясь изредка отрывистыми замечаниями о погоде и встряхиваясь, как утки, от воды. Вахта выдалась беспокойная. Приходилось быть постоянно начеку для встречи часто налетающих шквалов.

На мостике, одетые в дождевики, с короткоплыми зюйдвестками на головах, стоят капитан и вахтенный офицер. Капитан совершенно спокоен; молодой офицер несколько возбужден. Первый раз в жизни ему доводится править такую бурную вахту, распоряжаясь самостоятельно. Ему и приятно, и жутко, и в то же время досадно, что капитан часто выходит наверх, словно не доверяя осмотрительности молодого мичмана, считающего себя уже опытным моряком после перехода Атлантического и Индийского океанов.

Капитан, переживавший в молодости точно такие же чувства, отлично понимал состояние юноши-офицера и не вмешивается в его распоряжения, хотя зорко наблюдает за всем.

Особенно часто и пристально всматривается он в горизонт.

Вон там, на склоне неба, что-то чернеет, растет в грозовую тучу и, отделившись от горизонта, серым, быстро движущимся широким столбом приближается к клиперу с наветренной стороны.

Это несется шквал с дождем.

Громким, чересчур громким, слегка вибрирующим голосом офицер несколько рано командует убрать паруса и, стараясь подавить волнение, невольное охватившее его при виде грозного шквала, принимает небрежную посадку лихого, ничего не боящегося моряка.

Паруса взяты «на гитовы» (убраны), и маленькое судно с оголенными мачтами готово к встрече врага, предоставляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

Срывая и крутя перед собой седые гребешки волн, шквал бешено нападает на клипер, охватывая его со всех сторон проливным дождем и мглой. Яростно шумит он в рангоуте, гудит во вздувшихся снастях, кладет судно на бок и несколько секунд мчит его с захватывающей дух быстротой, так что кругом видна

только одна кипящая пена.

Шквал пронесся, и мгла рассеялась. Клипер приподнялся и пошел тише. Некоторые из молодых матросов, преувеличившие в страхе опасность, набожно перекрестились с облегченным вздохом.

Снова раздается звучный голос вахтенного офицера. Снова натягивают паруса, и клипер по-прежнему покачивается с боку на бок на неправильном волнении, легонько поскрипывая своими членами.

— Я поторопился немного убрать паруса, Павел Николаевич? — обращается к капитану мичман, несколько смущенный. Ему кажется, что капитан должен был заметить его трусость перед шквалом.

— Отлично распорядились... молодцом!.. Всегда лучше убрать раньше, чем позднее! — проговорил с обычной приветливостью капитан и, спускаясь вниз, прибавил:

— Если засвежеет — дайте знать... Впрочем, навряд ли засвежеет. Барометр подымается.

В то самое время, как наверху посвистывал ветер и усталые, измокшие под дождем вахтенные матросы мечтали о смене, подвахтенные отдыхали внизу. Время было послеобеденное, и матросы безмятежно спали. Все пространство кубрика и нижней палубы, все укромные местечки около мачт и трубы были заняты лежащими врастяжку людьми. Несмотря на парусинные виндзейли, пропущенные сверху в открытые люки для притока свежего воздуха, в палубе стоял тяжелый запах. Пахло жильем, сыростью и смолой. Громкий храп шести десятков матросов, только что плотно пообедавших, раздавался на все лады из конца в конец.

Не все, впрочем, спали. Некоторые из матросов, «похозяйственнее», воспользовавшись досугом, справляли свои делишки: кто тачал сапоги, кто занимался шитьем. Несколько человек сушили у «камбуза» (судовая кухня) смокшие буршлаты, слушая, как вестовые, перемывавшие тарелки, рассказывали офицерскому «коку» (повару) о том, что господа «нонче очень одобряли» обед.

— Только один Мурашкин фыркал... Он уж

у нас завсегда; что ни подай, все: «фуй» да «фуй»! Одно слово, «фуйка»! — насмешливо заметил один из вестовых.

— Фуйка и есть! — повторили вестовые и засмеялись, видимо довольные прозвищем, которым они окрестили младшего штурмана за его постоянное привередничанье, вызываемое не столько недовольством, сколько желанием показать, что он обладает тонким гастрономическим вкусом.

— На берегу, поди, трескал подошву под соусом из водицы и облизывался, а теперь фордыбачит, — сердито проговорил повар. — И хучь бы толк в кушанье понимал, а то так только... Так прочие были довольны?

— Очинно даже довольны... Старший офицер два раза жаркова накладывал... Скусное, говорит... А дохтур пирожки хвалил... С десятков их слопал Карла Карлыч!

Уютно примостившись у трубы и упираясь босыми ногами в плинтус машинного люка, пожилой рябоватый матрос с серьгой в ухе, с сосредоточенным, строгим видом, облаживал новый парусинный башмак, напевая себе под нос приятным голосом какой-то однообраз-

ный, заунывный мотив без слов. По временам он оставлял работу и, оглядывая со всех сторон здоровенный башмак, любовался им с чувством удовлетворения, выразившимся тихой улыбкой в чертах его загорелого, энергического лица. Затем лицо его снова принимало обычное выражение строгого спокойствия человека, видавшего виды, и он принимался работать и подпевать, ухищряясь искусно строчить, несмотря на качку. Это — Василий Федосеич Федосеев, исправный баковый матрос, пошедший третий раз в «дальнюю», влиятельный среди команды. В знак уважения его все зовут Федосеичем, хоть он и не унтер.

Рядом с ним, лежа навзничь с раскинувшимися по бокам руками, сладко храпел молодой черноволосый плотный матрос Аксенов, из рекрут, первый раз попавший в море. Он был из одной деревни с Федосеичем и в качестве земляка пользовался покровительством бывшего односельца, не забывшего еще деревни и любившего поговорить о ней с молодым матросиком.

Громко всхрапнув, Аксенов вдруг проснул-

ся. Его румяное, здоровое курносое лицо, блеснувшее масляным налетом, улыбалось еще блаженной сонной улыбкой, которая бывает у людей после приятных сновидений. Он потянулся, сладко позевывая и щуря свои большие тюленьи глаза, и, повернув голову, стал смотреть, как Федосеич работает.

— А важные башмаки будут, — промолвил наконец он.

— Чего не спишь? Спи себе, знай, Ефимка! Еще не свистали вставать. Ночью на вахте не разоспишься... Лучше загодя отоспись! — ласковым тоном проговорил Федосеич, не отрываясь от работы.

— Будет... важно выспался... Однако покачивает, — заметил он, присаживаясь.

— Есть-таки маленько... Это кто тебя так, Ефимка? — вдруг спросил Федосеич, увидав под глазом у своего земляка свежий подтек.

— Известно, кто... Все он, черт лупоглазый... боцман!

— Однако здорово он тебя, братец ты мой, звезданул! Ишь ты... Чуть-чуть не потрафь, в самый бы глаз! — продолжал Федосеич, внимательно оглядывая синяк. — За что он тебя?

— Вовсе зря... право, зря! — оживленно заговорил Ефимка, припоминая недавнюю обиду. — Небось знаешь, как он с нашим братом... вовсе обижает... Даром, что приказано народ не бить и господа не дерутся, а он...

— Ты не мели пустова, Ефимка! — строго остановил его Федосеич... — Иным разом, если за дело, нельзя и не съездить... Такая уж его должность... Ты толком-то сказывай: за что?

— Как есть задарма, Федосеич... Просто ни за что. Парус даве, значит, убирали... Ему и покажись, что долго... Он и пошел чесать морды... А я вовсе и не касался паруса-то... Так попуте, значит, меня свистнул... С сердцов...

— Не врешь, Ефимка?

— Чего врать-то... Хучь у ребят спроси... Все видели.

Федосеич помолчал, потом тихо покачал головой и раздумчиво промолвил:

— Куражится Нилыч... Не слушает, что ему люди говорят...

— Совсем озверел нонче... Вечор тоже вот меня огрел по спине, а Левонтьева в морду съездил! — жаловался Ефимка.

Старший офицер, проходивший из подшкиперской каюты в кают-компанию, показался в это время из-за трубы. Он слышал жалобы молодого матроса и, подойдя к нему, спросил, показывая пальцем на глаз:

— Это что у тебя, Аксенов?

Матрос мигом вскочил и застенчиво отвечал:

— Зашибся, ваше благородие!

— Гм... Зашибся?.. — промолвил с улыбкой старший офицер и, не расспрашивая более, пошел прочь.

— Уж этот Щукин! — прошептал он, входя в кают-компанию.

— Это ты правильно, Ефимка! Ай да молодец! Из тебя настоящий матрос выйдет! — одобрял Федосеич. — Что дрязгу-то заводить да кляузничать... Это последнее дело... Мы лучше Нилыча сами проучим, по-матросски! — значительно проговорил Федосеич, понижая голос.

— Боцмана?! Да как его проучишь... боцмана-то? — изумился молодой матрос.

— Уж это не твоя забота, как их учат!.. А ну-кась, примерь, Ефимка! — продолжал Фе-

досеич, передавая Аксенову башмак.

Ефимка обулся, прошел несколько шагов и, возвращая башмак, весело проговорил:

— В самый раз, Федосеич!.. И ноге в нем вольно...

— А главное, как сшито... Ты это погляди, Ефимка!

Ефимка поглядел и нашел, что важно сшито.

— Износу им не будет... Строчка двойная, и на подметке хороший товар. Ужо в Гонконт придем, пустят на берег — оденешь... Да смотри, Ефимка, насчет того, что мы о боцмане говорили, никому не болтай! — внушительно прибавил Федосеич, снова принимаясь за работу.

В тот же вечер Федосеич о чем-то таинственно совещался с несколькими старыми матросами.

III

Гроза молодых матросов, боцман Щукин, коренастый, приземистый, пучеглазый человек лет пятидесяти, с кривыми ногами, обветрившимся красным лицом цвета грязной

моркови и с осипшим от ругани и пьянства голосом, только что прикончил свои неистощимые вариации на русские темы, которыми он услаждал слушателей на следующий день с раннего утра по случаю уборки клипера. За ночь стихло, кругом прояснилось, уборка кончена, и Щукин, заложив за спину свои просмоленные руки, с довольным видом осматривает якорные стопора, предвкушая заранее близость единственного своего развлечения: съехавши на берег, нализаться до бесчувствия.

На эти развлечения старого боцмана смотрят сквозь пальцы ввиду того, что Щукин — знающий свое дело и лихой боцман. И если на берегу он обнаруживает слабости, недостойные его звания, зато на судне держит себя вполне на высоте положения: всегда трезв; боясь соблазна, не пьет даже казенной чарки; исполнительен и усерден, солиден и строг; на службе — собака, ругается с артистичностью заправского боцмана старых времен и тщательно соблюдает свой боцманский престиж.

Увы! Весь этот престиж пропадал, как только Щукин ступал на берег.

Отправлялся он всегда нарядный. Для поддержания чести русского имени он обыкновенно одевал собственную щегольскую рубашку с голландским вышитым передом, поверх которой красовалась цепь с серебряной боцманской дудкой, полученной им в подарок от старшего офицера, — обувал новые сапоги со скрипом, повязывал свою короткую, жилистую, побуревшую от загара шею черной шелковой косынкой, пропуская концы ее в серебряное кольцо; ухарски надевал на затылок матросскую фуражку без картуза, с черной лентой, по которой золотыми буквами было вытиснено название клипера, и брал в руки, больше, я думаю, из национальной гордости, чем из необходимости, носовой платок, который обратно с берега никогда не привозил.

В таком великолепии, тщательно выбритый, с подстриженными короткими щетинистыми усами, посматривая вокруг с видом именинника и не выпуская из рук носового платка, Щукин садился на баркас и, ступив на берег, шел немедленно в ближайший кабак.

С берега Щукин обыкновенно возвращался в истерзанном виде, не вязавши лыка, тихий,

молчаливый и покорный. Случалось, что его привозили в виде тела, со шлюпки поднимали наверх на веревке и уносили в его каюту.

Наутро он снова напускал на себя важность, был еще суровее на вид и, словно в отместку за вчерашнее свое унижение, ругался с большим усердием, чаще ошпаривал линьком подвернувшегося под руку какого-нибудь молодого матроса и в этот день, как говорили матросы, был особенно «тяжел на руку».

Дальше ближайшего от пристани кабака Щукин (по крайней мере, в трезвом виде) не был ни в одном из иностранных портов, посещенных клипером, что, однако, не мешало ему отзываться о них со снисходительным презрением.

— Ничего нет хорошего... Так, слава одна — заграница! — рассказывал он безразлично обо всех чужих землях... — Против наших городов ничего не стоят... И народ не тот... То ли дело наша Россия... Недаром сказано: наша матушка Россия всему свету голова!

Он убежден был в преимуществе России так же непоколебимо, как и в том, что без линька и без боя матроса не выучить и не

«привести в чувство». Эта философия была так твердо усвоена Щукиным, основательно прошедшим в течение двадцатилетней службы прежнюю школу линьков и битья, что, когда в начале нашего плавания было приказано боцманам и унтер-офицерам бросить линьки и не драться, — Щукин не верил своим ушам.

— Это как же теперче... Не смей и проучить человека?.. Какой же после этого я буду боцман, если не могу дать по уху! — ворчал он, беседуя с унтер-офицерами на баке. — Чудеса пошли... Прежде этого на флоте не было!

В конце концов он порешил, что все эти новые порядки — одно баловство; нельзя матросу жить без страха, и, несмотря на приказание, нередко-таки учивал людей по-своему, так что молодые матросы боялись боцмана, как огня. Уже несколько раз Василий Иванович грозил Щукину, что его разжалуют, если он будет свирепствовать. Щукин, молча насупившись, выслушивал, крепился день-другой и снова дрался, хотя и не с прежнею откровенностью, а так, чтоб не заметили офицеры.

— Ой! Нилыч, не куражься... Не обижай

людей зря! — нередко говорили ему в начале плавания старые матросы, пьянствуя вместе с боцманом на берегу. — Боцман ты — надо правду говорить — хороший, но только без толку мордобойничаешь... Ты это оставь, Нилыч...

— А я что же, по-вашему... кляузы заводить должен, что ли?.. За всякую малость жаловаться?.. Ни в жисть на это не пойду... я, братцы, коренной матрос!.. В старину небось боцмана кляузами не занимались... На своего брата не жаловались... Сами учивали... Если драться с рассудком — никакой вреды нет... Это верно я вам говорю.

— То-то ты иной раз без рассудка дерешься, Нилыч...

Щукин обещал драться с рассудком и скоро нализывался вместе, раскисая от вина, со своими советниками.

Возмущенный новыми порядками, введенными на клипере, старый боцман слегка фрондировал, посмеиваясь над ними, и любил вспоминать, как прежде «учили нашего брата» и какой от того был во флоте порядок. Увлекаясь этими воспоминаниями, он не без

красноречия рассказывал иногда в интимном кружке историю своих двух вышибленных передних зубов, как бы доказывая собственной особой справедливостью взгляда, что если «бить с рассудком, то вреда не будет».

Достоин удивления было то, что о виновнике крушения своих зубов Щукин вспоминал с самою любовною и почтительною восторженностью, с какою обыкновенно вспоминают о людях, не вышибающих по меньшей мере зубов. Но в глазах Щукина этот самый командир Василий Кузьмич Остолопов («царство ему небесное!») был именно каким-то недостижимым идеалом и олицетворением всех совершенств и качеств, необходимых, по мнению боцмана, настоящему начальнику. Рассказывая о нем, Щукин даже приходил в пафос, создавая из покойника какое-то мифологическое божество матросского Олимпа.

— Одно слово... лев был! — восторгался Щукин, теряясь в эпитетах. — Выйдет это он, бывало, наверх, так всякий чувствует... Взглянет — орел! Или, например, паруса крепить... У него, братец ты мой, положение было, чтобы в три минуты, а ежели на один секунд поз-

же на каком-нибудь марсе, сейчас всех марсовых вниз и на бак... Как всыпят всем по ступиньков, небось в другой раз не опоздаешь!.. И работали же у нас на «Фершанте»![43] Первым в эскадре корабль был... Работа горела... Не матросы, а черти были... летом летали... У него, чтобы матрос ходил с прохладцей — нет, брат!.. Он все наскрозь видел... Стоит это на юте, заложив за спину руки, да как вдруг заметит неисправку — сам несется на бак грозой и давай чесать... Раз, два, три!.. Одному в ухо, другому, третьему, да как отчешет десятка два, будешь, голубчик, помнить. Шалишь!.. И рука ж была у него!.. Ка-а-а-к саданет — в глазах пыль с огнем — и морду вздует... Знали его руку-то!.. — с восторгом говорил Щукин, показывая наглядно, какая у Остолопова была рука. — Зато насчет службы, насчет чистоты и был порядок. Матрос на корабле в струне ходил, остерегался... Офицеров боялись, боцманов боялись, не то что нонче... Ты ему слово, а он тебе два. Книжек этих для грамоты небось не раздавали, матрос жил в страхе, не умничал... почитал как следует начальство... А спустили тебя на берег, гуляй, зна-

чит, вовсю, — взыску не было. «Никак, говорят, без этого невозможно российскому матросу, чтобы он да за свои труды на берегу не нахлестался вздрембезги!» И стоит, бывало, наш Василий Кузьмич да приветно усмехается, глядячи, как пьяную матрозню, ровно баранов, с баркаса поднимают на гордешке... Небось он в том сраму не видел!.. Не то, что как нонче прочие другие командиры, — угрюмо прибавлял старый боцман, пуская шпильку по адресу нашего капитана.

— Он с большим умом был, Остолопов-то наш!.. — восторженно продолжал Щукин... — Понимал, что матросу лестно покуражиться на сухом пути... Ну, и сам не брезговал напитками... Любил!..

— Многие в старину любили!.. — вставлял, смеясь, фельдшер.

— То-то любили!.. Но только с Василием Кузьмичом никому не сравняться... Он, я вам скажу, и насчет вина черт был! Графина три, а то и четыре за день выдует этой самой марсалы, и хоть бы в одном глазу! Выйдет к вечеру наверх — так только маленечко с лица будто побагровеет, да ругается позатейней... Он

на это выдумщик был!.. Поэтому мы, бывало, и примечали, что орел-то наш намарсалился! А стоит на ногах как вкопанный... глаз чистый... Что уж и говорить! Во всех статьях — орел!..

— А за что он вам, Матвей Нилыч, нанес повреждение действием? — галантно спрашивал, бывало, фельдшер, желая доставить боцману удовольствие: рассказать вновь давно известную всем слушателям историю о двух вышибленных зубах.

При этом вопросе Щукин неизменно оживлялся, и на лице его появлялась заранее улыбка, словно он готовился рассказывать о самом приятном воспоминании в своей жизни.

— За что? По-настоящему мне бы следовало прямо всю скулу своротить на сторону да спину вздуть, а не то что два зуба!.. Вот что мне следовало, если говорить по совести... Свезли, видишь ли, братец ты мой, мы утром, как теперь помню, командира на Петровскую пристань... Он, как водится, прыг с вельбота и на ходу проговорил, в котором, значит, часу за ним приезжать... Мне и послышья, что к шести... я у него вельботным старшиной

был... Ладно. Без четверти в шесть пристаем мы к пристани, глядим, а он ходит по ей взад и вперед да плечиками подергивает: в сердцах, значит, был... Тут я и вспомнил, что как будто он велел не к шести, а к пяти часам быть... Как вошло это в ум, так, братец ты мой, сердце во мне и захолонуло... по спине мураши забегали... Целый ежели час я командира заставил дожидаться... Василия Кузьмича... льва-то нашего!.. Можешь ты это как следует понять, а? Тогда ведь не по-нонешнему: «Виноват — запамятовал!» Тогда, любезный мой, порядок любили форменный... За один секунд, бывало, шкуру спускали, а не то что как ежели целый час!!

На этом месте рассказа Щукин всегда делал ораторскую паузу, как бы для того, чтобы слушатели имели возможность надлежащим образом проникнуться сознанием тяжести его преступления и могли затем еще лучше оценить великодушие покойного капитана.

— Хорошо... Подошел это он к вельботу, поманул меня перстом и отошел в сторону... Вижу: грозен... Я, значит, ни жив ни мертв, к нему. Подошел и смотрю ему прямо в глаза. Он

любил, чтобы матрос ему всегда с чистым сердцем в глаза глядел. А он воззрился на меня, ничего не говорит, да вдруг: бац! бац! Два раза всего-то кулаком в зубы, да так, что быдто цокнуло что-то. А надо тебе сказать, на указательном персте Василий Кузьмич всегда носил брильянтовый супир. От государя императора пожалован. Так самым этим, значит, супирчиком он и цокнул. В глазах — пыль, но только я, как следует, стою, эдак грудью вперед, и весело ему смотрю в зрачки. Жду еще бою! Однако он более не захотел. «Пошел, говорит, собачий сын, на шлюпку!» — и сам следом сел. «Отваливай!» Отвалили. Я изо всей мочи наваливаюсь — гребцы у нас на подбор! — а сам, однако, думаю: «Это, мол, только одна закуска была, какова-то настоящая расправка на корабле будет. Не меньше как два ста линьков прикажет для памяти всыпать!» Вельбот ходом идет, скоро и корабль наш. Он, насупившись эдак, поглядывает на меня, увидал, значит, как изо рту у меня кровь капелью каплет... Хорошо. Пристали к кораблю. Встал и ко мне обратил голову: «Что, спрашивает, целы ли у тебя, у подлеца,

зубы?» — «Не должно быть целы, ваше ваше-скобродие!» Это я ему, потому чувствую, что во рту словно каша. Усмехнулся, — и что бы ты думал?! Заместо того чтобы меня, подлеца, приказать отодрать как Сидорову козу, он, голубчик-то мой, выходя, говорит: «Пей за меня чарку водки, да вперед, говорит, прочищай ухо!» — «Покорно благодарю, ваше вашескобродие!» — гаркнул я в ответ, да тут же и зубы сплюнул в радости. А на другой день призвал меня к себе. «Молодцом, говорит, бой выдержишь, бабства, говорит, в тебе нет, как есть бравый матрос. За то, говорит, я тебя унтерцером жалую. Смотри, не осрами меня!..» И как это он похвалил за мое усердие, так я даже вовсе обалдел. Кажется, прикажи он мне за борт броситься, так я со всем бы удовольствием!.. Вот каков он был! Умел и строгостью и лаской, коли ты стоишь. Старинного веку командир был. Господь и смерть ему легкую сподобил... ударом помер. Играл, сказывали, в карты, маленько нагрузившись, да вдруг под стол... Бросились подымать, а ба-тюшка-то Василий Кузьмич уж не дышит... Царство ему небесное, голубчику! — прибав-

лял умиленный Щукин, осеняя себя крестным знамением.

IV

Утренние работы окончены. Одиннадцатый час на исходе — скоро обедать. В ожидании приятного свиста дудок, призывающих к водке, матросы высыпали на палубу и толпятся на баке, разбившись по кучкам. Только что убрали паруса, и клипер довольно ходко шел под парами навстречу прямо дующему в лоб ветру, мешавшему идти под парусами. Волнение стихало, из-за туч выглядывало по временам солнце, и штурман был доволен: обсервация была взята. Оказалось, что мы будем на месте не ранее вечера.

Усевшись на лапе якоря, боцман, окруженный избранными лицами баковой аристократии: баталером, подшкипером, фельдшером и двумя писарями — рассказывал про китайцев.

— Совсем подлый народ! — говорил боцман, указывая пальцем на встречавшиеся джонки. — Всякую нечисть, шельмы, трескают. И крысу, и собаку, и лягушку, и стрекозу...

что ему ни дай, все жрет... Хлебушка-то у них нету... рис один, они и рады всякому дерьму. И вороваты, канальи... Чуть не догляди — объегорит, даром, что длинноносый. Когда я первый раз ходил в дальнюю на «конверте» (корвете) и были мы в этих самых местах китайских, так раз ночью, братец ты мой, — мы в Шангае стояли — подъехала на шлюпчонке китайская морда — и что бы ты думал?.. Медную обшивку вздумал было, желторожий, отдирать... Уж жиганули же мы его, подлеца! — с веселым смехом рассказывал Щукин... — А пьют сулю какую-то вроде будто водки, из риса гонят... нальет себе, собачий сын, в чашечку с наперсток и куражится... Просто тошно на них, подлецов, глядеть... Одно слово идо-лы!

— Ишь, лупоглазый-то наш зубы скалит! — развязно заметил рыжий, в веснушках, франтоватый матрос из кантонистов, подходя к Аксенову и подмигивая плутоватыми бойкими глазами на боцмана.

— Он завсегда веселый перед берегом.

— Чует, что скоро нахлещется как свинья... А я, братец, о чем хотел было попросить тебя,

Ефимка! — заискивающим голосом продолжал рыжий.

— Ну?

— Дай ты мне в долг доллар, как ежели нас на берег отпустят... Совсем, брат, прогулялся...

Аксенов несколько времени молчал и наконец нерешительно отвечал:

— Ты бы у кого другого взял, Леонтьев... право... Хоцца рубаху купить.

— Глупый ты... Зачем тебе рубаху?.. И тут вовсе нет хороших рубах... Ты рубаху лучше в Японии купишь... Там, — так сказывают, — рубахи!.. Дай, пожалуйста... Через месяц отдам... право отдам!.. — упрашивал Леонтьев.

— И прежние отдашь?

— Все сразу отдам... будь в надежде! — продолжал Леонтьев, глядя жадным взором на потупившегося товарища.

После некоторого колебания Аксенов пообещал, и Леонтьев весело заметил:

— Вот спасибо... Вижу, что настоящий приятель... Ужо погуляем в Гонконте! С Якушкой пойдем... Он бывал здесь.

— Ишь ведь... тоже люди! — дивуется Аксенов, глядя на близко проходившую джонку,

на палубе которой толпились китайцы. — Сколько, подумаешь, разного-то народа у господ! То малайцы были, а теперь китайцы пошли...

— Все один фасон — нехристь дикая! — с равнодушным пренебрежением кинул в ответ Леонтьев, считавший за признак хорошего матросского тона ничему не удивляться... — А ты, Ефимка, дурак! — несколько спустя проговорил он. — Чего вчера, как старший офицер спрашивал, ты не сказал про этого дьявола? По крайности, было б ему на орехи! Будь у меня на морде такая цаца, как у тебя, я беспременно бы сказал: «Так и так, мол, ваше благородие, безвинно через боцмана Щукина пострадал!» А то: «зашибся»!

— Чего жалиться! Ему и так будет! — промолвил Аксенов, стараясь придать себе важный вид.

— Уж не от тебя ли? — рассмеялся Леонтьев.

Аксенову очень хотелось посвятить приятеля в тайну вчерашнего разговора с Федосеевичем, тем более что он и сам хорошо не понимал, на что именно намекал старый матрос.

Он, однако, вспомнил наказ Федосеича не болтать, но, воздерживаясь от искушения, все-таки загадочно прошептал:

— Небось люди проучат!..

— Люди! — передразнил Леонтьев. — Какие это люди? Кто может проучить этого подлеца, кроме начальства?.. Ах, какая ты еще необразованная деревня, Ефимка, как я посмотрю! — с сожалением заметил Леонтьев. — Ударь он меня безвинно, да если со знаком, я бы нарочно на глаза капитану попался... Я бы не так, как ты... небось!.. А то: «люди»!

Аксенов, считавший обращение и ухарские манеры Леонтьева за образец матросского совершенства и старавшийся подражать ему во всем, был задет за живое, что его считают «деревней», и с сердцем возразил:

— Что ж ты-то не жалуешься... Вечор он тебя по уху тоже огрел!..

— То-то... без знаку... я говорю, а ежели бы оказал знак... он бы помнил Леонтьева! — бахвалился матрос, видимо рисуясь и восхищая своими манерами простоватого товарища...

— Эй, послушай, Антонов! — обратился он

к проходившему вестовому старшего офицера, — как у вас слышно, когда в Гонконте будем?

— К вечеру, не раньше! — отвечал на ходу вестовой, спешно направляясь на бак. — Старший офицер вас к себе требует, Матвей Нилыч! — проговорил Антонов, подходя к боцману. — В каюте они...

Щукин оборвал разговор и рысцой побежал вниз. Перед входом в кают-компанию он снял фуражку и вошел туда нахмуренный, осторожно ступая по клеенке. Не любил он, когда Василий Иванович требовал его к себе в каюту. «Верно, опять насчет вина шпынять будет!» — подумал, морщась, боцман, просовывая свою четырехугольную, коротко остриженную рыжую голову в каюту старшего офицера и затворяя за собой двери.

— Ты опять дерешься, Щукин, а? — строго проговорил Василий Иванович, хмурия брови.

Вылупив свои бычачьи глаза на старшего офицера, боцман утрюмо молчал, нервно пошевеливая усами.

— Смотри, Щукин, не выводи меня из терпения... Понял?

— Понял, ваше благородие! — сурово отвечал боцман и хотел было уходить.

— Постой!.. Который раз я тебе говорю, чтоб ты докладывал мне, если матрос провинится, а не расправлялся бы сам? Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие! — еще суровее промолвил боцман. — Но только как вам будет угодно, а за каждую малость не годится беспокоить ваше благородие... Тогда матросы вовсе не будут почитать боцмана! — решительно заявил Щукин обиженным тоном.

— Ты и не беспокой по пустякам, — проговорил, смягчаясь, Василий Иваныч, чувствовавший слабость к старому боцману, — но только не очень-то давай своим рукам волю... Ты любишь это... знаю я. Ну за что ты прибил Аксенова? Полюбуйся, какой у него фонарь... Срам! Ты ведь боцман, а не разбойник! — прибавил Василий Иваныч, снова принимая строгий начальнический тон.

Щукин опять упорно молчал.

— Нагрубил он тебе, что ли?

— Никак нет, ваше благородие!

— Неисправен был?

— Матрос он исправный, ваше благородие!

— Так за что ж ты его прибил, скотина? — воскликнул, вспыхивши, Василий Иваныч.

— Матрос он еще глупый, ваше благородие!.. Не обучен как следует...

— Ну?..

— Для острастки, значит, ваше благородие, чтобы понимал! — проговорил Щукин самым серьезным, убежденным тоном.

— Для острастки подшиб глаз?

— Насчет глаза, осмелюсь доложить, по нечаянности, ваше благородие! — прибавил боцман как бы в оправдание, снова принимая угрюмое выражение.

— Слушай, Щукин! Последний раз тебе говорю, чтобы ты людей у меня не портил! — строгим голосом начал Василий Иваныч, подавляя невольную улыбку. — Ведь стыдно будет, как тебя разжалуют из боцманов?..

Щукин сердито молчал.

— Как ты полагаешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— А дождешься ты того, что узнаешь, если не перестанешь разбойничать. Ступай! — резко оборвал старший офицер.

Боцман исчез из каюты. Когда он поднялся

на палубу, никто и не подумал бы, что его только что «разнесли», — до того важен и суров был вид у Щукина. Только лицо его побагровело сильнее да глаза еще более выкатились.

— Видишь, боцман идет! Посторониться, что ли, не можешь... сволочь! — крикнул Щукин, намеренно задевая плечом Аксенова и поводя на него презрительным взором.

Молодой матрос отскочил в сторону.

— Жаловаться, подлец! — прошептал, проходя далее, Щукин, сжимая кулак и ощущая сильное желание задушить Аксенова в отместку за поступок, недостойный, по мнению боцмана, порядочного матроса.

— Так выучат люди, Ефимка? — подсмеялся Леонтьев.

В эту минуту и сам Аксенов усомнился, чтобы нашлись люди, которые могли бы проучить грозного боцмана.

— Зачем это вас, Матвей Нилыч, старший офицер требовал? — любопытствовал баталер, когда боцман пришел на бак.

— Насчет работ, значит, говорили... — усиленно небрежным тоном отвечал боцман.

— Верно, что к вечеру в Гонконт придем?

— Должно, к вечеру...

— А долго простоим, Матвей Нилыч?

— Еще неизвестно... Об этом у нас разговору не было! — с важностью молвил Щукин и прибавил: — Однако сейчас и обедать... водку несите!

Колокол пробил шесть склянок (одиннадцать часов), и с мостика раздалась команда: «Пробу подать!»

Через минуту кок в белом колпаке и чистом переднике вынес маленький поднос с двумя деревянными чашками, ложкой и сухарем. Приняв поднос, Щукин, сопровождаемый коком, торжественно понес пробу. Кок остановился на шканцах, а боцман, поднявшись на мостик, где в это время, кроме вахтенного офицера, находились капитан и старший офицер, подал пробу вахтенному офицеру, официально приложив растопыренные пять пальцев к виску. С тою же официальностью вахтенный передал пробу старшему офицеру, который в свою очередь подал ее, прикладываясь свободной рукой к козырьку фуражки, капитану.

Взяв поднос, капитан отведал щей и пшенной каши, съел кусок сухаря и, похвалив щи, передал пробу старшему офицеру. Василий Иванович тоже отведал и, передавая пробу вахтенному офицеру, сказал, что можно раздавать вино и обедать. Возвращая почти пустые чашки боцману, вахтенный приказал свистать к водке.

Два матроса с баталером сзади уже несли ендову с ромом, от которого распространился на палубе острый, пахучий аромат, щекотавший обоняние. По обыкновению, шествие сопровождалось веселыми замечаниями и остротами. На шканцах шествие остановилось, и ендову бережно опустили на подостланный брезент. После того два боцмана и все восемь унтер-офицеров стали на шканцах в кружок, приставив дудки к губам, и, по знаку старшего боцмана Щукина, вдруг раздался долгий и пронзительный свист десяти дудок.

— Ишь, соловьи заливаются! — весело замечают матросы, окрестившие этот долгий веселый свист дудок, призывающий к водке, «пеньем соловьев».

«Соловьи» смолкли. Толпа собралась во-

круг енды, и начался торжественный акт раздачи водки.

Баталер со списком в руке, отмечая крестиками пьющих и ставя палочки непьющим[44], выкрикивал громко фамилии, начиная по старшинству: сперва выкликались боцмана, затем унтер-офицеры, потом матросы первой статьи и т. д. В ответ раздавались на разные голоса короткие отрывистые: «яу!» или «яо!», и, выделившись из толпы, матрос подходил к енды, принимая вдруг тот сосредоточенно-строгий вид, который бывает у людей, подходящих к причастию. Сняв шапку, а иногда и крестясь, он зачерпал мерной оловянной чаркой, по объему равняющейся порядочному стакану, ароматного «горлодера» и, стараясь не пролить ни одной капли, благоговейно подносил чарку к губам, выпивал, крякнув, передавал чарку следующему и поспешно уходил, закусывая припасенным сухарем. Если неосторожный проливал вино, из толпы раздавались насмешливые замечания:

— Винцо, брат, не пшеничка: прольешь — не подклучнешь!

Водка роздана. На палубе стелются брезен-

ты. Артельщики разносят баки с дымящимися щами и большие куски горячей солонины в сетках. Небольшими артелями, человек по десяти, матросы рассаживаются вокруг бака, поджав под себя ноги. Перед тем как садиться, каждый крестится. Артельщик, выбранный каждой артелью, начинает резать солонину на мелкие куски, и все дожидаются, не дотрогиваясь до щей. Затем крошево валится в бак, в щи подливается уксус, и матросы принимаются за ложки.

У одного из баков, вблизи грот-мачты, между другими сидели Федосеич, Аксенов и Леонтьев. Старый матрос хлебал щи в молчании, с тою серьезностью, с какой обыкновенно едят простолюдины. Он ел истово, аккуратно, не спеша, заедая щи размоченным в воде ржаным сухарем, и бережно собирал падавшие сухарные крошки. Аксенов весь отдался еде. Глаза его плотоядно блестели, и румяное здоровое лицо покрывалось крупными каплями пота. Он уписывал жирные щи за обе щеки, издавая по временам одобрительные восклицания. После скудного берегового пайка он вволю отъедался на обильном морском до-

вольствию и находил, что «при таком харче умирать не надо».

Леонтьев снисходительно подсмеивался над восторгами «деревни». Щеголяя своим «хорошим тоном», перенятым у кронштадтских писарей, он старался «кушать по-господски»: с некоторой небрежностью и будто нехотя, словно желая подчеркнуть, что он привык не к такой пище и восторгаться какими-нибудь щами считает неприличным. Во время еды он болтал, видимо раздражая своей болтовней старого матроса. Федосеич, недолюбливавший хлыщеватого Леонтьева, хмурился, бросая по временам на него сердитые взгляды, и, когда тот завел было скоромную речь насчет китайнок, Федосеич не выдержал.

— Нашел время язык чесать! — строго заметил он.

— За обедом завсегда можно разговаривать. Это даже вполне благородно...

— За хлебом, за солью пустяков не ври!.. Или вас, кантонищину, этому не учили?..

— Ишь, строгий какой! — тихо огрызнулся Леонтьев и, несколько сконфуженный, замол-

чал.

Примолкли и остальные. Несколько минут только слышно было дружное сюсюканье людей, хлебавших щи.

— Нести, что ли, еще, ребята? — спросил артельщик, когда бак был выпростан и на дне осталась одна солонина.

Никто больше не хотел. Даже Аксенов не выразил желанья. Тогда стали есть крошево, стараясь не обгонять друг друга, чтобы всем досталось мяса поровну.

Когда мясо было выпростано, артельщик пошел за кашей и за маслом.

— И скусная же была солонина! — прибавил, облизываясь, Аксенов.

— Эка, нашел скусного!.. Надоела уж эта солонина! — заметил Леонтьев, щуря глаза. — Завтра, по крайности, хоть свежинка будет.

— Разборчивый ты какой господин у нас. Видно, сладко в кантонистах едал? — насмешливо промолвил Федосеич.

— Небось едал! — хвастливо проговорил Леонтьев.

— Скажи пожалуйста! — иронически вставил Федосеич.

— Я, может быть, самые отличные кушанья едал.

— В казарме, что ли?

— Зачем в казарме? Мы, слава богу, не в одной казарме свету видели! Была у меня, братцы, в Кронштадте одна знакомая, заместо повара у адмирала Лоботрясова жила... Может, слышали про адмирала Лоботрясова? Так придешь, бывало, в воскресенье к кухарчонке — она всего тебе предоставит: и соусу из телячьих мозгов, и жаркова — тетерьки с брусникой, и крем-брулея! Очень нежное это кушанье, братцы, крем-брулей! — продолжал Леонтьев, обводя всех торжествующим взором и, видимо, довольный, что слово произвело некоторый эффект.

— Тарелки, значит, вылизывал? — презрительно вставил Федосеич.

Среди матросов раздался смех.

— Это пусть вылизывает, кто настоящего обращения не знает, а мы, братец, и с тарелок умеем! — задорно возразил Леонтьев.

— Врать-то ты поперек себя толще! — проворчал, отворачиваясь, старый матрос.

— То-то... врать!.. Посмотрел бы, как люди

врут, а мне врать нечего!

Принесли кашу, и все занялись едой. Прикончив кашу, поднялись, помолились и стали прибираться. Когда все отобедали и палуба была подметена, раздался свисток и команда «отдыхать!». По случаю прохладной погоды матросы пошли отдыхать вниз.

Выбрав укромное местечко для себя и для своего любимца, Федосеич принялся доканчивать башмак, а молодой матрос растянулся подле.

— Тоже: «крем-брулей», лодырь эдакий! — произнес вдруг сердито Федосеич. — Небось просил он у тебя денег, Ефимка?

— Просил. Долларь просил.

— А ты не давай. Ему, брехуну, пыли пустить, а тебе деньги нужны. В деревне отец с матерью в нужде живут, им бы прикопил по малости, спасибо скажут... И не вяжись ты лучше с ним, Ефимка! Форцу-то его дурацкого не перенимай! Форцу-то на ем много, а совесть нет... Он молоденьких вас облещивает, чтобы денег выманить... Совсем пустой человек! Слышишь, денег ему не давай! — прибавил внушительно Федосеич.

— Я было обнадежил его, Федосеич!

— Пусть прежде отдаст старых два доларя. А то видит твою простоту и пристаает! Так и скажи ему: Федосеич, мол, не велел! — заключил старый матрос и принялся за работу.

Аксенов стал подхрапывать. В это время мимо проходил боцман. Заметив сладко спящего матроса, из-за которого его «срамил» старший офицер, Щукин вскипел гневом и с сердцем пхнул ногой молодого матроса.

Аксенов проснулся и ошалелыми глазами смотрел на боцмана.

— Ты што на версту протянул лапы? Убери ноги-то! — грозно крикнул Щукин, прибавляя, по обыкновению, целый букет ругательств.

Матрос покорно подобрал ноги.

Федосеич пристально глядел на боцмана, держа в руке башмак, и, с укором покачивая головой, заметил:

— Нехорошо, Нилыч! За что зря пристаешь к человеку...

— А тебя спрашивали? — окрысился Щукин. — Ты кто такой выискался — советчик, а? Молчи лучше, а то как бы и тебе не попа-

ло! — проговорил Щукин и пошел далее.

— Гляди, не поперхнись, Нилыч! — кинул ему вслед спокойно Федосеич.

Щукин сделал вид, что не слышал замечания старого матроса, и хмурый и недовольный побрел в свою каютку.

Федосеич поглядел ему вслед и минуту спустя прошептал, как бы в раздумье:

— Зазнался человек, что вошь в коросте. Впрямь проучить пора!

— Не проучить его! Напрасно только вчера я не пожалился на него. Вишь, как он пристаёт! — жалобно произнес Аксенов.

— Глупый! Небось и не таких учивали! Бог гордых не любит! — успокоительно промолвил Федосеич и, принимаясь снова за башмак, запел свою тихую деревенскую песенку, приятные, твердые звуки которой производили впечатление чего-то необыкновенно хорошего, простого и спокойного.

V

Через три дня первая вахта собиралась на берег.

Матросы выходили на палубу вымытые,

подстриженные, подбритые, в чистых рубахах и новых, спущенных на затылки, шапках. На многих были собственные рубахи из тонкого полотна, шелковые косынки и лакированные пояса с тонким ремешком, на котором висел матросский нож, спрятанный в карман штанов. Все имели праздничный, оживленный вид.

Леонтьев только что вышел снизу, расфранченный, в щегольской рубахе, в обтянутых штанах, с атласным платком на шее, украшенным бронзовым якорьком. Шапка на нем была как-то особенно загнута набекрень, светло-рыжие волосы густо намаслены, усы подфабрены, и весь он сиял, небрежно щуря глаза и, видимо, щеголяя писарской развязностью своих манер. Он искал глазами Аксенова и, увидав молодого матроса, который в эту минуту, улыбаясь довольной улыбкой, любовался своими новыми, только что надетыми башмаками, подошел к нему и хлопнул его по плечу.

— Так как же, Ефимка? Выходит: обнадежил товарища, а теперь, брат, на попятный, а? — проговорил он, отставляя ногу и покру-

чивая усы, чтобы показать свой перстенок с фальшивым аметистом, купленный за шиллинг в Сингапуре.

Аксенов поднял глаза и оглядывал франта матроса, несколько подавленный его великолепием.

— Я ведь сказывал тебе: Федосеич не велит! — уклончиво отвечал молодой матрос, не без зависти любуясь блестящим на мизинце у Леонтьева кольцом.

— Не срамись, Ефимка, право, не срамись! Начальник он тебе, что ли, Федосеич? Разве ты малый ребенок, что не смеешь без Федосеича?.. У тебя, кажется, свой рассудок есть... Дай, голубчик, ведь ты обещал? — заискивающим тоненьким голоском упрашивал Леонтьев, в то время как плутоватые глаза его бегали по сторонам.

— Федосеич не велит! — с упорством повторил Аксенов.

— Вот зарядил: Федосеич да Федосеич! Ты и не сказывай ему, что дал, ежели уж ты так боишься своего Федосеича... Будь приятелем — дай.

— Не проси лучше...

— Так ты взаправду не дашь мне доллера, Ефимка? — спросил Леонтьев, неожиданно меняя тон.

— Сказано тебе: Федосеич не велит. У него и деньги.

— Так после этого ты хуже свиньи, Ефимка! Ужо погоди — вспомнишь!

— Ты чего грозишься-то? Ты прежде мои два доларя отдай.

— Два «доларя»? — передразнил Леонтьев. — Ах ты, деревня неотесанная! — продолжал он, презрительно оглядывая молодого матроса. — Подождешь ты свои два «доларя», ежели ты такую подлость сделал с человеком! Где у тебя расписка, а? — с наглой усмешкой прибавил Леонтьев и отошел прочь, окончательно смутивши молодого матроса.

— Первая вахта становись во фронт! — прокричал вахтенный унтер-офицер.

Матросы пошли строиться. После проверки скомандовали садиться на шлюпки, и через несколько минут баркас и катер, полные людьми, отвалили от борта клипера. По обыкновению разодетый в пух и прах, боцман Щу-

кин сидел на баркасе на почетном месте, весело пуча глаза и деликатно придерживая двумя пальцами клетчатый носовой платок. На баркасе он сбросил свою суровость и не играл в начальника. Обращаясь к сидевшим рядом матросам, он дружелюбным товарищеским тоном рассказывал о достоинствах английского джина и, между прочим, приглашал Федосеича попробовать этого напитка вместе. Однако Федосеич отказался и во всю дорогу сосредоточенно молчал.

VI

К вечеру баркас и катер шли к клиперу, возвращаясь с берега. Приближаясь к судну, шумные разговоры и смех стихли. Шлюпки пристали, и началась высадка. Слегка пошатываясь, выходили подгулявшие матросы на палубу и поскорей пробирались на бак, где шумно делились впечатлениями с оставшимися на клипере. Нескольких пришлось подымать на веревке и в бесчувственном состоянии уносить на палубу и окачивать водой. Наконец поднялся по трапу и Щукин, поддерживаемый сзади двумя более трезвы-

ми ассистентами, и при свете фонарей предстал в самом жалком и истерзанном виде. Лицо старого боцмана было в кровавых подтеках, один глаз вздут, рубаха изорвана, и от шелковой косынки висели одни клочки.

Хотя боцман был очень пьян, однако при входе на шканцы он приложил руку к виску, отдавая честь, и пролепетал: «Честь имею явиться!» Затем его отвели в каюту и уложили.

Гардемарин, ездивший на берег с командой, доложил старшему офицеру, что боцман, сильно избитого, привели на пристань Федосеев и еще два матроса и объяснили, что нашли его в таком виде, случайно зайдя в кабак. Василий Иваныч попросил доктора осмотреть Щукина. Скоро Карл Карлович вернулся и объяснил, что, хотя боцман и «поврежден», но переломов нигде нет, и через день-другой он отлежится.

Тогда Василий Иваныч велел позвать Федосеева.

Старый матрос явился в кают-компанию несколько покрасневшийся от выпитого вина, но держался на ногах твердо. Он подтвер-

дил старшему офицеру то же, что сказал и гардемарину.

— Кто же мог избить боцмана? — спросил Василий Иванович.

— Должно, боцмана помяли англичане, ваше благородие! — тихим и спокойным голосом отвечал Федосеич.

— Какие англичане?

— С купеческих судов англичане, ваше благородие. Их тут есть...

— Почему ты думаешь, что англичане?

— Мы видели, ваше благородие, что Нилыч с ними раньше связался пить шнапсы... Верно, опосля и разодрались...

Василий Иванович покачал головой и отпустил Федосеича.

На следующее утро Василий Иванович сам заглянул в каюту боцмана. Щукин лежал пластом. Все лицо его было обложено компрессами.

При виде старшего офицера старый боцман вскочил.

— Лежи, лежи, Щукин. Где это, братец, тебя так изукрасили?

— Не припомню, ваше благородие! — хму-

ро отвечал боцман.

— Федосеев сказывал, что ты с англичанами дрался?

Боцман на секунду вытаращил удивленно глаза, но вслед за тем с живостью проговорил:

— Дрался, ваше благородие!.. Виноват...

Василий Иванович сразу догадался, что на англичан взвели напраслину, но дальнейших расспросов не продолжал и ушел, пожелав боцману скорей поправиться и впредь с англичанами не драться.

Щукин отлеживался целый день. Был уже вечер, когда в каюту к нему вдруг шмыгнул Леонтьев.

— Кто здесь?

— Леонтьев, Матвей Нилыч!

— Тебе что? — сердито спросил боцман.

— Я, Матвей Нилыч, пришел доложить вам по секрету, потому как я завсегда уважал вас и, кроме хорошего, ничего от вас не видал... Я знаю, кто это с вами так подло, можно сказать, поступил. Я, если угодно, свидетелем под присягу пойду... Это Федосеев всему зачинщик... Я сам слышал, Матвей Нилыч, как

Он...

— Подойди-ка сюда поближе! — перебил его Щукин.

И когда матрос приблизился, боцман вдруг поднялся с койки и со всего размаха закатил здоровую затрещину Леонтьеву, никак не ожидавшему такого сюрприза.

— Вот тебе, подлецу, по секрету! Ах ты, мерзавец эдакий!.. С чем подъехал!

И грозный боцман, охваченный негодованием, снова поднял свой здоровенный кулак, но Леонтьев благоразумно поспешил исчезнуть.

— Ишь ведь, подлый! — прошептал боцман, опускаясь на койку.

После происшествия в Гонконге Щукин, по словам матросов, стал гораздо «легче на руку». Он дрался редко, и если дрался, то с «рассудком». Ругался же он по-прежнему артистически и нередко восхищал самих обруганных матросов неожиданностью и разнообразием своих импровизаций.

С Федосеичем он был в хороших отношениях, и они нередко вместе пьянствовали по-

том на берегу. Зато Леонтьеву доставалось-таки от боцмана. Слух о поступке франта матроса сделался известным, и вся команда относилась к нему недружелюбно.

VII

Несколько лет тому назад я жил летом в Кронштадтской колонии, близ Ораниенбаума.

Гуляя как-то вечером, я зашел на Ключинскую пристань полюбоваться недурным видом на море. Там дожидался щегольской катер с военного судна, а на пристани стояла группа матросов в белых рубахах, среди которой выделялась чья-то низенькая коренастая фигура в измызганном, оборванном куцем пальтишке.

— ...А ты думал как?.. Меньше как по двести линьков у него, братец ты мой, не полагалось порции... В иной день, бывало, половину команды отполирует... Одно слово — орел!..

Этот сиплый, надтреснутый, старческий басок показался мне знакомым, сразу напомнив давно прошедшие времена. Я подошел поближе и в оборванном старике узнал быв-

шего нашего лихого боцмана Щукина. Он сильно постарел. Испитое бурое его лицо было изрезано морщинами и заросло седой колючей бородой. Потускневшие глаза еще более выкатились. Платье на нем было самое жалкое, сапоги дырявые, и старая матросская шапка, надетая по старой привычке на затылок, была какого-то вылинявшего вида.

— Или взять теперь боцманов... Рази теперь боцмана?! Шушера какая-то, а не боцмана! — продолжал, оживляясь, Щукин. — Один срам... Чуть что — сейчас фискалить на матроса, если матрос не даст ему рупь-целковый... Тьфу! Или теперя матрос... Какой он матрос?... Ему только и мысли, как бы под суд не попасть... Напился — под суд! Портянки паршивые пропил — под суд! Сгрубил ежели — под суд! Это небось порядки?..

Щеголеватый молодой унтер-офицер, слушавший lamentации Щукина с снисходительной улыбкой, с важностью заметил:

— Нонче другие права... При вас закону не было, а теперь на все закон...

— Закон?! — презрительно выпячивая губу, повторил Щукин. — А что фитьфебеля у

вас нонче от матросов деньги берут да при часах ходят — это закон?! Выйдет это он: фу-ты на! Павлин, да и только... «Вы да вы», а от матроса рыло воротит — в господу лезет... Форцу-то много, а если прямо сказать, так одно слово шильники!.. Нет, братец ты мой, ежели ты боцман, ты учи матроса, бей его с рассудком, но только и совесть знай... А то из-за портянок ежели человека несчастным сделать — это закон?! Или ежели за всякую малость на матроса жаловаться, — это, по-твоему, закон?!. Нет, брат, это не закон... Это — тьфу!.. — энергично окончил старик, сплюнувши и выходя из кружка.

— Здравствуйте, Щукин! — проговорил я, подойдя к старику.

Щукин оглядывал меня, видимо не узнавая. Я назвал себя.

— Вот где довелось встретиться, ваше благородие! — радостно приветствовал меня Щукин. — Вы, значит, вышли из флота?

— Вышел.

— Да и какой теперь флот, ваше благородие! Вы вот спросите: умеет ли он брамсель крепить... так он и брамсель-то не видал, а то-

же матросом называется... Ишь ведь, твердые они нонче какие! — насмешливо прибавил старик, кивая на матросов. — А унтер-то у них?.. При цепочке... деликатного обращения... все больше чай с алимоном... Другой народ пошел, ваше благородие!..

— А вы чем занимаетесь?

— А сторожем здесь, при кладбище, да вот пристань караулю, чтоб не сбежала... Спасибо, исхлопотал мне это Василий Иванович... Он не забывает старого боцмана... заместо отца родного... Вот вышел окуньков половить... С десятков уж наловил, ваше благородие...

— Выпить-то ему не на что, вот он и ловит окуней на сорокоушку! — насмешливо проговорил унтер-офицер, приблизившись к нам.

— Небось у тебя не прошу, у сволочи! — сердито отвечал Щукин и пошел к своей удочке.

Я купил у Щукина окуньков, и он мгновенно удалился. Через четверть часа он снова явился на пристань совсем охмелевший, и скоро в вечерней темноте снова раздавался его пьяный, осипший голос:

— Одно слово — лев был... Рука — во!.. У

нас на «Фершанте» в три минуты марсея меняли... А ты?.. Какой ты унтерцер? Тебе бы только компот в штанах варить, а не то что как прежде бывало... Или когда мы на клипере взаграницу ходили... Небось служба была... Василий Иванович понимал, какой я был боцман... У меня — шалишь, брат...

Комментарии

Отмена телесных наказаний*

Впервые напечатано в сборнике «Из кругосветного плавания. Очерки морского быта», СПб., 1867.

Согласно указу от 17 апреля 1863 года телесные наказания на военных судах могли применяться как дисциплинарное взыскание только по суду. В статье, помещенной в «Морском сборнике» (1863, № 5), Станюкович писал: «С радостью могу печатно сказать, что во время всей моей службы на корвете „Калевала“ (с октября 1860 г. по август 1861 г.) телесное наказание ни разу не было употреблено и, несмотря на то, наша команда знала свое дело отлично; она была старательна, а главное — отлично понимала слова, в противность убеждению некоторых (к стыду) господ на эскадре, кои, в насмешку называя г. Давыдова „филантропом“, утверждали, что подобное обращение еще не своевременное, что матросу совсем без линька и жизнь не в жизнь». О командире «Калевалы» капитан-лейтенанте В. Ф. Давыдове Станюкович

писал домой с острова Явы 18 марта 1861 года: «Наш капитан принадлежит к кружку немногих современных порядочных капитанов, которые, изгнав линек из употребления, действуют на матрос убеждением... Он много заботится о них, роздал им азбуки, так что каждый день от 2 до 4-х часов после обеда по всей палубе раздаются ретиво произносимые матросами: буки аз ба, веди он во и т. д.» («Литературный архив», VI, Л., 1961, с. 437).

Кантонист — так в крепостной России называли солдатских и матросских детей, с самого рождения прикрепленных к военному ведомству и воспитывавшихся в особой школе; по ее окончании их обычно на 20 лет зачисляли на военную службу.

От Бреста до Мадеры*

Впервые — в журнале «Эпоха», 1864, № 9, под названием: «Глава из очерков морской жизни». Для сборника «Из кругосветного плаванья», СПб., 1867, рассказ был подвергнут значительной стилистической правке и получил окончательное название.

В рассказе Станюкович использовал материалы своих писем домой из кругосветного плавания (см. «Литературный архив», VI, Л., 1961, стр. 421–464).

Брест — город и порт на западном побережье Франции.

Мадера — группа островов в Атлантическом океане близ северо-западных берегов Африки.

Эспланада — здесь: незастроенное пространство между крепостью и ближайшими городскими постройками.

Киль — немецкий город и порт, расположенный у входа в Кильский канал со стороны Балтийского моря.

Бревзен — правильно: Грейвзенд — город на восточном побережье Англии.

Жако — правильно: жабо (франц.) — полотняный стоячий воротник мужской сорочки, выходящий из-за галстука по обе стороны; так называются и кружевные или кисейные оборки на груди сорочки у ворота.

Сертификат (франц.) — удостоверение,

письменное свидетельство.

Немецкое море — другое название Северного моря.

Матрос из кантонистов. — *Кантонист* — так в крепостной России называли солдатских и матросских детей, с самого рождения прикрепленных к военному ведомству и воспитывавшихся в особой школе; по ее окончании их обычно на 20 лет зачисляли на военную службу.

Бюветка — небольшой трактир, буфет (франц.).

Миколин (Николин) день — празднуется 9 мая и 6 декабря по ст. стилю.

Червонный валет*

Впервые — в журнале «Дело», 1877, №№ 4–5, с подзаголовком: «Из современных нравов».

Рассказ, по словам Станюковича, был написан по «горячим следам» уголовного процесса над «Червонными валетами» — молодыми авантюристами из привилегированных слоев общества.

...генерал достопамятной крымской эпохи... — Имеется в виду Крымская война 1853–1856 гг.

...после каждого прихода в темный, мрачный кабинет с пожеланиями доброго утра и доброго вечера мальчику переменяли панталончики. — Подобная ситуация описана в VII главе рассказа «Грозный адмирал» (том 3 наст. издания).

...этого Вениамина семейства... — т. е. младшего и любимейшего сына. Вениамин — младший и самый любимый сын библейского патриарха Иакова.

Три листика — название карточной игры; *марьяж* — термин карточной игры, обозначающий совокупность двух карт — короля и дамы.

...Валансьены — кружева (франц.); здесь: сорочка, отделанная кружевами.

...в город С. — Речь идет о Севастополе.

Неофит — новый приверженец какого-либо учения.

Военная гроза надвигалась все ближе и ближе. — Оборона Севастополя началась 13 сентября 1854 года и продолжалась по 28 августа

1855 года.

Кадет — в дореволюционной России — воспитанник закрытого среднего военно-учебного заведения.

Корпия — перевязочный материал из разной нитяной ветоши, хлопковой или льняной.

Эльдорадо — легендарная страна, богатая золотом и драгоценными камнями.

Звезда Белого Орла — польский орден, с 1831 года вошедший в состав российских орденов.

Звезда Александра Невского — орден, учрежденный в Россия в 1725 году для награждения офицеров и генералов за военные отличия.

Представляю кормовые... — По тогдашним законам кредитор обязан был содержать на свой счет, т. е. выплачивать «кормовые» должнику, находящемуся в заключении («долговая яма») по его иску.

...реформа дала ему выкупные... — т. е. деньги, причитающиеся землевладельцам по «Положению о крестьянах...», подписанному Александром II 19 февраля 1861 года вместе с

манифестом о реформе.

Гласный суд — суд присяжных, введенный судебной реформой 1862–1864 гг. Назывался гласным между прочим и потому, что судебное разбирательство происходило в нем в присутствии публики.

Кухмистерские — небольшие столовые.

Оригинальная пара*

Впервые — в журнале «Дело», 1877, №№ 7–8.

Шамбр-гарни — меблированные комнаты (франц.).

Паска (1835–1914) — французская актриса. С 1870 по 1876 год играла на сцене Михайловского театра в Петербурге.

Когда-то я спешил надеть шлем, но вместо него надел на голову таз, который гораздо более подходит к моей фигуре. — Первущин намекает на свое сходство с героем романа Сервантеса Дон Кихотом, принявшим, как известно, бритвенный таз за драгоценный шлем Мамбрина.

Сирена — в древнегреческой мифологии —

морская нимфа, своим пением привлекающая моряков в опасные места; в переносном значении — обольстительница.

Шарлота Корде (1768–1793) — французская монархистка, убившая одного из вождей якобинцев, Ж.-П. Марата. В либеральных кругах считалась идеалом героической, самоотверженной женщины.

...в нескольких шагах от Бореля... — т. е. популярного петербургского ресторана.

Маклак (устар.) — посредник при мелких торговых сделках, перекупщик.

Петербургские карьеры*

Агафья

Впервые — в газете «Петербургский листок», 1868, №№ 2, 3, 4, под названием: Петербургские карьеры. Очерк I. «Агафья Тверская». Для сборника «В людях. Повести, очерки и рассказы», СПб., 1880, очерк был подвергнут стилистической правке и получил окончательное название.

Дебаркадер — станционная платформа, у которой останавливается поезд.

Степа

Впервые — в газете «Петербургский листок», 1868, № 8, под названием: «Петербургские карьеры. Очерк II. Степа». Для сборника «В людях» был подвергнут стилистической правке. В Собрание сочинений (изд. А. А. Карцева) не вошел.

Ужасная болезнь*

Впервые — в журнале «Пчела», 1878, № 3.

Непонятный сигнал*

Первоначальный вариант рассказа, носивший название «Адмиральский гнев», был напечатан в сборнике «В людях», СПб., 1880. Для сборника «Моряки», СПб., 1891, рассказ был существенно переработан и получил окончательное название.

Боа — удав; с давних пор считается, что он обладает способностью гипнотизировать свою жертву.

Павел Степанович Нахимов (1802–1855) — великий русский флотоводец, адмирал, один

из организаторов героической обороны Севастополя, с октября 1854 года (после гибели В. А. Корнилова) ее руководитель. 28 июня 1855 года смертельно ранен.

Владимир Алексеевич Корнилов (1806–1854) — выдающийся русский военно-морской деятель, вице-адмирал, один из организаторов героической обороны Севастополя. Погиб 5 октября 1854 года.

Шенкель — обращенная к лошади часть ноги всадника от колена до щиколотки.

На уроке*

Впервые — в журнале «Искра», 1869, № 6.

Томпаковая мель — специальный сплав меди с цинком, разновидность латуни, применяемая для производства хозяйственных предметов.

Тальма — женская длинная накидка без рукавов.

«У бурмистра Власа...» — из стихотворения Н. А. Некрасова «Забытая деревня» (1855).

Елка*

Впервые — в сборнике «В людях», СПб., 1880.

Эспаньолка — короткая остроконечная бородка.

Сорокоушка (устар.) — бутылка водки, составляющая 1/40 часть ведра.

Из-за пустяков*

Впервые — в журнале «Дело», 1881, № 8.

Аркольская битва. — Арколе — селение в Северной Италии на левом берегу реки Альпоне, где во время Итальянского похода Бонапарта в 1796–1797 гг. произошли бои между французской и австрийской армиями.

Кульмский крест — прусский орден, учрежденный в память победоносного сражения союзных армий, куда входили и русские войска, с Наполеоном при Кульме в августе 1813 года.

Мария Стюарт (1542–1587) — шотландская королева, казненная по обвинению в заговоре против английской королевы Елизаветы.

...графу Толстому — Граф Дмитрий Ан-

дреевич Толстой (1823–1889), в 1866–1880 гг. — министр народного просвещения. В 1871 году провел реорганизацию среднего образования, заключающуюся в значительном усилении преподавания латинского и греческого языков в гимназиях, причем только воспитанникам классических гимназий было предоставлено право поступать в университет. Реальные гимназии были преобразованы в реальные училища.

...заимствуете их на Сенной... — т. е. на рынке, который располагался на Сенной площади.

Беглец*

Впервые — в журнале «Северный вестник». 1886, № 10, за подписью: М. Костин. Этот рассказ неоднократно запрещался к переизданию (1895, 1898, 1901 гг.). Причиной запрещения цензоры называли впечатление, которое «должен получить от чтения... малообразованный читатель: в России жить тяжело, в особенности народу, его теснят, бьют, всюду царит неправда, беззаконие» (Цит. по кн.: В. П. Вильчинский. Константин Михайлович

Станюкович. Жизнь и творчество, М.-Л., 1963, стр. 240).

...дело было во время междуусобной войны... — Имеется в виду гражданская война в США 1861–1865 гг.

Концурь — искаженное консул.

Президент-то ихний — дровосеком был... — Имеется в виду Авраам Линкольн (1809–1865), который прежде, чем быть избранным в президенты США (1860–1865 гг.), работал поденщиком, плотником, лесорубом, землемером и т. д.

Архангельские поморы — жители беломорского побережья, традиционно придерживавшиеся старообрядчества беспоповщинского толка.

Начетчица, начетчик — у старообрядцев — человек, начитанный в богослужебных книгах печати до реформы XVII века и их толкователь.

...телесные наказания отменены. — См. прим. к рассказу «Отмена телесных наказаний».

В далекие края*

Впервые — в журнале «Русская мысль», 1886, №№ 1, 2, 4, 12, с подзаголовком «Путевые наброски и картины», за подписью Л. Нельмин (псевдоним).

21 апреля 1884 года, по возвращении из кратковременной поездки за границу, Станюкович был арестован за связь с русскими политическими эмигрантами и публикацию в журнале «Дело» (с 1883 года он стал редактором и владельцем журнала) статей, авторами которых были деятели революционного движения. После годичного тюремного заключения в начале лета 1885 года писатель вместе с семьей выехал в административную ссылку в Томск. Впечатления от этого вынужденного путешествия и легли в основу очерка.

...в страну... классического «Макара»... — Имеется в виду русская поговорка: «Туда, куда Макар телят не гонял».

Бедекеры. — Карл Бедекер — составитель путеводителей. Здесь это имя употреблено как нарицательное.

Суворинский календарь — известный «Рус-

ский календарь», издававшийся с 1872 года А. С. Сувориным и содержащий разнообразные сведения исторического, географического и статистического характера.

Ободовский, Александр Григорьевич (1796–1852) — ученый-географ, педагог. Автор популярных учебников.

Кастрен, Матиас-Александр (1813–1852) — лингвист, этнограф, занимался исследованиями Архангельской и Тобольской губерний. В 1860 году было издано «Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, Северной России и Сибири».

Паллас, Петр-Симон (1741–1811) — ученый-натуралист, автор «Путешествия по разным местам Российского государства», СПб., 1786.

Гумбольдт, Александр (1769–1859) — естествоиспытатель и путешественник, автор классических трудов по географии Азии, в том числе «Путешествия барона Александра Гумбольдта, Эренберга и Розе в 1829 году по Сибири и к Каспийскому морю». СПб., 1837.

Макк (Маак), Ричард Карлович (1825–1886) — географ и натуралист, исследо-

ватель Сибири и Дальнего Востока.

Щапов, Афанасий Прокопьевич
(1830–1876) — общественный деятель, историк, автор работ по истории сибирского старообрядчества.

Ровинский, Павел Аполлонович
(1831–1916) — путешественник и писатель. Его этнологические исследования о Сибири печатались в «Известиях Сибирского отдела русского географического общества» в 1870–1872 гг.

Ядринцев, Николай Михайлович
(1842–1894) — общественный деятель, публицист, путешественник, автор монографии «Сибирь как колония», СПб., 1882.

Потанин, Григорий Николаевич
(1835–1920) — путешественник и историк, автор известных «Материалов для истории Сибири».

...в изданиях сибирского отдела географического общества... — Восточно-Сибирское отделение русского географического общества было учреждено в 1851 году, в 1877 году в Омске было открыто Западно-Сибирское отделение. Основные повременные издания: «Изве-

ствия Сибирского отдела русского географического общества» и «Ежегодник» того же отдела.

...в положении... щедринского генерала на необитаемом острове. — Имеется в виду сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869).

...сопоставить... с отзывами... Шашкова. — Имеется в виду статья С. С. Шашкова «Сибирское общество в начале XIX века», напечатанная в 1879 году в журнале «Дело».

«Сибирь» — газета, выходившая в Иркутске с 1873 по 1887 год.

«Сибирская газета» — выходила в Томске с 1881 по 1888 год. Находясь в ссылке, Станюкович был одним из активных сотрудников газеты. С 1885 по 1888 год в ней печатались его очерки, фельетоны (например, «Торжество чумазого», № 49, 1886; «Осажденный город», № 47, 1886), сатирические стихотворения, обличительный роман «Не столь отдаленные места» (1886). Под псевдонимом «Старый холостяк» писатель опубликовал здесь цикл очерков «Сибирские картинки».

Ярыжка — низший чин служащего в приказе.

Судебная реформа уже введена... — Гласный суд — суд присяжных, введенный судебной реформой 1862–1864 гг. Назывался гласным между прочим и потому, что судебное разбирательство происходило в нем в присутствии публики.

...червонных тузов и валетов... — т. е. уголовных преступников.

Остяк. — Остяки — прежнее собирательное название нескольких народностей Сибири: хантов, кетов и др.

Самоед (устар.). — Самоеды — название ряда народностей северо-востока России и Сибири: ненцев, нганасан и др.

Гасконцы — жители одной из провинций Франции, прославившиеся находчивостью, храбростью, склонностью к преувеличениям и хвастовству.

Шаньга (диал.) — род ватрушек или лепешек, смазанных маслом, сметаной, медом.

Аркадия — традиционный образ страны райской невинности и патриархальной простоты нравов.

Екатеринбург — ныне г. Свердловск (с 1924 года).

...чичиковские слова генералу Бетрищеву: «Терпением, можно сказать, повит и спеленат, будучи, так сказать, одно олицетворенное терпение, ваше превосходительство!» — Неточная цитата из второй главы II тома «Мертвых душ». У Гоголя: «На терпенье, можно сказать, вырос, терпеньем воспоен, терпеньем спеленат, и сам, так сказать, не что другое, как одно терпенье».

Ламентации — жалобы, сетования (лат.).

Николаевская дорога — строилась с 1837 по 1851 год. Ныне — Октябрьская железная дорога.

...классические Держиморды... — Держиморда — полицейский из комедии Гоголя «Ревизор».

Винт — карточная игра, в которой обычно участвуют четыре человека.

...услышите веселые замечания насчет «кукушки и ястреба»... — Имеется в виду русская поговорка «менять кукушку на ястреба».

Нижний — прежнее (до 1932 г.) название г. Горького.

...из номеров Ечкина... — меблированные комнаты Ечкина (бывшие Ломакина) находились на Трубной площади в Москве.

...вокзал Нижегородской железной дороги... — ныне Курский вокзал в Москве.

...вроде старого «юса» из управы благочиния. — Юс — приказный, подьячий, законник.

Гиер (Иер) — город во Франции на побережье Средиземного моря.

Бутарь — будочник, городской (простореч.).

Ватерпруф — непромокаемое летнее пальто (англ.).

...тот же классический коридорный, с грязною салфеткой в руках, который встречал и Павла Ивановича Чичикова. — В I главе I тома «Мертвых душ» Павел Иванович Чичиков «был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах... Он выбежал проворно, с салфеткой в руке...»

...плавучий «мертвый дом»... — т. е. плавучая тюрьма. Название «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского (1861–1862) используется Станюковичем как имя нарицательное.

Земства — органы местного самоуправления, созданные в России по реформе 1864 года.

Гарун-аль-Рашид — правильнее: Харун-ар-Рашид (763–809) — багдадский халиф, традиционный герой арабских сказок «Тысячи и одной ночи».

...одобрить идеал аракчеевского общежития... — т. е. военные поселения, введенные в России в 1810 году по проекту графа А. А. Аракчеева (1769–1834) и просуществовавшие до 1857 года.

...ввиду скорого окончания железной дороги от Екатеринбурга до Тюмени... — строительство этой дороги было завершено в 1885 году.

Кошева (диал.) — широкие и глубокие сани, обитые кошмою, войлоком и т. д.

...въезд в страну, «где мрак и холод круглый год» — из поэмы Н. А. Некрасова «Княгиня Трубецкая» (1871).

...не имеют, однако, безотрадности надписи над Дантовым адом: «Оставь надежды навсегда». — Из третьей песни «Ада» «Божественной комедии» Данте. В переводе М. Ло-

зинского это место звучит так: «Входящие, оставьте упования».

...по суворинскому календарю... — см. прим. к стр. 239.

Да... страшный край... Оттуда прочь... — из поэмы Н. А. Некрасова «Княгиня Трубецкая» (1871).

...восстание в 63-м году... — Имеется в виду национально-освободительное восстание 1863 года, охватившее Королевство Польское, Литву и частично Белоруссию.

Улус (тюрк.) — становище кочевников, селение.

Игнатъев Алексей Павлович — генерал-лейтенант, был иркутским генерал-губернатором с 1885 по 1889 год.

Серая эминенция — тайный осведомитель, доносчик (франц.).

...со времен Пестеля и Трескина. — Пестель Иван Борисович (1765–1843), государственный деятель, в 1806 году был назначен сибирским генерал-губернатором. В течение 12 лет оставался на этом посту, большую часть времени проживая в Петербурге. Действовавший его именем иркутский губернатор Трескин совер-

шал крупные хищения, всячески злоупотреблял властью, что в конце концов вызвало ревизию Сибири и назначение нового сибирского генерал-губернатора — М. М. Сперанского.

...слова некрасовской Ненилы: «Вот придет барин!» — из стихотворения «Забытая деревня» (1855).

...жаловался в своих сибирских письмах Сперанский... — М. М. Сперанский (1772–1839) — знаменитый государственный деятель, в 1819–1821 гг. — генерал-губернатор Сибири. Его сибирские письма были впервые опубликованы в сборнике «В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872», СПб., 1872. Станюкович приводит цитаты из писем Сперанского от 20 мая 1820 года к гр. В. Н. Кочубею и кн. А. Н. Голицыну (стр. 312, 304 указ. издания).

...немец Руперт... — Руперт, Вильгельм Карлович, иркутский генерал-губернатор в 1837–1847 годах.

...плавучего «мертвого дома»... — см. прим. к стр. 268.

...остатки когда-то грозного и могучего

Мусульманского царства... — Имеется в виду независимое татарское ханство, образовавшееся на территории Сибири в XVI веке и имевшее своей столицей г. Сибирь на Иртыше.

...сатрап-хищник, князь Гагарин... — Гагарин, Матвей Петрович — сибирский губернатор при Петре I, казненный в 1721 году за злоупотребление властью.

Жолобов, Алексей Петрович — иркутский губернатор, казненный в 1736 году за злоупотребление властью.

...с «печальным пасынком природы»... — Цитата из вступления к поэме Пушкина «Медный всадник» (1833).

...по манифесту ему были возвращены все права... — Имеется в виду манифест Александра III от 29 апреля 1881 года.

...пароход стал на мель. — В воспоминаниях о Станюковиче О. В. Яфы-Синакевич это происшествие описано на основании рассказов дочери и жены писателя: «Внезапно пароход сел на мель. А баржу продолжало силою течения нести вперед, — и она неизбежно налетела бы на него и, разбившись, пошла бы ко дну со всеми запертыми в клетке людьми.

Казалось, их гибель была неизбежной. Капитан, вероятно, не очень опытный, так растерялся, что ничего не предпринимал, теряя последние мгновения, в которые еще можно было предотвратить несчастье... Константин Михайлович в эту роковую минуту был на палубе. Мгновенно он забыл, что сам он здесь такой же бесправный ссыльный, как и те обреченные, что были на барже. В нем проснулась душа моряка, душа его отца — „грозного адмирала“ и, возможно, всех его предков моряков-командиров, — и он так властно командовал матросам: „Руби канат!“, что они тотчас подчинились ему, точно он и всегда был их единственным начальником. Даже капитан невольно без протеста уступил ему командование. Канат был перерублен как раз вовремя, и баржа спокойно и невредимо проплыла борт о борт мимо парохода. Сотни, казалось, уже обреченных на гибель людей были спасены». (Цит. по кн.: В. П. Вильчинский. Константин Михайлович Станюкович. Жизнь и творчество. М.-Л., 1963, стр. 229.)

Примечания

1

Так прозвали на корвете матросы арест.
(Прим. автора.)

[^^^]

Полицейский участок (англ.).

[^^^]

3

«пять, шесть...» (франц.).

[^^^]

4

Месье... будьте уверены... Франк — дюжина...
(франц.).

[^^^]

Да, да!.. (франц.)

[^^^]

6

еще полфранка (франц.).

[^^^]

очень сильно (итал.).

[^^^]

8

острыми словечками (франц.).

[^^^]

9

до свиданья, мое сердце (итал.).

[^^^]

пожалуйста (франц.).

[^^^]

До свиданья! (франц.)

[^^^]

12

для общественного блага (франц.).

[^^^]

Так звали матросы капитана за его человеческое отношение к матросам. Еще задолго до официального уничтожения телесных наказаний, линьки и розги были изгнаны из употребления на клипере. (Прим. автора.)

[^^^]

Вместо «корвет» матросы всегда говорят «кон-
верт». (Прим. автора.)

[^^^]

Так матросы называют штатское платье.
(Прим. автора.)

[^^^]

Судебная реформа уже введена*, как известно.
(Прим. автора.)

[^^^]

«местный колорит» (франц.).

[^^^]

«само по себе» (нем.).

[^^^]

простушка (франц.).

[^^^]

Из 5589 переселенцев, проследовавших с мая по октябрь настоящего года через Томск, 4639 человек прибыли в Томск водою и только 950 человек сухим путем. (Прим. автора.)

[^^^]

Из общего числа переселенцев, проследовавших в 1885 г. через Томск, из переселенцев, прибывших водой, пользовались врачебною помощью около 13 %, а из числа прибывших сухим путем — 8 %. (Прим. автора.)

[^^^]

Памятн. книжка Томск. губ. на 1885 г., стр. 25.
(Прим. автора.)

[^^^]

Санитарное состояние Томской губернии в 1883 году (Памятн. книжка Томск. губ. на 1885 г., стр. 25 и 26). (Прим. автора.)

[^^^]

См. Сиб. Газету (№ 36) и Русск. Вед. (№ 211).
(Прим. автора.)

[^^^]

Малоизвестные публике сведения о земельном неустройстве на «благодатном» Алтае извлекаем из статьи: Народонаселение Томской губернии в связи с крестьянскими переселениями, составленной по официальным данным и напечатанной в Памятной книжке Томск. губ. на 1884 год, изданной статистическим комитетом. (Прим. автора.)

[^^^]

Некоторые селения Бийского округа разрослись до огромных размеров, вследствие прилива переселенцев, и земельные угодья значительно уменьшились в таких селениях уже и в настоящее время. (Прим. автора.)

[^^^]

В 1875 г. в одной деревне Бийского округа за приемный приговор брали от 10 до 20 руб. с семьи; в 1877 г. в той же деревне брали 35, а в 1879 — до 55 руб. (Прим. автора.)

[^^^]

Переселенцы, по опыту знающие беды от малоземелья, являются, по словам наблюдателей, главными подстрекателями в земельных спорах. Они подбивают и старожилов требовать точного разграничения по планам. (Прим. автора.)

[^^^]

Около 300 руб. на семью. (Прим. автора.)

[^^^]

По словам врача, пользовавшего переселенцев, большая часть взрослых больных страдала болезнями от дурного питания. Серьезное лечение больных, разумеется, было невозможно; переселенцы торопились ехать, и даже тяжело больные не оставались, не желая отбиваться от партий. (Прим. автора.)

[^^^]

Приводим любопытную и характерную таблицу, показывающую, из каких губерний шли переселенцы в нынешнем году.

1) Из Тамбовской 1303 чел. и 11 ходоков от 65 семей

2) " Курской 956 " 20 " 67 "

3) " Вятской 566 " 38 " 55 "

4) " Пермской 551 " 38 " 124 "

5) " Орловской 413 " 13 " 17 "

6) " Обл. В.Донского 296 " — " — "

7) " Пензенской 173 " 3 " 3 "

8) " Черниговской 169 " 8 " 10 "

9) " Томской 123 " 2 " 2 "

10) " Воронежской 107 " 2 " 2 "

11) " Тобольской 93 " — " — "

12) " Рязанской 90 " 5 " 5 "

13) " Самарской 87 " 2 " 7 "

14) " Полтавской 79 " 3 " 8 "

15) " Вологодской 66 " 2 " 2 "

16) " Казанской 63 " 1 " 1 "

17) " Радомской 58 " — " — "

18) " Нижегородской 36 " — " — "

19) " Уфимской 28 " — " — "

- 20) " Костромской 27 " — " — "
- 21) " Калужской 25 " — " — "
- 22) " Екатеринославской 24 " — " — "
- 23) " Владимирской 24 " — " — "
- 24) " Харьковской 18 " — " — "
- 25) " Тульской 15 " 1 " 3 "
- 26) " Смоленской 11 " — " — "
- 27) " Астраханской 10 " — " — "
- 28) " Келецкой 10 " — " — "
- 29) " Ковенской 7 " — " — "
- 30) " Енисейской 5 " — " — "
- 31) " Симбирской 3 " — " — "
- 32) " Оренбургской 2 " — " — "
- 33) " Тверской 2 " — " — "

— — — — —

Итого. 5440 человек и 149 ходоков от 371 семьи.

[^^^]

Списываю для образца некоторые из этих описаний, очевидно назначенных для руководства переселенцев, во всей их прелестной неприкосновенности. Эти «описания» помещены против названия каждого участка, в графе под такой рубрикой: «Направление от г. Барнаула до поименованных участков и селений и местные условия» (при этом в Списке не упомянуто количество земли, а помещено только число «душ», которым можно поселиться).

Названия:

1) *Деревня Вознесенская. — Местность ровная, степная.*

2) *Деревня Дубровина. — Местность ровная, степная.*

3) *Деревня Березовка. — Место каменистое, гористое, для хлебопашества имеются черноземные места.*

4) *Малышев-Лог. — Местность ровная, степная, сосновый лес в 1 версте. Церковь в 50 верстах.*

5) *Участок по р. Средней Терсти. — «О местных условиях» ни слова.*

6) Деревня Воскресенская. — Место холмистое.

7) Участок по речкам Инчерепу, Карагумышу и Березовой. — Лес мешаный в 3 верстах; местность ровная.

И все в таком же лаконическом роде. Видно, гг. чиновникам кроме «ровного места», нечем поделиться. Положим, ходоки лично осматривают земли, но, если б описания составлялись более толково, ходокам, разумеется, пришлось бы странствовать в поисках за подходящими участками гораздо менее, и переселенческие партии, прибывающие без ходоков, могли бы лучше ориентироваться при меньшей повествовательной скупости «описаний» (Прим. автора.)

[^^^]

Газета Владивосток, № 22. См. заметку г. Гребенщикова. (Прим. автора.)

[^^^]

В газетах, помнится, сообщали факт гибели одного волжского парохода, которым командовал отставной церковнослужитель. (Прим. автора.)

[^^^]

Об этих удобствах сибирской жизни говорилось в Очерках русской жизни (Р. М., кн. IX).
(Прим. автора.)

[^^^]

В Восточной Сибири, глядя по местностям, выдают до 15 р. на человека вследствие большой дороговизны муки и мяса. (Прим. автора.)

[^^^]

Сибиряки любят называть свои пароходы фамилиями административных лиц. Все пассажирские пароходы фирмы Курбатова и Игнатова носят подобные названия. Кроме «Рейтерна», есть «Коссаговский» (фамилия директора департамента), «Казнаков» (фамилия бывшего генерал-губернатора Западной Сибири) и «Беленченко». Впрочем, клички иногда меняются со сменой начальства. Приедет новый начальник — и пароход переименовывается именем нового. (Прим. автора.)

[^^^]

Похищение дел из присутственных мест — обычный прием в Сибири. Не особенно давно еще из губернского совета одного большого сибирского города исчезло уголовное дело о двух богатых и влиятельных коммерсантах, благодаря чему названные купцы оставлены лишь в подозрении. (Прим. автора.)

[^^^]

Во время террора, наведенного на Сибирь управлением Пестеля и Трескина, когда всякие жалобы перехватывались и жалобщикам грозили жестокие кары, иркутский мещанин Саламатов решился пробраться в Петербург и лично вручить донос императору Александру I. В 1818 г. он добирается через Китай, через степи и леса, в Петербург, подает донос государю и «просит приказать его убить, чтоб избавить от тиранства Пестеля». (Прим. автора.)

[^^^]

Глухие лесные тущобы здесь называются «урманами». (Прим. автора.)

[^^^]

Корреспонденция из Сургута (Петерб. Газета
1885 г.). (Прим. автора.)

[^^^]

О промыслах в Нарымском крае есть прекрасно составленный очерк г. Шестаковича в Записках Западно-Сибирского Отдела Географ. Общества за 1884 год, а о положении промысловых рабочих можно найти интересные сведения в Сибирской Газете (1884 и 1885 гг.) и Сибирском Вестнике (1885 г.). (Прим. автора.)

[^^^]

Так называли матросы корабль «Ла Фершампенуаз». (Примеч. автора.)

[^^^]

Непьющим по окончании каждого месяца выдаются на руки деньги, равные стоимости вина. Обыкновенно приходилось около пяти копеек за каждую чарку. Эти деньги матросы называют «заслугой». (Примеч. автора.)

[^^^]